

СМОК

ISSN 0131 — 6656

СИГИЗМУНД ЛИБРОВИЧ ■ ЗАГАДОЧНЫМ ФЕЛЬДМАРШАЛ



ЭРЛ СТЕНЛИ ГАРДНЕР ■ СЕКРЕТ ПАДЧЕРИЦЫ ■ ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ ■ ПОСЛЕДНЯЯ ДУЗЛЬ

ЛЕВ КАНЕВСКИЙ ■ НОСТРАДАМУС

4,94

(Читайте стр. 4)



4'94

СМЕНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

ВАЛЕНТИНА БОЧАРОВА
ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ
БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ,
зам. главного редактора

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
СЕРГЕЙ ПОПОВ,
зам. главного редактора

МИХАИЛ ТЕЛИЧКИН
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ,
главный художник

ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление

ВАЛЕНТИНА ДАВЫДОВА
**Художественно-
технический редактор**
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 20.01.94.
Подписано к печати 14.02.94.
Формат 84×108^{1/2}.
Бумага «Газетная».
Печать офсетная.
Усл. п. л. 15,54.
Усл. кр.-отт. 17,64.
Уч. изд. п. 23,10.
Тираж 172 600 экз.
Заказ № 1166.
Цена свободная.
101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14.
212-15-07 — для справок.
250-29-39 — отдел рекламы
и реализации.
250-49-98 — отдел писем.
Факс (095) 250-59-28.
Журнал зарегистрирован
в Министерстве печати
и массовой информации
Российской Федерации. Рег. №166.
Учредитель —
коллектив редакции
журнала «Смена».
Рукописи, фото и рисунки
не возвращаются.
Типография издательства
«Пресса», 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

4 (1554) АПРЕЛЬ

© Издательство «Пресса».
© «Смена», 1994.

В НОМЕРЕ:

Проза

54

ЮРИЙ АРАКЧЕЕВ. ДЕВУШКА И МОРЕ*Рассказ*

186

ЗРЛ СТЕНЛИ ГАРДНЕР. СЕКРЕТ ПАДЧЕРИЦЫ*Детектив*

Поэзия

21

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

64

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ИВАНА*Фрагменты книги*

Человек и общество

4

СЕРГЕЙ БАЙМУХАМЕТОВ. БОГАТЫРИ И МЫ

24

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ

109

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ. ДУБНА: ВАРИАНТ НА ВЫЖИВАНИЕ

116

СИГИЗМУНД ЛИБРОВИЧ. СОПЕРНИК. ЗАГАДОЧНЫЙ*ФЕЛЬДМАРШАЛ*

154

ЛЕВ КАНЕВСКИЙ. НОСТРАДАМУС

Культура, музыка, искусство

74

АЛЕКСАНДР БЕНУА. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В XIX ВЕКЕ

102

ЛЕОНИД ЛЕРНЕР. ИСПЫТАНИЕ ПЛАЩАНИЦЕЙ

141

ИРИНА ШВЕДОВА: «У МОИХ ЗРИТЕЛЕЙ ДОБРЫЕ ГЛАЗА»

184

АЛЛА ТРИСТАН. НА ГРАНИ ЯВИ И СНА

На нашей
обложке:
фотозтюд
ЮРИЯ
АРАКЧЕЕВА.



Юмор

144

ВЕРНИСАЖ СЕРГЕЯ ТЮНИНА

280

КРОССВОРДЫ, ШАХМАТЫ

5•94

3

■ **КОЛИН УИЛСОН.** «КОСМИЧЕСКИЕ ВАМПИРЫ».

Колин Уилсон — английский писатель, автор более пятидесяти книг разного жанра: от детективов и фантастики до серьезных философских работ. У нас он известен в основном своей фантастической трилогией «Мир пауков».

Новый роман Уилсона «Космические вампиры» — целый сериал, с первой частью которого мы и познакомим вас на страницах «Смены». Это увлекательное повествование о приключениях пришельцев на Земле и в космосе, неожиданные повороты и невероятный финал.

■ **ДЖИМИ ХЕНДРИКС.** «Когда я умру, просто продолжайте слушать мои пластинки».

История музыканта и гитариста Джими Хендрикса трагична. Его проблемы мало отличаются от проблем тех, кто обрел славу и успех в рок-музыке шестидесятых годов. Далеко не праведник и не наивный простаk он, к сожалению, не был подготовлен к смещению ценностей и иллюзий, которое всегда происходит в жизни рок-музыкантов. Наркотики? Друзья? Имидж? Музыка? Джими задавал себе немало подобных вопросов перед самой смертью и пытался найти ответ хотя бы на часть из них...

АНОНС:



БОГАТЫРИ И МЫ

СЕРГЕЙ
БАЙМУХАМЕТОВ
Фото
ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ

Миф — осколок древней правды...

Илья Муромец живет в славном городе Муроме и поныне. Как только устраиваются пышные празднества, так этот человек (не буду называть его имени, но муромцы все его знают) облачается в былинные богатырские доспехи, садится на своего верного коня Бурушку-Косматушку — и возглавляет все карнавальные шествия, к радости детишек и к умилению сановных гостей города.

Ноша богатырская тяжела. Я уж не говорю о том, что празднества происходят, как правило, летом, а попробуй-ка на жаре пробудь весь день в доспехах. И гости сановные не хуже князя Владимира. Тот-то хоть был один со своим кубком немереным, а эти каждый в отдельности норовят поднять чару с витязем. Говорят, был случай, когда Бурушка-Косматушка пришел домой вечером один, без хозяина, а богатырь объявился только утром...

А если серьезно, то мне в Муроме было хорошо, потому что там живут мои единомышленники. Тамошние люди, как и я, не то чтобы верят, а просто знают, что он, богатырь Илья, жил и был на самом деле. В селе Карачарове, например, обитает многочисленный род Гуциных, которые почему-то издавна считаются прямыми потомками Ильи. Они-то и заказали его икону, которую написал муромский художник Игорь Сухов. Сейчас эта икона, со вделанной в нее частичкой мощей святого Ильи-богатыря, находится в недавно открытой церкви муромских святых Сомона, Гурия и Овивы, в селе Карачарове, разумеется.

Однако и в самом Муроме мно-го, очень много людей, которые

все эти былины, всех этих богатырей считают просто выдумкой, сказкой. Что делать, Илья Муромец (равно как и герои всех эпосов, да и сам народный эпос как таковой) стал двойной жертвой идеологии.

Двойной, потому что, во-первых, народный эпос использовали как «средство патриотического воспитания».

А во-вторых, признать или хотя бы допустить существование реального Ильи — значило сказать детям, что так, мол, и так, святые мощи святого Ильи и поныне покоятся в Киево-Печерской лавре. А это, сами понимаете, никак не укладывалось в нашу антирелигиозную пропаганду.

На самом же деле любое чтение подлинных текстов былин при самом их популярном толковании и объяснении могло стать для любого читателя, не говоря уже о детях, увлекательнейшей игрой, своеобразным литературным исследованием. Как интересно было бы узнать всем нам в школьные годы, что мифы, былины изменялись из века в век в зависимости от среды, в которой бытовали. Например, в сборнике Кирши Данилова в былине, записанной, видимо, на Урале, Илья именуется «старым казаком». Там же он фигурирует в качестве отца некоего Збута, который не просто Збут, а — «королевич»(!)... То есть здесь сохранился фрагмент более древней былины, в которой Илье приписывалось боярское, а то и королевское происхождение? А то, что потом он стал «крестьянским сыном», тоже понятно, потому что его «крестьянское» происхождение известно нам от сказителей девятнадцатого и даже двадцатого веков, а к тому времени устные предания сохранились и бытовали только в северной России, в крестьянской массе. Конечно же, нас бы в наши юные

годы заинтересовала и загадка происхождения Ильи, поскольку в ранних списках он значится как богатырь Илья из Чернигова, Илья Моровлин, или Муровец, из-под города Мурова (Моровска) Черниговского княжества, и там же есть село Корачево, ныне город Карачев. Не в обиду будь сказано жителям северного града Муром, но я по своему дилетантскому разумению, больше склоняюсь к черниговскому происхождению Ильи, поскольку почти во всех былинах дорога от Муром до Киева именуется «прямоезжей». Но ведь даже от нынешнего Муром до нынешнего Киева «прямоезжей» дороги нет, а вот от Моровска-Черниговского до Киева — да, была и есть. Хотя, с другой стороны, в том же сборнике Кирши Данилова Илья едет в Киев через «леса брянская», «через грязи смоленская». Да, брянские леса действительно лежат на пути из Муром-Владимирского, но при чем тут «грязи смоленская»? Они-то далеко-далеко в стороне от того пути! На западе!

Загадки. Сплошные загадки. Как они увлекательны! Как бы запомнилось нам живое, таинственное слово древних былин, притягательное именно своей загадочностью, напластованиями более поздних пересказов.

Так ведь нет. Оскопили. Отредактировали. Превратили в унылую жвачку, заставляли нас жевать четырежды пережеванное. Кто-то посчитал и поныне считает, что «народу сложности не нужны», «не так поймет».

А итог известен — полнейшее равнодушие к своим преданиям, неверие.

Да в любой другой стране мира, в любом другом народе, если бы мощи их былинного богатыря лежали в храме, ни капли сомнений не было бы ни у кого: да, жил —

был такой витязь! А у нас и мощи лежат, а все равно не верим. Потому что не знаем. Потому что слишком долго «воспитывали» и слишком долго «дурили нашего брата». А от незнания и неверия один шаг до вольных или невольных спекуляций. Так, на заре гласности один из публицистов, объясняя характер русского народа, ссылаясь на Илью: вот, мол, типичный представитель, тридцать лет лежа лежал, ничего не делая. Тут даже моя маленькая дочка возмутилась: «Да там же написано, что у него руки-ноги не шевелились! И что его калики перехожие вылечили!» А публицист тот даже детских переложений былин не читал, краем уха слышал.

И я здесь не случайно заговорил о «лежании» Ильи. Недавно в Муром приезжал ученый из Киева и рассказывал о последних исследованиях мощей. Так вот, по мощам установлено, что росту в этом человеке было ни много ни мало 180 сантиметров. Можно представить, какой это был гигант по тем временам. Более того, теми же исследованиями установлено, что этот человек долгое время страдал ущемлением седалищного нерва... То есть не мог ходить.

Вот вам и «сказки», вот вам и «выдумки».

Стольный град Муром

Мне повезло: в далекой юности в руки мне попал толстый атлас карт, выпущенный в середине прошлого века и приуроченный к тысячелетию России. Этот атлас лучше всех школьных и институтских курсов научил меня историческому зрению, когда взгляд и сознание не скользят по сегоднешней устоявшейся плоскости, а как бы медленно поднимаются по вертикали времен. Я гово-

*Здесь, говорят, и родился
богатырь Илья Муромец.*



НОЕ ДЕПО-16
УДИМСК

ПОКОНЧИТЕЛЬНОЕ ПЕДАГОГ
ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ

ВАГ
К

ВАГО
К

рю именно о зрении, потому что там все было наглядно. Вот карта Древней Руси в год 862-й, год основания Русского государства: Новгород, Чернигов, Киев, Муром, Ростов... Перелистываем страницы-десятилетия: крупными городами стали и огромными буквами на карте обозначены все те же **НОВГОРОД, ЧЕРНИГОВ, КИЕВ, МУРОМ, РОСТОВ**; полтора века минуло — появились маленькая-маленькая Рязань и маленький-маленький Владимир. Еще один век перелистываем — и рядом с огромным МУРОМОМ возникают крохотные букочки: Москва... А потом от страницы к странице, от века к веку Муром все меньше и меньше, а Москва все больше и больше. И вот девятнадцатый век: аршинными буквами начертано **МОСКВА**, и где-то в лабиринте кружков и линий почти неразличимый Муром. А на нынешних крупномасштабных картах его и вовсе нет, я карандашом обозначил точку, где железная дорога на Сергач пересекает Оку. Это и есть Муром.

Та карта научила меня понимать безусловность и в то же время некую относительность истории. Действительно, сколько случайностей и закономерностей в том, что столицей стала именно Москва, а не древний Муром, центр древнего Муромско-Рязанского и Муромского княжеств. Я уже не говорю о столице Владимирской Руси Владимире-Суздальском, о притязаниях Твери, когда первенство двух столиц качалось на весах, о недавних попытках Грозного перенести столицу в Вологду и намерениях Петра основать ее в Воронеже.

Какая-то случайность, перемещение исторического кирпичика в ту или другую сторону — и вся стена могла сложиться по-другому. И тогда я из своей заштатной Москвы приезжал бы в Муром, в столицу, за колбасой и иностран-

ными шмотками, а мои коллеги из нынешней районной муромской газеты прибывали бы в московскую глубинку и писали о поэзии и красоте маленьких городков. И удивлялись бы московскому «аканью», многозначительно улыбались: мол, местный говор... Как удивляемся мы, приезжая в Муром: вроде бы пять часов на поезде, а уже речь другая: угро-финский, мари-мордовско-чувашский говорок — и лица другие, с сильно обозначенными скулами: десять веков минуло, как пришли сюда славяне, окрестили и ассимилировали угро-финское племя мурома, а муромская кровь все дает себя знать. Это те самые края, где «затерялась Русь в мордве и чуди, нипочем ей страх», где «меря намерила и чудь начудила...».

А то, глядишь, не Муром с его нынешними ста пятьюдесятью тысячами населения, крупными заводами и фабриками, а вовсе маленький районный городок сельского типа Ростов-Ярославский мог бы стать столицей великого и могучего государства, занимавшего в недавние времена одну шестую часть суши. Ростов Великий, центр Ростово-Суздальского и Ростовского княжеств, грозной по тем временам военной державы, подданные которой и в самых нелепых снах не могли видеть, что века через два с половиной в глухих лесах появится деревенька Москва и...

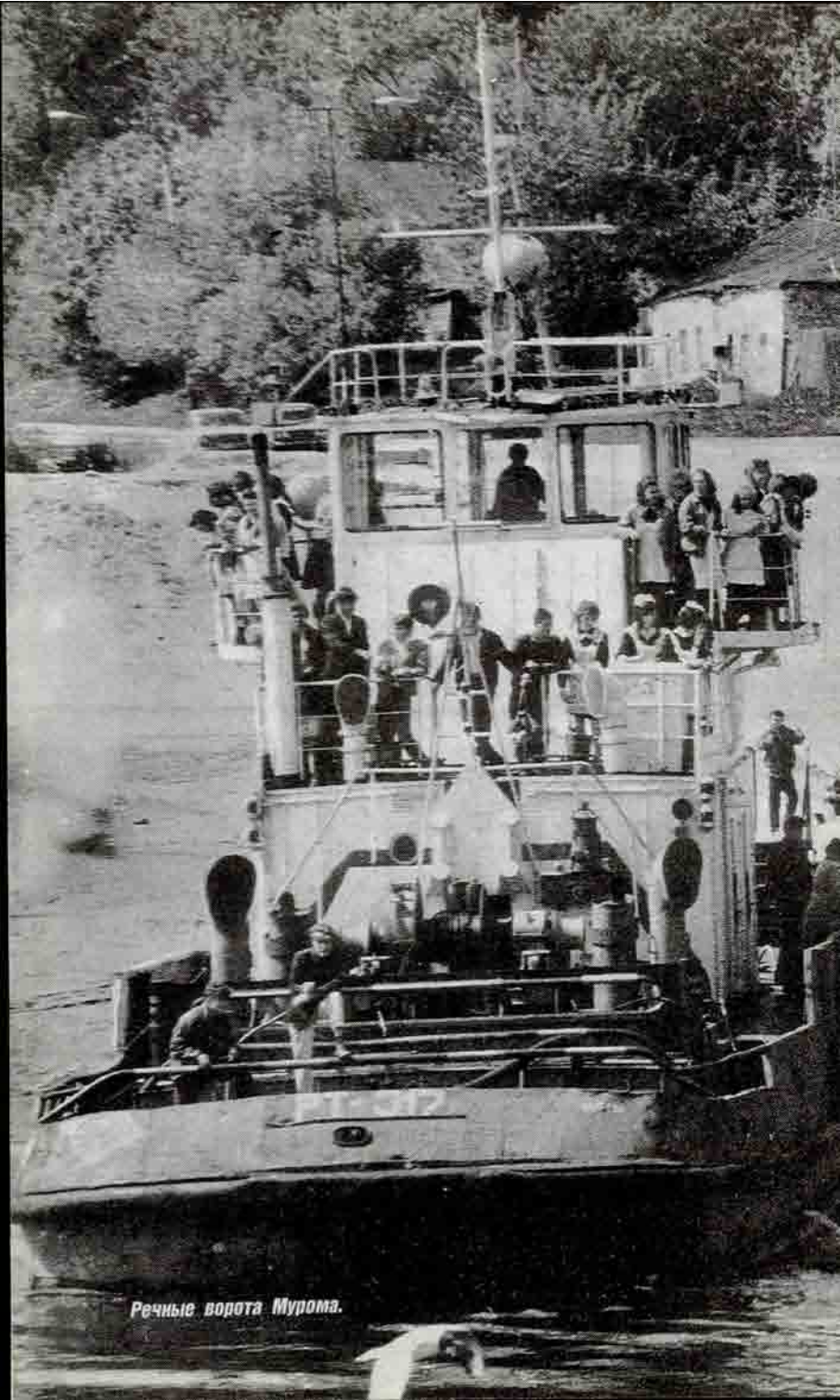
Д-да, на многие размышления наводит атлас тысячелетия России...

Карачаровцы — народ богатый

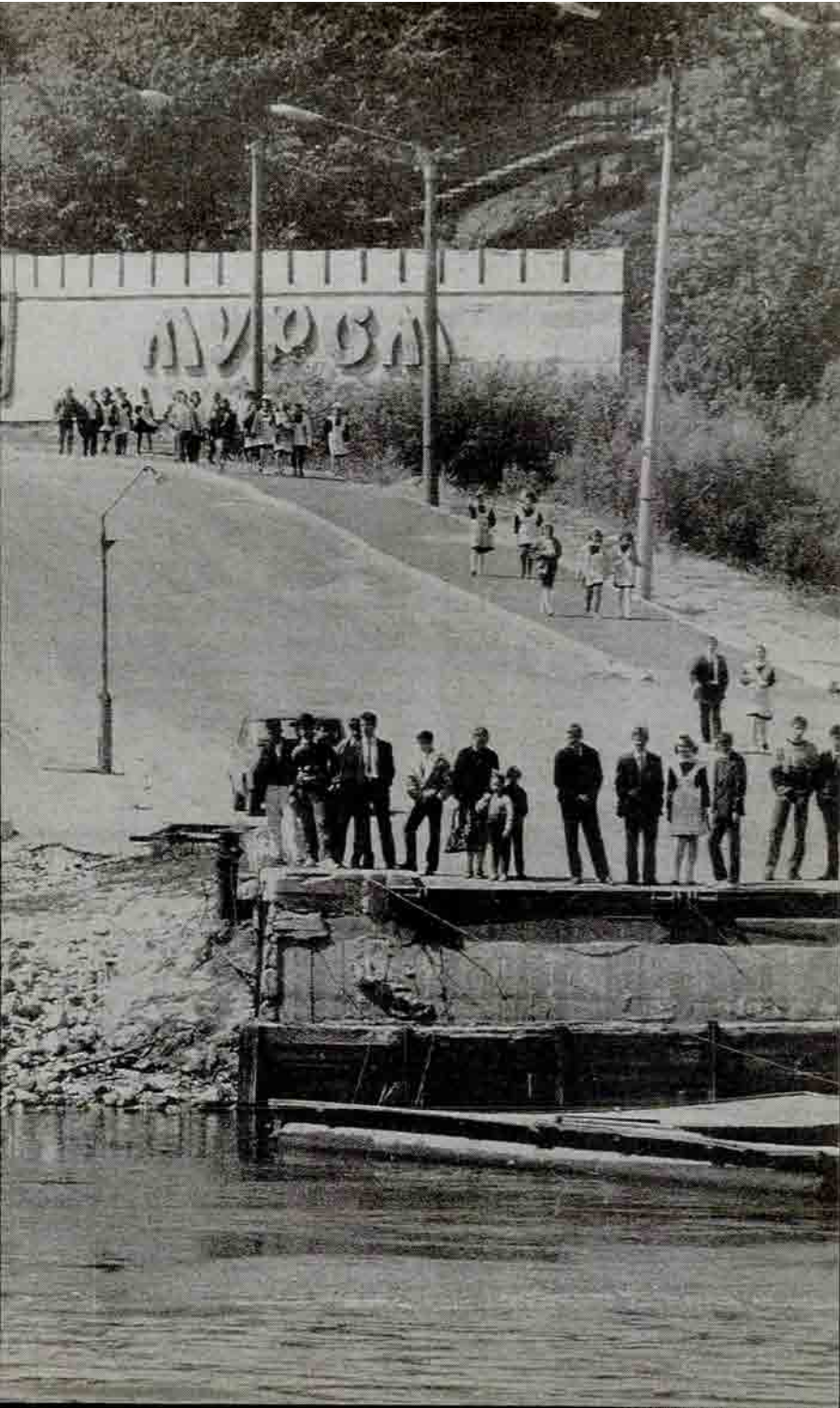
В селе Карачарове, на высоком обрыве над Окой, висится величе-

Остановись, подумай...





Речные ворота Муром.



ственный храм из красного каленого кирпича — Троицкая церковь. И оттого, что она полуразрушена, оттого, что сквозь проломы в мощных кирпичных стенах просматривается небо, далекие заокские дали, впечатление еще более внушительное.

К храму примыкают две улицы. Два угловых дома смотрят окнами на Троицкую церковь. И живут в этих домах старейшие жительницы Карачарова Надежда Ивановна Балашова и Зинаида Григорьевна Кувшинова, давно уже разменявшие девятым десятком лет. Они помнят еще службу в этой церкви, когда молодыми девушками пели здесь на клиросе. Как они говорят, «на крылосе». Баба Зина живет в доме отца Александра — последнего священнослужителя Троицкой церкви, сосланного неизвестно куда в тридцатые годы. Обе они плачут, вспоминая его: «Такой был хороший батюшка, такой светлый. За что яго?» В доме бабы Зины в красном углу — икона, память об отце Александре.

Церковь пережила своего последнего служителя на целых пятнадцать лет. Крушить ее начали после войны. Как рассказывает бабушка Надя, «командовали сельсоветчики, а ломали все кому не лень. Долбили и долбили, кому сколько надо было кирпича...».

Но ведь стены там — в метр толщиной. Из каленого кирпича. На известке, которую перед тем пять лет в яме выдерживали. Тут взрывать надо вместе с землей. Конечно, местные доброты кладку ту не одолели, лишь кое-где порушили, лишь крышу содрали, железо порастащили. А храм так и стоит — неколебимые руины.

Надежда Ивановна и Зинаида Григорьевна — из коренных, исконных карачаровских фамилий. Они помнят здесь всю род-

ню, а семьи тогда были по восемь-десять человек. Но жили, как они говорят, «легко, потому что земля была. И все там работали, от мала до велика, приходят с поля — одни зубы белые. Во как работали!».

Бабушки и до сих пор работают, как всю жизнь привыкли. Конечно, скотины на дворе уже нет, да во всем Карачарове — одна корова, одна-одинешенька. И огород свой они, понятно, вскопать-засадить не могут, тут уж то внук приедет, то сын поможет. А обихаживать участок — обихаживают. Так ведь усадьба-то у них не дачные наши четыре сотки, а пятнадцать-семнадцать соток! Как и у всех.

В том-то и загадка, что как у всех. Загадка села Карачарова.

Мы уже привыкли к тому, что деревни, дома в наших среднерусских деревнях все больше неказистые, хозяйства бедные: лишь бы кое-как да как-нибудь. А тут, в Карачарове, что ни дом, то крепость. Замок! По шесть окон на одну сторону! Да дворы все крытые, на северный манер, да выкрашены густо масляной краской, да кирпичом обложены, да ворота крепкие. А уж приусадебные участки, как стадионы, соток по пятнадцать-двадцать. Тут миллионеров на душу населения, говорят, больше, чем в любом другом месте. Да миллионеров не по нынешним легковесным деньгам, а еще по тем, тяжелым. Здесь выращивают особые карачаровские огурцы и помидоры. И продают, конечно. С того и богатеют. Крепко, крепко живут карачаровцы.

Но почему у них такие громадные участки? Почему не урезали, не отобрали во время хрущевских «реформ», в шестидесятые? Кого я только ни спрашивал — в ответ мне лишь пожимали плечами: кто

знает, да, мол, не помним уж те времена...

И поневоле приходила мысль (хоть я и сомневаюсь в тутошнем происхождении Ильи): а может, и правда тут все — потомки богатыря Ильи, люди с громадной физической силой и крутым, как нынче говорят, характером? Набрали они себе земли в незапамятные еще времена — и так и держались за нее, а власти предпочитали с ними не связываться, от греха подальше... Вот и отстояли себя.

Что касается силы, то да. Карачаровский люд действительно не из слабых. Все помнят... не богатырей, а просто здоровых мужиков, что возы вытягивали из грязи, когда лошадь не могла их стронуть с места. Тот же дед Зинаиды Григорьевны, Яков Пендриков, глава мощного карачаровского рода, никогда, ни в легкие морозы, ни в лютую стужу, не надевал варежек. Без надобности были.

Конечно, думал я, попробуй подступишь к таким. Но, как выяснилось потом, Карачарово на владимирско-муромской земле не исключение. Все села вокруг города — крепкие, народ — зажиточный, приусадебные участки — до двадцати соток.

Так и осталось для меня загадкой: то ли не дошли хрущевские притеснения до муромских краев (во что поверить невозможно), то ли владимирские и муромские власти оказались не только умными и дальновидными, но и отчаянно смелыми и просто-напросто проигнорировали указания московских властей (во что тоже трудно поверить). Но так или иначе, а народ в Карачарове и других окрестных селах живет богато.

И слава Богу. Только горько, что села Карачарова теперь как бы вовсе нет в природе, оно включено в черту города Муром. По-

моему, глупость вопиющая. Сколько же можно заниматься уничтожением собственной истории?!

Имена

Если эти шейные гривны, застежки в виде солнца, медные ожерелья из десятков миниатюрных колечек и подвесок выставить сегодня в магазине, то женщины буквально сойдут с ума. Они ведь красоту понимают нутром, и им дела нет, что сотворены столь прекрасные вещи не в нынешних парижках, а в «диких муромских лесах» в шестом, восьмом, десятом веках, а некоторые из них — так и вообще в темной пропасти лет, еще во времена ритуальных погребений...

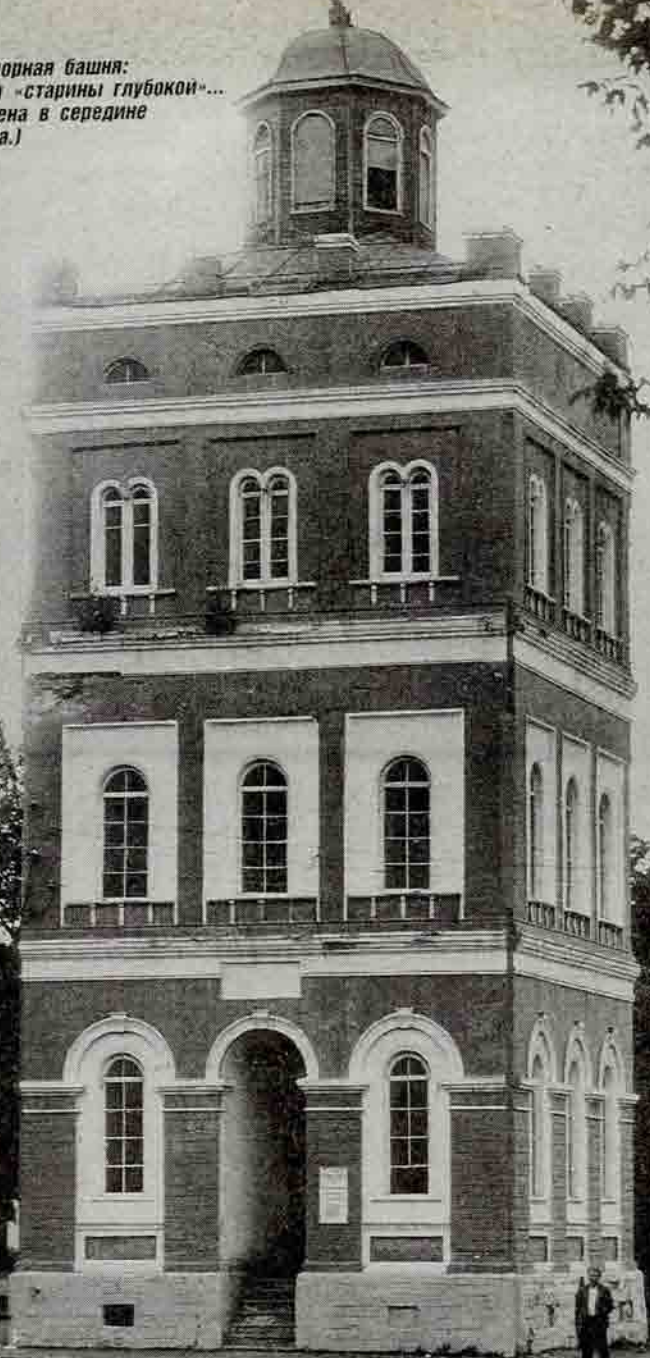
Изделия древних мастеров всегда повергают меня в смятение. Как это можно было? — поражаюсь я. При тогдашней-то технологии, при тогдашних-то инструментах? Однако ж вот они...

И поневоле начинаешь сравнивать мастеров тогдашних и нынешних, а это все равно что задавать себе знаменитый бессмысленный вопрос: кто сильнее, кит или слон?

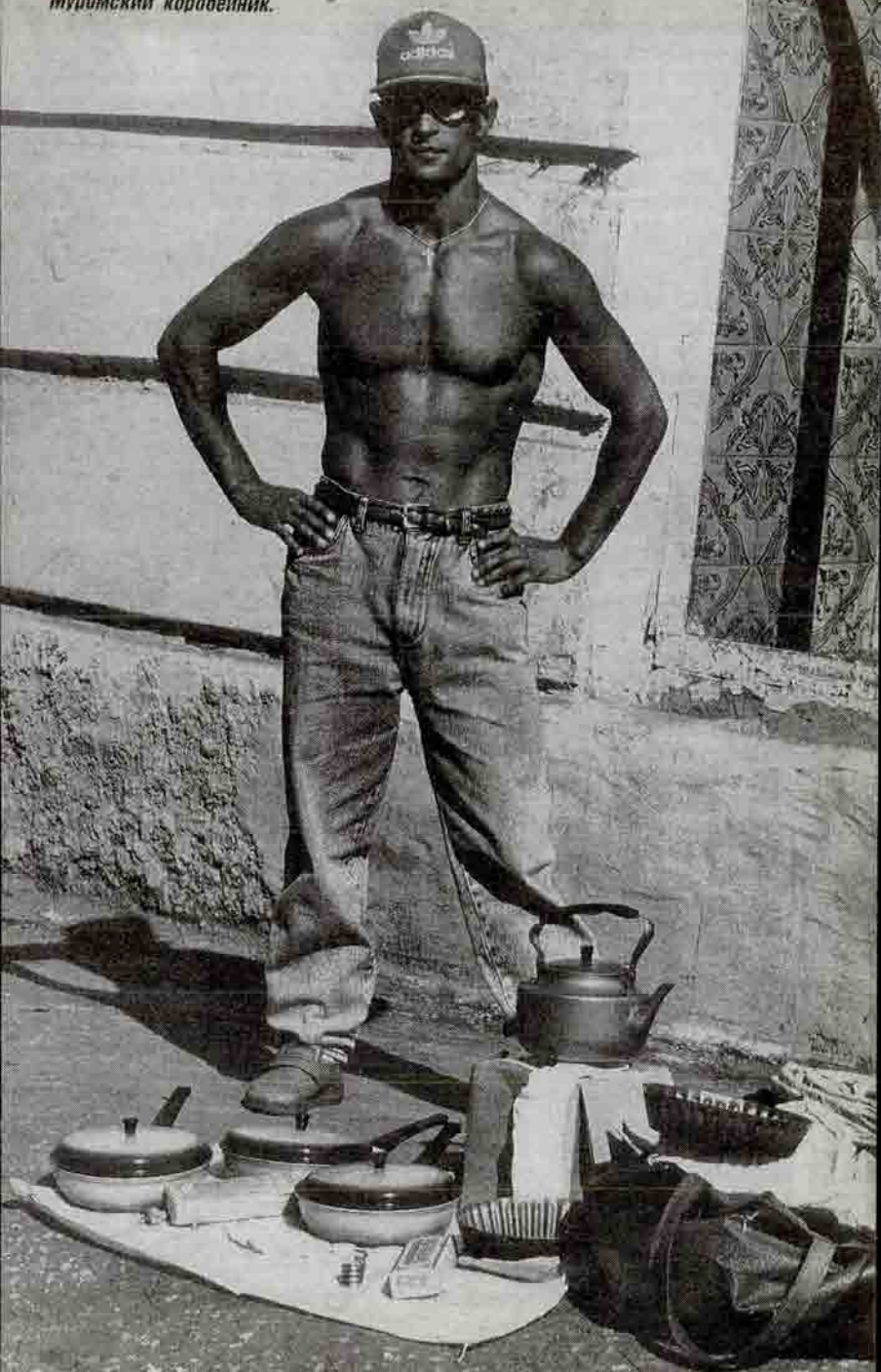
А природа мастерства была и есть неизменна во все времена. Другое дело, что в те лета не было того, что мы называем поточным производством, ширпотребом, и каждое изделие было отдельным, штучным товаром. Не случайно же в древности не существовало самих понятий «ремесло» и противопоставленного ему «искусства»; скажем, у древних греков все, что творил человек своими руками, умом, талантом, называлось одним общим словом — «технэ».

Но кто же нашел, собрал, сохранил для нас эти бесценные свидетельства минувших веков и тыся-

**Водонапорная башня:
примета «старинны глубокой»...
(Построена в середине
XIX века.)**



Муромский корабейник.



челетий? Правда ведь, этот вопрос как-то не всегда приходит в голову, в каком бы музее мы ни находились? Музейный экспонат считается чем-то само собой разумеющимся, изначально данным.

На самом же деле все иначе. В Муроме понимаешь сию простую истину со всей очевидностью.

Мы бродим по залам муромского музея с его главным хранителем Ольгой Суховой, и она рассказывает мне о людях, которые жили в давно ушедшие времена, которые еще тогда думали о нас, потомках, думали и делали все, чтобы не прервалась историческая цепь, не зияла черными провалами наша память.

В основе муромского музея — экспонаты из частной коллекции Алексея Сергеевича Уварова и его жены Прасковьи Сергеевны из их имения Красная Горка, что в Карачарове. Правда, экспонатов немного, большая их часть находится в основанном ими Государственном историческом музее.

В Муроме же их вотчина, здесь начиналось дело их жизни, здесь, как нигде в другом месте, хранится память о них.

Алексей Сергеевич Уваров — знаменитый русский археолог, раскопавший Карачаровскую верхнепалеолитическую стоянку (20 000 лет до н. э.), бессменный председатель Российского археологического общества. Прасковья Сергеевна — его жена, помощница, первая в России женщина-археолог. Ее называли второй Дашковой. В те времена женщина не могла по уставу быть даже членом Археологического общества, а вот Прасковью Сергеевну после смерти мужа избрали председателем.

Сейчас в Муроме раз в три года проводятся Уваровские чтения, на которые приезжают ученые из всех стран Содружества. Здесь же, в муромском музее, в одном из

залов воссоздан интерьер дома Уваровых с его убранством, мебелью, семейными портретами. Ольга Сухова, как и любой другой научный сотрудник музея, знает людей, изображенных на портретах, вплоть до всех их родственников во всех коленах, для нее они как живые, как современники, со всеми их доблестями, заслугами, слабостями...

Вот портрет отца Алексея Сергеевича — графа Сергея Семеновича Уварова, того самого министра просвещения, который изрек знаменитую формулу российской государственности: православие, самодержавие, народность. Он вошел в русскую историю и как собиратель древностей, и наконец как просто министр просвещения, что мы понимаем только сейчас. Худо ли, бедно ли, а в «отсталой» России, в том же Муроме в конце девятнадцатого века было одиннадцать начальных и средних школ, а всего училось 1684 человека. Это — на тринадцать тысяч жителей.

Сергей Семенович был незнатен. Он женился на знатной и богатой невесте из рода Разумовских-Шереметевых, и современники поговаривали, что в основе сего брака — меркантильный расчет. Видимо, он и вправду не был чужд меркантилизма. Известен случай, когда он долго ждал смерти одного из богатых родственников жены, сидел у него, как Онегин у одра дядюшки, но родственник тот выздоровел, к огорчению Уварова, которого он скрыть не мог. Пушкин по сему случаю написал эпиграмму «На смерть Лукулла», из-за которой Уваров рассорился с поэтом на всю жизнь, хотя ранее был с ним дружен. И даже после смерти Пушкина не смягчился, не мог слышать его имени.

Спокойно на портрете лицо Ра-

зумихи, простой казачки, чьи дети и внуки возвысились и стали наперсниками владетелей российского трона.

Острыми глазами смотрит в пространство горбатая старуха с крючковатым носом — графиня Загряжская, по материнской линии Разумовская, дальняя родственница Гончаровых и Уваровых, по мнению исследователей, — прототип Пиковой дамы.

Благожелательна и строга Прасковья Сергеевна Уварова, урожденная Щербатова, по материнской линии — из рода польских графов Четвертинских. Ее считают праобразом Кити Щербацкой в «Анне Карениной»...

Отважен и брав граф Четвертинский. Загадочен, туманен взор его дочери, знаменитой красавицы Марии Антоновны Нарышкиной, фаворитки императора Александра Второго, двоюродной бабушки Прасковьи Сергеевны.

Имена, имена... По генеалогическому древу только одного рода можно прочесть вековую историю России.

В соседнем зале музея — экспозиция из коллекции академика живописи Ивана Семеновича Куликова, ученика Репина, страстного собирателя, этнографа. Рядом — выставка, посвященная другому известному земляку, краеведу и коллекционеру, Николаю Гавриловичу Добрыкину, современнику Уваровых. Его сын, Владимир Николаевич Добрыкин, стал первым хранителем муромского музея.

И завершает ряд имен и портретов род Зворыкиных. Род многочисленный, некогда, до революции, довольно богатый. Семье Зворыкиных принадлежал огромный трехэтажный особняк на центральной площади города. И муромский музей нынче располагается именно здесь, в усадьбе Зворыкиных. Но мало ли было богатых

людей, рассеянных по свету революцией, чье имущество благополучно конфисковали, а имена вычеркнули из памяти и истории! О Зворыкиных же помнят, экспозицию организовали, мемориальную доску установили. Потому что с их именем так или иначе, а вошел Муром в историю современной цивилизации, науки и техники. Владимир Козьмич Зворыкин, эмигрировавший в 1917 году в Америку, стал там знаменитым ученым, изобретателем иконоскопа — передающей телевизионной трубки. То есть одним из изобретателей современного электронного телевидения.

В шестидесятые годы Зворыкин приезжал в Муром, был в своем доме, сфотографировался на балконе.

Умер Владимир Козьмич в 1982 году, не дожив семи лет до своего столетия.

В ожидании

17

Трудно сказать, что более всего характеризует сегодняшний Муром. Безусловно, его историческая аура, атмосфера. Но ведь человек живет сегодняшним днем, бытом, работой, зарплатой. Пожалуй, главное, что определяет сегодняшнюю атмосферу города, — ожидание. Тревога.

Андрей Гурьев после окончания Владимирского политехнического института двенадцать лет проработал инженером-конструктором на Муромском заводе радиоизмерительных приборов. Женат, двое детей, старшему ребенку десять лет, младшему — четыре. Уволен по сокращению штатов.

А муж и жена Воловичи в своей жизни еще не проработали и дня: сразу же после окончания института, того же Владимирского политехнического, оказались не нужны ни одному из заводов.

Крещение в селе Карачарове.



Друзья.



Муром — заложник военно-промышленного комплекса. Практически все крупные предприятия города так или иначе ориентированы были на военную продукцию. Но грянула конверсия, и весь наш ВПК, не только муромский, оказался неготов к ней. Генералы ВПК не столько думали о будущем тысяч и тысяч вверенных им людей, сколько настаивали на военных заказах, надеясь вернуть прошлое. Не удалось, не получилось.

И теперь за их амбиции расплачиваются сотни тысяч семей по всей стране.

Но надо сказать, что в Муроме положение не такое тяжелое, как в некоторых других, родственных ему городах. Очень трудно только на одном-двух заводах, где и продукция особого рода да и директора — люди очень старой школы, раз и навсегда отлитые в железных госплановских формах. Однако и они поняли уже, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Только ведь не вернуть уже утраченные драгоценные годы, когда и ситуация в стране была другая, и возможности другие, неизмеримо более богатые, чем сегодня.

Но так или иначе на бывших предприятиях военно-промышленного комплекса налаживается нормальное, мирное производство. Массовых увольнений еще нет, людей держат на нищенской зарплате, надеясь на лучшие времена. Однако надо готовиться и к худшему. В городе развернул свою деятельность центр занятости, который переучивает людей, дает им новые, необходимые сегодня профессии.

Большинство сегодняшних и будущих безработных — молодые люди. А им все-таки полегче. У них есть моральные и физические силы, они быстрее

приспосабливаются к новым условиям, у них не утрачены еще любопытство и даже интерес к необычным обстоятельствам: а что там, за поворотом?

Одним словом, сегодняшний Муром живет в ожидании перемен. Как и вся страна.

ПОКИНУТЫЙ РАЙ

Скрипит и стонет мост над высохшим ручьем
 я здесь ходил один теперь идем вдвоем
 меня похитил век из крохотного рая
 где жили никогда ворот не запирая
 где сам Господь носил пожарного усы
 и в колокол дено нам отбивал часы
 здесь клады знатоки вскрывали где попало
 и золото ни к чьим рукам не прилипало
 поклонник окуней невольник краснотала
 смотритель местных гор —
 забот всегда хватало —
 несу свои года как носит дом улитка
 картонный флигелек стеклянная калитка
 там сестры Соснины и обе кружевницы
 ходили женихи не то чтобы жениться...
 Черемух аромат и хлебный дух пекарни
 вдыхали веселясь то девушки то парни
 тут Пестерев-старик столярничал бывало
 и кузница весь день на счастье ковала
 В несходстве уличу мечту и воплощенье
 и все же для души священно возвращенье!
 Смотритель всех лесов я здесь звенел ключами
 но высохли ключи... что ж пожимай плечами
 смотритель местных врат
 куда я шел так бодро
 зачем я этот рай оставил без присмотра?

≡

Давненько мы не были в Трое
 деревья здесь выросли вдвое
 а цены так в тыщу десят...
 пойду и под старой горою
 колье Андромахи отрою
 спугну остроносых лисят
 пустынно и тихо на бреге
 ушли победители в греки
 в варяги уплыли купцы
 и всясть направляют реки
 и правят здесь бал имяреки
 и думают думу творцы
 смотритель местных рек я ведал их теченьем
 и к каждому бобру пускался с порученьем.
 Прабабушка моя была древней Урала
 и внучка на руках сапфирами играла
 когда над шахтой гул утробный прекратился
 домой летела мать свободнее чем птица
 туман моих низин заряжен соловьями
 их слушал сам Господь в пожарном одеянии.

Над школою полынь а клуб зарос репьем
я в жизнь вошел один теперь стоим втроем
на фото снял жену и дочка перед ней —
наш маленький росток совсем иных корней...

кривляясь в огне обновленья
троянцы полны изумленья
нелепостью прошлых затей
но фрукты цветы и соленья
но в воздухе вирус деленья
и поиски новых путей

Давненько мы не были в Трое
увы постарели герои
и с той и с другой стороны
ни стен и ни башен не строя
почтенно стоят за икрою
когда-то метавшей страны

с анилагами новая драма
со сцены не сходит упрямо
заезжий ревет лимузин
сильнее

чем колокол Храма
и бродим мы с тенью Приама
вдоль грозных священных руин

перепирую лепестки цветка любви
и счастье как мгновенье
невольню ускользнет из-под руки
дань упоенья
среди вселенских суматох
какая прелесть
и легкой грусти легкий вздох
и платья шелест

СКАЗКА

Борису Ефимову

отары воли у черных скал
боками терлись
а ветер шлюпки не пускал
что в стих мой вторглись

нет я людей не признаю
от них все беды
я сам синицей в том краю
кружусь у бездны

все с морем делать мы вольны
и я синичка

то с той то с этой стороны
налила спички

за перелетом перелет
сквозь мрак и стужу
понять времен привычный ход
умерить душу

и обещаний никаких
так будет проще
чтоб не терзать ни вод морских
ни тихой роици

произойти вот-вот должно
что мне хотелось
но спички вышли а оно
не загорелось



наброски городов и память пламенеет
и женщина облитая луной
весь вечер из души вытягивает невод
наполненный то счастьем то виной

приморье с колоннадой кипарисов
с зубцами генуэзских крепостей
за опечатанные ласточкой карнизы
легла заря погасших новостей

лишь небо не нуждается в опоре
а женщина касается плечом
из прошлого...
стою и к пульсу моря
прислушиваюсь лечащим врачом



ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Дуэль. 1832—34 гг.

9 мая 1841 г. в Ставрополь въехали поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов и капитан Нижегородского драгунского полка Столыпин. В тот же день они встретились с командующим Кавказской линии и Черномории генералом П. Х. Граббе, а затем в штабе, с уже знакомым Лермонтову Александром Семеновичем Траскиным — подполковником, флигель-адъютантом. Траскин вот уже третий год был начальником штаба. До него этот пост занимал дядя Лермонтова, П. И. Петров. В тот же день Траскин подписал распоряжение: «Поручик Лермонтов прибыл в Ставрополь... и по воле командующего войсками был командирован к отряду, действующему на левом фланге Кавказа для участия в экспедиции».

* Новый журнал, кн. 187, 1992 г.

Утром следующего дня Лермонтов отправил своей бабушке, Елизавете Алексеевне Арсеньевой, в Петербург письмо: «Милая бабушка, я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды... Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку. Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки и молю Бога, чтоб вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословения. Остаюсь покорный внук Лермонтов».

Но это письмо было не единственным, отправленным в тот день. В Петербург ушло еще одно. Оно было адресовано дочери историка Н. М. Карамзина Софье и написано по-французски: «Я только что приехал в Ставрополь, дорогая m-Ше Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпным Монго. Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда будете его читать, я буду штурмовать Черкей... Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено длиться вечно. Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, и поэтому воздерживаюсь. Если вы ответите мне, пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Граббе — я распорядился, чтобы мне пересылали письма. Прощайте, передайте, пожалуйста, всем вашим почтение; еще раз прощайте — будьте здоровы, счастливы и не забывайте меня. Весь ваш Лермонтов».

Но почему он едет в экспедицию? Почему Шура (или Темир-Хан-Шура), а не Анапа, где находится штаб-квартира Тенгинского пехотного полка? Ведь совсем недавно Клейнмихель приказал ему выехать из столицы в свой полк. Что же произошло? Почему так резко изменился маршрут? Некоторые исследователи расценивали прикомандирование Лермонтова к экспедиции как желание царя «избавиться от неудобного поручика», посылая его под пули горцев. Но такому мнению противоречит текст распоряжения Николая I, отправленного кавказскому начальству 30 июня 1841 г.: «Поручика Лермонтова ни под каким видом не удалять из фронта полка», то есть не прикомандировывать ни к каким экспедиционным отрядам. А это означало отказ в продвижении по службе. Ведь в экспедиции всегда была возможность показать себя в бою, в деле, а полк, в котором предписывалось Лермонтову находиться, не принимал участия в военных действиях. Уловку эту на Кавказе хорошо понимал. Вот почему Граббе, благоволивший к Лермонтову, и поспешил с переводом его в экспедицию.

Через день Лермонтов и Столыпин отправились в крепость Темир-Хан-Шуру, где собирались экспедиционные войска. По дороге они несколько раз встречались с ремонтером Борисоглебского уланского полка П. И. Магденко, чьи бесхитростные воспо-

минания дошли до нас. Магденко подробно рассказывает о ночевке в крепости Георгиевской, о настойчивости Лермонтова, который вдруг предложил Столыпину повернуть на Пятигорск. О том, как бросали полтинник и он, упав решкой, разрешил спор друзей.

Задержка Лермонтова в столице произошла только по одной причине — он начал хлопотать через бабушку об отставке. И вот высылка, так некстати. Всю дорогу до Ставрополя Лермонтов ждал от бабушки долгожданного сообщения, но оно так и не приходило. Естественно, что теперешнее своеволие поручика ставило в неудобное положение всех: и Столыпина, и Граббе, и Траскина, — но в ту минуту Лермонтов был далек от чувства вины перед людьми, хлопотавшими за него.

Однако одного лишь желания приехать в Пятигорск было мало, надо было получить разрешение проживать в городе.

Чем же привлекал к себе Пятигорск? Городок был маленький, каменных домов раз-два и обчелся. «Но в Пятигорске была жизнь веселая, привольная; нравы были просты, как в Аркадии, — записала В. Желиховская со слов Н. П. Раевского. — Зато и слава была у Пятигорска. Всякий туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения; крутишься, дельце сварганишь — аи и опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластись к нему, он даст свидетельство о болезни. Отправит в госпиталь на два дня, а после и домой, за неимением в госпитале мест. К таким уловкам и Михаил Юрьевич не раз прибегал. И слыл Пятигорск тогда за город картежный, вроде кавказского Монако, как его Лермонтов прозвал. Как теперь вижу фигуру сэра Генри Мильса, полковника английской службы и известного игрока тех времен. Каждый курс он в наш город наезжал».

Именно таким увидел Пятигорск Лермонтов летом 1841 г.:

Очарователен кавказский наш Монако!

Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы;

В нем лихорадят нас вино, игра и драка,

И жгут днем женщины, а по ночам — клопы.

13 мая поэт и Столыпин остановились у Найтаки, в комнатах, расположенных во втором этаже.

Как вспоминал впоследствии писарь пятигорского комендантского управления Карпов, заведовавший полицейской частью и списками вновь прибывающих в Пятигорск больных и путешественников, он, по просьбе Лермонтова, составил рапорт на имя коменданта города. Лермонтов писал, что болен, и просил разрешения остаться на лечение вместе со Столыпиным. Дважды лекарь пятигорского военного госпиталя Барклай-де-Толли писал заключения о мнимой болезни Лермонтова. Дважды обращались в Ставрополь к Траскину с просьбой остаться в Пятигорске, пока разрешение наконец не было получено. Тогда Лермонтов и Столыпин поселились во флигеле у Чилаева; рядом жил князь Александр Илларионович Васильчиков. Далее, на углу, в доме Уманова жил друг Лермонтова по Гродненскому гусарскому полку Александр Иванович Арнольди с сестрой и мачехой, а во

дворе того же дома снимал флигель Александр Францевич Гиран, знавший поэта еще по юнкерской школе и служивший с ним в лейб-гвардии Гусарском полку. По улице, спускавшейся к Подкумку, на углу проживало семейство генерала Верзилина; у них был специальный домик для приезжих, разделенный коридором на две половины. С одной стороны жил полковник Антон Карлович Зельмиц, имевший прозвище «О-то!» (свою речь он начинал с этого междометия). Вместе с ним жили две его дочери, болезненные и незаметные барышни. Зельмиц и Верзилин служили у генерала Емануеля, первый — адъютантом, второй — в штабе, были очень дружны между собой. С другой стороны коридора жили Николай Павлович Раевский, драгунский поручик, и поручик Конной гвардии Михаил Петрович Глебов, дальше — Николай Соломонович Мартынов.

Итак, все участники будущей драмы были давно знакомы между собой и обитали в Пятигорске неподалеку друг от друга. «Обычно нашей компанией, — вспоминал Н. П. Раевский, — было, кроме нас, вместе живущих, еще несколько человек, между прочим, полковник Манзей, Лев Сергеевич Пушкин, про которого говорилось: «Мой братец Лев, да друг Плетнев», командир Нижегородского драгунского полка Безобразов и другие. Но князя Трубецкого, на которого указываете как на человека, близкого Михаилу Юрьевичу в последнее время его жизни, с нами не было. Мы видались с ним иногда, как со многими, но в эпоху, предшествовавшую дуэли, его даже не было в Пятигорске... Мы с ним были однополчане, я его хорошо помню и потому не могу в этом случае ошибаться».

Чтобы хоть как-то скрасить однообразную жизнь «водяного общества», молодые люди устраивали игры, пикники, развлечения. Лермонтов был, что называется, заводилой. Эмилия Шан-Гирей вспоминала: «В мае месяце 1841 года М. Ю. Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодежи. Он несколько не ухаживал за мной, а находил особенное удовольствие *me taquiner**. Я отделялась, как могла, то шуткою, то молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец, это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довел меня почти до слез; я вспыхнула и сказала, что, ежели б я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-под угла в упор. Он как будто остался доволен, что наконец вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, ненадолго».

По воспоминаниям современников, в Пятигорске в то время было три дома, где принимали приезжих молодых людей. Первым был дом генерала Верзилина, вторым — генеральши Екатерины Ивановны Мерлини, третьим — Озерских, «приманку в котором составляла миленькая барышня Варенька». В Пятигорске Лермонтов бывал в основном у Верзилиных. Верзилины прель-

* дразнить меня (франц.).

щали его больше, как, впрочем, и других молодых людей. Там обитали три миленьких молоденьких барышни: Эмилия — 26 лет, Аграфена — 19, Надежда — 15. В этом доме влюблялись, смеялись, плясали. Здесь царили веселье и шум. Усадьба Верзилиных примыкала к усадьбе Чилаева, и молодые офицеры были постоянными завсегдатаями этого дома. Но бывал поэт и еще в одном доме, который впоследствии почти у всех исследователей характеризовался как дом врагов поэта, в котором плелась преддвузельная интрига. Речь идет о доме генеральши Мерлини.

Ее «салон» был более серьезным. Самой хозяйке стукнуло уже 47 лет, и, как бы она ни молодилась, но, по тем временам, для Лермонтова и его компании Екатерина Ивановна была стара. Дом Мерлини был, в сущности, игорным домом, в котором шла крупная карточная игра. Посетителями этого дома были люди степенные, состоятельные, не «зеленая молодежь», на которую они смотрели свысока. Хотя в доме Мерлини разговоры о Лермонтове могли, конечно, носить отрицательный характер, нет никакого основания предполагать, что там плелась интрига с целью убийства Лермонтова. Подобную версию можно отнести к разряду анекдотических, как и утверждение, что Мерлини была агентом III отделения.

Вновь возвращаемся к воспоминаниям Э. А. Шан-Гирей: «Как-то раз ездили верхом большим обществом в колонку Карас. Неугомонный Лермонтов предложил мне пари *à discrétion*, что на обратном пути будет ехать рядом со мною, что ему редко удавалось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу, чтобы они ехали подле меня и не отставали. Лермонтов ехал сзади и все время зло шутил на мой счет. Я сердилась, но молчала. На другой день, утром рано, уезжая в Железноводск, он прислал мне огромный прелестный букет в знак проигранного пари.

В начале июля Лермонтов и компания устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы, против Николаевских ванн. Грот внутри премило был убран шальями и персидскими шелковыми материями в виде персидской палатки, пол устлан коврами, площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями...»

Удивительно, но никто из современников не пишет о том, что вокруг Лермонтова происходило что-то таинственное. Наоборот, жизнь его протекала на виду у всего Пятигорска и в общем-то обыденно. Ну разве что на Лермонтова и его друзей рассердился князь Владимир Голицын за то, что все приготовления к пикнику были сделаны без его участия. Необходимо еще раз подчеркнуть, что никто из современников ни словом, ни намеком не говорит хоть о какой-нибудь слежке, о каких бы то ни было подстрекателях.

Впервые разговоры о тайных недругах появились у Висковатого, который, к сожалению, попытался внести в биографию Лермонтова некий детективный сюжет с интригами, заговорами. С его легкой руки все и пошло.

Вот что писал биограф в своей книге в 1891 г.: «Как в подобных случаях это бывало не раз, искали какое-либо подставное

лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги. Так, узнав о выходках и полных юмора проделках Лермонтова над молодым Лисаневичем, одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, ему через некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Михаила Юрьевича не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, сам первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль — проучить. «Что вы, — возражал Лисаневич, — чтобы у меня поднялась рука на такого человека!» Есть полная возможность, — заключает из этого П. А. Висковатый, — что те же лица, которым не удалось подстрекнуть на недоброе дело Лисаневича, обратились к другому поклоннику Надежды Петровны — Н. С. Мартынову. Здесь они, конечно, должны были встретить почву более удобную для брошенного ими семени».

В приведенной выше цитате трудно отделить правду от авторского вымысла. Рассказ о Лисаневиче, да и имя этого человека, мы находим только у Висковатого. Имя Лисаневича не встречается ни в одном из писем 1841 г., написанных по свежим следам, нет его и в воспоминаниях современников, хотя Лисаневич существовал и в сезон 1841 г. действительно находился на водах. Но для утверждения, что ему предлагали «обуздать» поручика, вызвать его на дуэль, у нас нет никаких оснований.

30 Пришла пора рассказать теперь о Мартынове. С Лермонтовым он был знаком еще со школы Гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В декабре 1835 г. Мартынов был выпущен корнетом в Кавалергардский полк. В это время служил и Жорж Дантес. Случайность ли это? Закономерность? А может быть, рок?

В 1837 г. Мартынов переводится в Нижегородский драгунский полк. По утверждению кн. А. В. Мещерского, произошло это потому, что «мундир этого полка славился тогда, совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии... Я видел Мартынова в этой форме, она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой». В 1837 г. Мартынов был в закубанской экспедиции А. А. Вельяминова, к которой был прикомандирован и Лермонтов, но куда поэт так и не успел попасть. Однако встреча их все же состоялась. Произошла она 29 сентября 1837 г. в Ольгинском тет-де-поне — предместном кубанском укреплении, где размещался походный штаб Вельяминова. А перед этим случилось следующее. В сентябре Лермонтов выехал из Пятигорска, и его путь лежал в действующий экспедиционный отряд в районе Геленджика. Сестры и родители Мартынова, отдохавшие в это время на водах, передали Лермонтову пакет с письмами и вложенными туда 300 рублями для передачи Мартынову. В Тамани Лермонтова обокрали, о деньгах он ничего не знал, а когда встретился с Мартыновым и узнал, что вместе с письмами пропали и деньги, отдал свои.

Спустя много лет появилась легенда об утаенных письмах,

прочтя которые и найдя там много нелестного для себя Лермонтов якобы не передал их Мартынову, что и послужило поводом для дуэли. Переписка Мартыновых была опубликована кн. Д. Д. Оболенским в «Русском Архиве» и «Новом Времени», но в этой публикации был сделан подлог. Оболенский искусственно притянул письмо матери Мартынова от 25 мая 1840 г. к ее же письму от 6 ноября 1837 г.

Мало того, как оказалось, автором легенды о письмах был сам Мартынов. Э. Г. Герштейн опубликовала воспоминания Ф. Ф. Маурера, в которых описан рассказ Мартынова в одной тесной мужской компании: «Обиднее всего то, что все на свете думают, что дуэль моя с Лермонтовым состоялась из-за какой-то пустячной ссоры на вечере у Верзилиных. Между тем это не так. Я не сердился на Лермонтова за его шутки... Нет, поводом к раздору послужило то обстоятельство, что Лермонтов распечатал письмо, посланное с ним моей сестрой для передачи мне. Поверьте также, что я не хотел убить великого поэта: ведь я даже не умел стрелять из пистолета, и только несчастной случайности нужно приписать роковой выстрел».

Но вернемся к дальнейшей биографии Мартынова. Вернувшись 21 апреля 1838 г. в Петербург в свой Кавалергардский полк, Мартынов в 1838—1839 гг., вероятно, не раз встречался с Лермонтовым в Петербурге. 30 октября 1839 г. Мартынов по неизвестной причине был переведен на Кавказ в чине ротмистра Гребенского казачьего полка. Лето и осень 1840 г. он провел вместе с Лермонтовым в экспедиционном отряде генерал-лейтенанта А. В. Галафеева в Чечне и Дагестане. И поэт, и Мартынов были участниками сражения при речке Валерик. Мартынов командовал линейцами, а Лермонтов — сотней охотников, доставшейся ему от Дорохова, который был тяжело ранен.

До наших дней дошли стихотворные и прозаические опыты Мартынова. По ним можно судить о взглядах и мировоззрении их автора. В 1840 г. Лермонтов создает поэтическое послание «Я к вам пишу случайно, право». Тогда написано и стихотворение Мартынова «Герзель-аул». Тема одна — военные события, но как по-разному они поданы. Если Лермонтов искренне страдал из-за своего вынужденного участия в бессмысленной и кровопролитной войне:

*И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем? —*

то Мартынов, напротив, похваляется сожжением аулов, угоном скота, уничтожением посевов. На первый взгляд, это может показаться мелочью, но из таких вот мелочей складывается характер людей.

Да, они знали друг друга давно. Возможно, несколько шаржированно Мартынов изобразил Лермонтова в «Герзель-ауле»:

*Вот офицер прилег на бурке
С ученой книгою в руках,*

*А сам мечтает о мазурке,
О Пятигорске и балах.
Ему все грезится блондинка,
В нее он по уши влюблен...*

В начале 1841 г. Мартынов неожиданно подал в отставку, которая была утверждена 23 февраля. Почему? Причина отставки до сих пор неизвестна. Правда, среди офицеров в полку какие-то слухи о неблагоприятном поведении Мартынова ходили, но точных сведений мы не имеем. Причину отставки следует, вероятно, искать в сложных вопросах «офицерской чести». Дело в том, что у Мартынова к этому времени появилось прозвище «Маркиз де Шулерхоф». Такие вещи, как шулерство в карточной игре, в военной среде не терпелись, и Мартынову, быть может, не оставалось ничего другого, как выйти в отставку, хотя бы на время. По прошествии некоторого времени можно было вновь проситься на военную службу, но уже в другой полк. Видимо, этим фактом объясняется обнаруженная Э. Г. Герштейн в архиве запись от 10 февраля 1841 г. о существовании дела «Об определении вновь на службу отставного майора Мартынова». Оно было закончено 27 февраля и впоследствии уничтожено, вероятно, потому, что еще 23 февраля Николай I подписал приказ об отставке Мартынова «по домашним обстоятельствам».

Домой Мартынов не вернулся и в апреле 1841 г. приехал в Пятигорск, где вскоре поселился вместе с М. П. Глебовым во флигеле дома Верзилиных.

Мартынов страдал комплексом неполноценности. Вот каким описывают его многие современники, видевшие его в Пятигорске в 1841 г. Н. П. Раевский: «Николай Соломонович Мартынов поселился в домике для приезжих позже нас и явился к нам истым денди. Он брил по-черкесски голову и носил необъятной величины кинжал, из-за которого Михаил Юрьевич и прозвал его *roignard'au*. Эта кличка, приставшая к Мартынову еще больше, чем другие лермонтовские прозвища, и была главной причиной их дуэли, наравне с другими маленькими делами, поведшими за собой большие последствия. Они знакомы были еще в Петербурге, и хотя Лермонтов и не допускал его к себе, но все же не ставил его наряду с презираемыми им лицами. Между нами говорилось, что это оттого, что одна из сестер Мартынова пользовалась большим вниманием Михаила Юрьевича в прежние годы, и что даже он списал свою княжну Мэри именно с нее. Годами Мартынов был старше нас всех и, приехавши, сейчас же принялся перетягивать все внимание *belle poire* (под этим прозвищем фигурировала Е. Быховец. — В. З.), милости которой мы все добивались, исключительно на свою сторону. Хотя Михаил Юрьевич особенного старания не прилагал, а так только вместе со всеми нами забавлялся, но действия Мартынова ему не понравились и раздражали его. Вследствие этого он насмешничал над ним и настаивал на своем прозвище, не обращая внимания на очевидное неудовольствие приятеля, пуще прежнего».

Говоря об отношениях между Мартыновым и Лермонтовым, нельзя не упомянуть об одной из сестер Мартынова — Наталье

Соломоновне. В сезон 1837 г. она была на водах, и Лермонтов часто встречался с ней. Поговаривали, что он был ею увлечен, а она отвечала ему взаимностью. Проверить это мы не можем, как нельзя точно утверждать и то, что под именем княжны Мэри скрывается Наталья Соломоновна. Но вот что интересно: оказывается, эта версия появилась в 1893 г., когда сыновья Мартынова обратились к кн. Д. Д. Оболенскому с просьбой опубликовать хранившуюся у них семейную переписку, относящуюся к поэту. По-видимому, с их слов кн. Оболенский и передавал как непреложную истину рассказ об отношениях Натальи и Лермонтова. «Неравнодушна к Лермонтову была и сестра Н. С. Мартынова, Наталья Соломоновна. Говорят, что Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за ней, а быть может, и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Н. С. Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую». Тот же Оболенский пишет далее, что сестры Мартынова, «как и многие тогда девицы, были под впечатлением таланта Лермонтова... Вернувшись с Кавказа, Наталья Соломоновна бредила Лермонтовым и рассказывала, что она изображена в «Герое нашего времени». Одной нашей знакомой она показала красную шаль, говоря, что ее Лермонтов очень любил. Она не знала, что «Героя нашего времени» уже многие читали и что «пунцовый платок» помянут в нем совершенно по другому поводу».

Верить этим рассказам вряд ли можно. Уж больно много в них несообразностей. В 1837 г., когда Наталья Мартынова вернулась из Пятигорска, «Героя нашего времени» еще не существовало. Э. Г. Герштейн детально рассмотрела взаимоотношения Лермонтова с семейством Мартыновых. Она впервые установила подлинные даты писем по копиям, которые обнаружила в архиве редакции «Русского Архива». Не нашла исследовательница и никаких упоминаний у современников об увлечении Лермонтова сестрой Мартынова. Сейчас мы имеем основание думать, что вся эта история была придумана потомками Мартынова.

В Пятигорске молодежь завела альбом, в который записывались, но чаще рисовались смешные случаи, разнообразные события из жизни «водяного общества». Вот свидетельство Н. П. Раевского: «У нас велся точный отчет об наших *partis de plaisir*. Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в «альбоме приключений», в котором можно было найти все: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц. После этот альбом достался князю Васильчикову или Столыпину, не помню, кому именно. Все приезжие и постоянные жители Пятигорска получали от Михаила Юрьевича прозвища. И язык же у него был! Как, бывало, прозовет кого, так кличка и пристанет».

Мартынов был главным объектом шаржированных рисунков, по рассказам современников, он вел себя довольно заносчиво, считая себя первым красавцем, перед которым не устоит ни одна женщина. Что он позволял себе в разговорах в мужской компании, можно только догадываться. Поэтому прозвище, которое за

ним закрепилось, «месье Кинжал», имело и другое значение, довольно двусмысленное.

Э. А. Шан-Гирей написала об альбоме лишь две строчки: «Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах».

По-видимому, Эмилия Александровна альбом в руках не держала, он предназначался только для мужчин, но о содержании, о «видах и позах» Мартынова знала с чьих-то слов. Зато Арнольди изучил альбом внимательно. «Я часто забегал к соседу моему Лермонтову, — вспоминал Арнольди. — Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассматривающим в сообществе С. Трубецкого, и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришел не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: «Ну, это ничего», то и остался. Шалуны-товарищи показали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили. Это была целая история в лицах, вроде французских карикатур, где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображен в самом смешном виде — то въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся перед какою-нибудь красавицей и проч. Эта-то шутка, приправленная часто в обществе злым сарказмом неутомонного Лермонтова, и была, как мне кажется, ядром той размолвки, которая кончилась так печально для Лермонтова».

34

Куда делся альбом после смерти Лермонтова, мы не знаем. Висковатый дал такое сообщение: «Альбом этот со многими листами стихотворений и писем Лермонтова, о коих говорит и Боденштедт, кажется, погиб вместе с вещами Глебова во время экспедиции. Так, по крайней мере, думал А. П. Шан-Гирей. По смерти поэта Глебов его оставил у себя, и в опись вещам поэта он не вошел. П. К. Мартынов внес существенную поправку в это сообщение Висковатого: «Альбом, в котором рисовал Лермонтов в Пятигорске в 1841 году карикатуры на «водяное общество», взят после смерти поэта не Глебовым, а Алексеем Аркадьевичем Столыпным, который и привез его в Петербург, а из Петербурга отослал в свое имение, село Пушкино Инсарского уезда Пензенской губернии, где он вместе с другими его вещами был похищен обокравшими его дом ворами». Мне думается, что альбом был Столыпным попросту уничтожен, чтобы не дать повода для кривотолков.

Прозвище «Монго» принадлежало Алексею Аркадьевичу — двоюродному яде Лермонтова, который был на два года моложе племянника. В 1841 г. ему исполнилось всего 25 лет. О том, как появилось его прозвище, существуют две версии. По одной, рассказанной П. А. Висковатым со ссылкой на Дмитрия Аркадьевича Столыпина, Лермонтов как-то раз увидел лежащую на столе у Столыпина французскую книгу, озаглавленную «Путешествие Монго-парка». Этого было достаточно, чтобы за Алексеем закрепилась кличка «Монго» — по первым двум слогам имени «Монго-парка». Согласно второй версии, автором которой был дальний родственник поэта М. Н. Лонгинов, прозвище Столыпин получил по кличке своей собаки.

Алексей Столыпин был сыном родного брата бабушки Лермонтова Аркадия Алексеевича и Веры Николаевны, урожденной Мордвиновой. Материал о Столыпине собран значительный, весь опубликован. Но вот что в этих публикациях знаменательно: документы подобраны таким образом, что вырисовывается довольно отвратительный тип человека заносчивого, самолюбивого, надменного. Особенно преуспела в этом Т. А. Иванова в своей книге «Посмертная судьба поэта».

Что же произошло в тот злополучный вечер 13 июля 1841 г. в доме Верзилиных? Предоставим слово Эмили Шан-Гирей. Она — одна из очевидцев ссоры. «13-го июля собралось к нам несколько девиц и мужчин и порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменяя тон насмешки, он сказал мне: «Mlle Emilie, je vous en prie, un tour devalse seulement, poul la derniere fois de ma vie»*. — «Ну, уж так и быть, в последний раз, пойдёмте». М. Ю. дал мне слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык а *gui mieux mieux*** . Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешно много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл кн. Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «*montagnard au grand roignard*»***. Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «*roignard*» раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: «Язык мой — враг мой», М. Ю. отвечал спокойно: «*Ce n'est rien, demain nous serons bons amis*»****. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно «да» и тут же назначил день».

Нет нужды приводить другие свидетельства, ничего нового они не добавляют. Согласно общераспространенной версии, считается, что Лермонтов выехал в Железноводск только 14 июля, на следующий день после ссоры у Верзилиных. Вот как об этом

* «Эмилия Александровна, прошу вас на один только круг вальса, последний раз в моей жизни» (франц.).

** Взапуски (франц.).

*** «Горец с большим кинжалом» (франц.).

**** «Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями» (франц.).

писал П. А. Висковатый: «Особенное участие в деле (ссоры Лермонтова с Мартыновым.— В. З.) принимали, конечно, ближайшие к сторонам молодые люди: Столыпин, кн. Васильчиков и уже поименованный Глебов. Так как Мартынов никаких представлений не принимал, то решили просить Лермонтова, не придававшего никакого серьезного значения делу, временно удалиться и дать Мартынову успокоиться. Лермонтов согласился уехать на двое суток в Железноводск, в котором вообще он проводил добрую часть своего времени. В отсутствие его друзья думали дело уладить. Как прожил поэт в своем Железноводске последние сутки — кто это знает!»

Можно ли проверить это утверждение П. А. Висковатого? Даже нужно, и это сделал в начале 50-х годов С. И. Недумов. Оказывается, Лермонтов находился в Железноводске 6—13 июля; 8 июля ему там было продано 4 билета в Калмыцкие ванны. Таким образом, сообщение Висковатого не совсем соответствует действительности. Больше того, учитывая, что четвертый ванный билет мог быть использован 11 или 12 июля, можно с уверенностью утверждать, что на вечер к Верзилиным 13 июля Лермонтов приехал из Железноводска и возвратился туда для продолжения лечения 14 июля, а 15 июля, в день дуэли, он и живший с ним Столыпин взяли еще по 5 билетов.

«15-го июля, — вспоминает Э. А. Шан-Гирей, — пришли к нам утром кн. Васильчиков и еще кто-то, не помню, в самом пасмурном виде; даже татап заметила и, не подозревая ничего, допрашивала их, отчего они в таком дурном настроении, как никогда она их не видала. Они тотчас замяли этот разговор вопросом о предстоящем у князя Голицына бале, а так как никто из них приглашен не был, то просили нас придти на горку посмотреть фейерверк и позволить им явиться туда инкогнито. Жаль было, что лучших танцоров и самых интересных кавалеров не будет на балу, где предполагалось так много удовольствий. Собираться в сад должны были в 6 часов, но вот с четырех начинает накрапывать мелкий дождь; надеясь, что он пройдет, мы нарядились, а дождь все сильнее да сильнее и разразился ливнем с сильнейшей грозой: удары грома повторялись один за одним, а раскаты в горах не умолкали. Приходит Дмитриевский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать этих господ всех сюда и устроить свой бал; не успел он докончить, как вбегает в залу полковник Зельмиц (он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым) с растрепанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: «Один напавал, другой под арестом!» Мы бросились к нему — что такое, кто напавал, где? «Лермонтов убит!» Такое известие, и столь внезапное, до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика; едва могли ее успокоить».

Уже давно существует мнение, что друзья уговаривали обе стороны отменить дуэль. Вот дневниковая запись Александра Яковлевича Булгакова, московского почт-директора. Сведения получены им в Москве: «Лермонтов сочинил на него (Мартынова.— В. З.) какие-то стихи, к коим присовокупил и нарисованный им очень похожий портрет Мартынова в странном его

костюме. Все это он поднес самому Мартынову, первому ему показал сам, но Мартынов не принял это как шутку, а, выйдя из себя, требовал сатисфакции за то, что называл обидою. Тщетны были все усилия Лермонтова, ему сделалось, наконец, невозможным отклонить настояния своего противника. Назначен день, час дуэли, выбраны секунданты».

Князь А. И. Васильчиков был одним из секундантов. Вот что он писал в своих воспоминаниях, опубликованных в 1872 г.: «Выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим, ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни до дуэли между ними не было, по крайней мере, нам, Столышину, Глебову и мне, неизвестно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее, все мы, и в особенности М. П. Глебов, который соединял с отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение трех дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха».

Далее А. И. Васильчиков отмечает: «Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова — «потребуйте от меня удовлетворения» — заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению. На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля часов в шесть-восемь вечера мы поехали на роковую встречу; но и тут в последнюю минуту мы и, я думаю, сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать».

Так было ли примирение? Как сам Н. С. Мартынов отвечал на этот вопрос?

13 сентября 1841 г. Пятигорский окружной суд предоставил Мартынову вопросные пункты; в девятом спрашивалось: «Когда вы посылали от себя приглашенного вами секундантом корнета Глебова к Лермонтову с вызовом его на дуэль, то каков получил-ся ответ Лермонтова и не говорил ли чего, относящегося к миролюбию, или продолжал те колкости, кои вас оскорбляли, с согласием на ваш вызов, и в чем заключались меры секундантов гг. Васильчикова и Глебова к примирению вас с Лермонтовым?»

Ответ существует в двух вариантах, черновом и беловом, причем последний был также не окончательным. Первый вариант: «Не знаю, продолжал ли он свои колкости во время вызова, только мне Глебов ничего об них не говорил. Переданный мне ответ был, что он готов исполнить мою волю. Миролюбивых предложений он мне не делал. Васильчиков и Глебов напомина-

ли мне взаимные наши отношения и тесную связь, которая до сего времени существовала между нами, желая через то убедить меня взять назад вызов».

Во второй редакции ответ на этот вопрос выглядел несколько развернуто: «Не знаю, продолжал ли он свои колкости во время вызова, только мне Глебов об них не говорил. Переданный мне ответ состоял в простом согласии (исполнить мое желание), без всяких миролюбивых предложений его. Васильчиков и Глебов напоминали мне прежние мои отношения с ним и тесную связь, которая до сего времени существовала между нами, желая через то убедить меня взять назад вызов, желая кончить это дело дружески».

Как видим, примирения никакого не было. Никто и не пытался этого сделать. Но под пером нынешних исследователей картина выглядит иначе. Вот как описывает Т. А. Иванова преддвузельные дни: «А по Пятигорску носится взволнованный Дорохов и убеждает секундантов развести, разъединить на время противников, чтобы легче было их примирить. Опытный дуэлянт, он знает все средства к примирению и учит этому секундантов. Но среди секундантов есть не менее опытный дуэлянт, знаток дуэльного кодекса Стольпин-Монго. Лермонтов говорит секундантам, что он готов извиниться, что он не будет стрелять в Мартынова. Но секунданты не передают этого Мартынову. Он чем дальше, тем больше разгорается, точно кто-то все время подливает масла в огонь. О дуэли идут разговоры по городу, и пятигорские власти знают о ней, но мер не принимают, чтобы ее предотвратить».

Вся эта избыточная деталями картина является плодом воображения Т. А. Ивановой: ничего подобного на самом деле не было.

То, что ссора носила частный характер и о ней знали далеко не все, видно из воспоминаний многих современников поэта. Вот дневниковая запись Николая Федоровича Туровского, бывшего в те дни на водах. В свое время он учился в Московском Пансионе одновременно с Лермонтовым, знал поэта лично: «18 июля. Лермонтова уже нет, вчера оплакивали мы смерть его. Грустно было видеть печальную церемонию, еще грустней вспомнить: какой ничтожный случай отнял у друзей веселого друга, у нас — лучшего поэта. Вот подробности несчастного происшествия». «Язык наш — враг наш». Лермонтов был остер, и остер иногда до едкости: насмешки, колкости, эпиграммы не щадили никого, даже самых близких ему; увлеченный игрою слов или сатирической мыслию, он не рассуждал о последствиях. Так было и теперь».

Пятнадцатого числа утро провел он в небольшом дамском обществе (у Верзилиных) вместе с приятелем своим и товарищем по гвардии Мартыновым, который только что окончил службу в одном из линейных полков и, уже получивши отставку, не оставлял ни костюма черкесского, присвоенного линейцам, ни духа лихого джигита и тем казался, действительно, смешным. Лермонтов любил его, как доброго малого, но часто забавлялся его странностью, теперь же больше, нежели когда. Дамам это

нравилось, все смеялись, и никто подозревать не мог таких ужасных последствий. Один Мартынов молчал, казался равнодушным, но затаил в душе тяжелую обиду. «Оставь свои шутки — или я заставлю тебя молчать», — были слова его, когда они возвращались домой. Готовность всегда и на все — был ответ Лермонтова, и через час-два новые враги стояли уже на склоне Машука с пистолетами в руках».

Как видим, автор пользовался слухами, появившимися уже после дуэли, даже дата ссоры названа неверно. Но ее причины ему хорошо известны.

Ту же причину дуэли привел и отставной военный врач Михаил Семенович Павлуцкий в своем письме на имя редактора журнала «Русская Старина». Это письмо было реакцией на публикацию в 14-м томе журнала за 1875 г. воспоминаний о Лермонтове Я. И. Костенецкого. Письмо хранилось в архиве журнала и не было опубликовано. М. С. Павлуцкий писал о своей встрече с Н. С. Мартыновым в Киеве в 1842 г. Появление Мартынова в городе «возбудило общее внимание, а молодежь всеми силами старалась узнать всю подробность от самого виновника ее. Успех был полный и обнаружил такую хлестаковщину в кружках нашей тогдашней молодежи высшего полета, что не знали, чему более удивляться — ее ли невежеству или легкому взгляду на жизнь человека? Мартынов сделался отвратительным для всех интеллигентных людей после открытия истины.

Мартынова в Пятигорске его приятели дразнили не «m-g le grand poignard»*, а просто — «мартышкой». Оставьте обстоятельства, — писал дальше Павлуцкий, — описанные господином Костенецким, в их виде, замените «господин большой кинжал» словом «мартышка», и вы получите вполне действительную причину дуэли, лишившей нас великого поэта».

В 1984 г. в альманахе «Ставрополье» С. Белоконь опубликовал очерк ученика 6-го класса ставропольской гимназии Дикова «Аул Кирка». Написан он был в 1853 г. и принадлежал, по-видимому, близкому родственнику В. Дикова, того самого, который был позже женат на Грушеньке — Аграфене Петровне Верзилиной. В сочинении гимназиста описываются события тех трех июльских дней, начавшиеся ссорой и закончившиеся смертью Лермонтова. Интерес этот очерк представляет большой, поскольку свои сведения автор почерпнул из семейных рассказов людей, которые все видели своими глазами. Источниками были, по-видимому, Грушенька и «старичок» Чилаев. В очерке имена действующих лиц были скрыты за инициалами, в которых легко угадываются все герои будущей драмы. Рассказ начинается с описания дома Верзилиных.

«Старичок Ч. помнит Л., — пишет Диков. — Домик, небольшой, с палисадником, несколько деревьев вишен, яблонь растут в палисаднике, и ветви их врываются в окна. С боковой стороны его бывшей квартиры стоит несколько яблонь и груш; из ворот идет поляна... Воздух здесь свеж и не заражен серой, как в некоторых других частях города. Вот квартира поэта. Наш дом стоит

* Господин большой кинжал (франц.).

в соседстве с этим домом, но прежде в то время в нашем дворе был другой дом, генерал-майора В., они разделялись одною каменной стеною, и в этом доме квартировал М.». Описывая дом Верзилиных, автор отмечает: «Здесь Л. был хорошо принят и убивал большую часть дня... Л. был первым кавалером на этих вечерах и танцевал без усталости (нужно заметить, что он танцевал, как мне говорили, довольно легко и грациозно)».

Рассказывая далее о характере поэта, его поведении в Пятигорске, Диков пишет: «Л. смеялся над всеми и всем. Даже в доме, где он был так радушно принят, он говорил иногда колкости, и молодые девицы ссорились с ним (конечно, как вообще ссорится их прекрасный пол — полушутя). Но М. именно был щелью, куда он сыпал без умолку свои насмешки... Л. не позволял М. сказать ни слова или после каждой фразы ставил его в такое затруднительное положение, что тот краснел и умолкал невольно. Здесь Л. ловил каждое его слово. Эта история повторялась всегда, и Л. своими сарказмами преследовал М. ужасно».

Говорят, что часто после подобных сцен М., возвращаясь уже домой, дружески говорил Л.: «Я прошу тебя, Л., чтобы ты перестал шутить надо мною в обществе, я даю полную волю твоему языку издеваться надо мною, но ради дружбы, где хочешь — дома, среди товарищей, но не там, где дамы, где двадцать человек посторонних». И Л. давал ему слово оставить эти шутки».

Большой интерес представляет описание Диковым событий вечера 13 июля. О них автор знал, вероятно, со слов Аграфены Петровны.

«Я сидела перед окном, и вечерний воздух освежал ослабевшие мои силы. Ко мне подошел Л.

— О чем вы думаете? — спросил он меня.

— Я думаю, что вы самый ужасный насмешник, даже...

— И за это сердитесь на меня? — спросил Л.

— Очень сержусь, — ответила я.

— Я — насмешник, даже злой?! Так не говорите больше. Я знаю, что это отзыв обо мне всех. Нет, верьте мне, я не зол. Нет, это клевета моих завистников.

Тут проговорил Л. тираду, вроде той, которую сказал Печорин Мэри во время прогулки к Провалу.

Ужин был готов, и разговор был прерван. После ужина Л. повеселел. Тут гости стали расходиться. Офицеров человек 7 вышло из дому вместе, в числе их был Л. с М.».

Последующие события изложены Диковым со слов одного из этих семи офицеров, возможно, самого В. Н. Дикова: «Когда они отошли от дому на порядочное расстояние, М. подошел к Л. и сказал ему:

— Л., я тобой обижен, мое терпение лопнуло: мы будем завтра стреляться; ты должен удовлетворить мою обиду.

Л. громко рассмеялся.

— Ты вызываешь меня на дуэль? Знаешь, М., я советую тебе зайти на гауптвахту и взять вместо пистолета хоть одно орудие;

послушай, это оружие вернее — промаху не даст, а силы поднять у тебя станет.

Все офицеры захохотали, М. взбесился.

— Ты не думай, что это была шутка с моей стороны.

Л. засмеялся.

Тут, видя, что дело идет к ссоре, офицеры подступили к ним и стали говорить, чтобы они разошлись».

В ответах Мартынова на вопросные пункты Следственной комиссии он писал (1-я редакция): «На другой день описанного мною происшествия Глебов и Васильчиков пришли ко мне и всеми силами старались меня уговорить, чтобы я взял назад свой вызов. Уверившись, что они все это говорят от себя, но что со стороны Лермонтова нет даже и тени сожаления о случившемся, я сказал им, что не могу этого сделать, что мне на другой же день пришлось бы с ним (через платок стреляться) * пойти на ножи.

Они настаивали, напоминали мне прежние мои (наши) отношения с ним, говорили о веселой жизни, которая (всех нас еще) с ним ожидает в Кисловодске, и что все это будет (уничтожено) (нарушено) расстроено моей глупой историей. Чтобы выйти из неприятного положения человека, который мешает веселиться другим, я сказал им, чтобы они сделали воззвание к самим себе: поступили бы они иначе на моем месте? После этого меня уже никто больше не уговаривал».

Во второй редакции, сохранившейся в следственном деле и написанной после «консультации» с секундантами, Мартынов ответил более обстоятельно: «Васильчиков и Глебов старались всеми силами помирить меня с ним, но так как они не (имели никакого полномочия) могли сказать мне ничего от его имени, а просто хотели взять мой (вызов) назад, я не мог на это согласиться. Я отвечал им, что я уже сделал шаг к сохранению мира (за три недели перед тем), прося его оставить свои шутки (и быть со мной при всех так, как он бывал), что он пренебрег этим, и что, сверх того, теперь уже было поздно, когда сам он надумил меня в том, что мне нужно было делать. В особенности я сильно упирался на этот совет, который он мне дал накануне, и показывал им, что этот совет был не что иное, как вызов. После еще нескольких (неудачных) попыток с их стороны они убедились, что уговорить меня взять назад вызов есть дело невозможное».

Как мы видим, повод к дуэли был один: насмешки Лермонтова над Мартыновым. Никакого заговора не было и быть не могло. Хочу еще раз подчеркнуть, что о том, что Лермонтов находится в Пятигорске, в столице не знали. Развитие истории с заговором, ее «документальное» обоснование появилось в 1930-е годы, когда историями о «заговорах» и «врагах» были полны газеты и журналы.

В Железноводске администрация ванны вела книгу, озаглавленную: «Книга дирекции Кавказских минеральных вод на за-

* В скобки заключены слова, зачеркнутые Н. С. Мартыновым.

писку прихода и расхода купальных билетов и вырубленных с господ посетителей денег за ванны на щелочно-железистых водах в Железноводске. На 1841 год». В самом ее начале, на шестой странице, есть запись о покупке Лермонтовым и Столыпным по пяти билетов на ванны № 12.

Началось утро последнего дня. Днем у поэта были гости. Катенька Быховец вспоминала: «...мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной в коляске, а Дмитриевский, Бенкендорф и Пушкин — брат сочинителя — верхами. На половине дороги в колонке мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу, и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами, коса моя распустилась, и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что все та же; уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слез (он меня) благодарил, что я приехала, умаливал, чтоб я пришла к нему на квартиру закусить, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами. В колонке обедали. Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит:

— Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни.

Я еще над ним смеялась; так мы и отправились. Это было в пять часов».

Из колонки Карас Лермонтов вернулся в Железноводск. Повидимому, Бенкендорф и Дмитриевский приезжали специально для того, чтобы сообщить Лермонтову о дне и месте дуэли.

Это подтверждает в своих, найденных сравнительно недавно, воспоминаниях А. И. Арнольди: «Проехав колонию Шотландку, я видел перед одним домом торопливые приготовления к какому-то пикнику его обитателей, но не обратил на это особого внимания; я торопился в Железноводск, так как огромная черная туча, грозно застилая горизонт, нагоняла меня как бы стеной от Пятигорска, и крупные капли дождя падали на ярко освещенную солнцем местность. На полпути в Железноводск я встретил Столыпина и Глебова на беговых дрожках; Глебов правил, а Столыпин с ягдташем и ружьем через плечо имел перед собою что-то, покрытое платком. На вопрос мой, куда они едут, они отвечали мне, что на охоту, а я еще посоветовал им убить орла, которого неподалеку оттуда заметил на копне сена. Не подозревая того, что они едут на роковое свидание Лермонтова с Мартыновым, я приударил коня и пустился от них вскачь, так как дождь усилился. Несколько далее я встретил извозчицьи дрожки с Дмитриевским и Лермонтовым и на скаку поймал прощальный взгляд его... последний в жизни».

Из Пятигорска приехали, как пишет Э. А. Шан-Гирей, Мартынов, Васильчиков, Глебов, Трубецкой и Дорохов. «Все они свернули с дороги в лес и там-то стрелялись».

Однако в колонке произошла непредвиденная задержка. Гроза, от которой убегал Арнольди, таки разразилась. Буря подня-

лась страшная, подобной не помнили и старожилы. Пришлось пообедать у Рошке. Висковатый, без ссылок на конкретного свидетеля, писал: «Говорят, Мартынов приехал туда на беговых дрожках с кн. Васильчиковым. Лермонтов был налицо. Противники раскланялись, но вместо слов примирения Мартынов напомнил о том, что пора бы дать ему удовлетворение, на что Лермонтов выразил всегдашнюю свою готовность. Верно только то, что кн. Васильчиков с Мартыновым на беговых дрожках, с ящиком принадлежавших Столыпину кухенрейторских пистолетов, выехали отыскивать удобное место у подошвы Машука, на дороге между колонией Карас и Пятигорском».

Лермонтов с другими секундантами поехал следом. Какое-то время с ним был Глебов. Беседа, которую они вели, дошла в пересказе П. К. Мартынова: «Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слышал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнения от службы в Петербурге, и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план, — говорил он Глебову, — двух романов: одного — из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого — из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и, вот, придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно приняться за кладку фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!»

В начале осени 1841 г. В. Белинский в рецензии на второе издание «Героя нашего времени», вышедшее в середине года, так отозвался о Лермонтове: «Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни отвлекли его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устывать, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собой связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем по пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями».

Как видим, свидетельство Мартынова имеет под собой почву. По-видимому, Лермонтов со многими говорил о своих планах и, отправляясь на дуэль, не думал о возможных трагических ее последствиях.

Кто же присутствовал на дуэли? На следствии секунданты

показали только двух — Глебова и Васильчикова. Много лет спустя стали известны имена еще двух — Трубецкого и Столыпина. Э. А. Шан-Гирей назвала также Руффина Дорохова. А в записках Арнольди говорится: «Я полагаю, что, кроме двух секундантов, Глебова и Александра Васильчикова, вся молодежь, с которою Лермонтов водился, присутствовала скрытно на дуэли, полагая, что она кончится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся репутацией храброго, струсит и противники помирятся».

П. А. Висковатый, ссылаясь на рассказ В. Елагина, отмечает: «Даже есть *полное* (подчеркнуто Висковатым. — В. З.) вероятие, что, кроме четырех секундантов: князя Васильчикова, Столыпина, Глебова и кн. Трубецкого, на месте поединка было еще несколько лиц в качестве зрителей, спрятавшихся за кустами, — между ними Дорохов».

Приведем еще ряд сведений, подтверждающих факт присутствия Дорохова на дуэли. «Прискакивает Дорохов и с видом отчаяния объявляет: «Вы знаете, господа, Лермонтов убит!» Жена священника П. Александровского вспоминала: «Накануне памятной дуэли вечером пришел к мужу моему г. Дорохов, квартировавший у нас в доме на бульваре, и попросил верховую лошадь ехать за город, недалеко; мой муж отказывал ему, думая, не какое ли нибудь здесь неприятное дело, зная его, как человека, уже участвовавшего в дуэлях, и не соглашался, желая прежде знать, для чего нужна лошадь. Но тот убедительно просил, говоря, что лошадь не будет заморена и скоро ее доставят сохранно и неприятности никакой не будет; муж согласился, и, действительно, лошадь привели вечером незаморенной». На следующий день вечером к Александровскому пришли друзья Лермонтова, прося совершить обряд погребения поэта. «Они ушли, а муж позвал меня к себе и сказал: «У меня было предчувствие, я долго не решался давать лошадь Дорохову. Вчера вечером у подошвы Машука за кладбищем была дуэль; Лермонтова убил Мартынов, а Дорохов спешил за город именно поэтому. — И, опять задумавшись, сказал: — Чувствую неволью себя виноватым в этом случае, что дал лошадь. Без Дорохова это могло бы окончиться примирением, а он взялся за это дело и привел к такому окончанию, не склоняя противников на мир».

И еще одно свидетельство Висковатого: «Когда я указывал кн. Васильчикову на слух, сообщаемый и Лонгиновым, он сказал, что этого не ведает, но когда утвердительно заговорил о присутствии Дорохова, князь, склонив голову и задумавшись, заметил: «Может быть, и был. Я был так молод, мы все были так молоды и несерьезно глядели на дело, что много было допущено упущенный».

Вопрос о присутствии на дуэли посторонних лиц далеко не праздный. Речь идет не о детективных историях, подобных тем, которые муссировали четверть века назад И. Кучеров и В. Степиц, или о каком-то таинственном казке, спрятавшемся за кустами и якобы выстрелившем в поэта сзади. Я говорю о конкретных лицах. Предварительно их круг можно очертить следующими именами: Дорохов, Дмитриевский, Бенкендорф. Мож-

но только предполагать, где они находились во время дуэли — стояли в стороне или в отдалении или прятались за кустами. Возможно, что кто-нибудь из них и подзадоривал Мартынова. Висковатый, разговаривая с Васильчиковым, задал ему вопрос: «А были ли подстрекатели у Мартынова?» На что Васильчиков ответил: «Может быть, и были, мне было 22 года, и все мы тогда не сознавали, что такое Лермонтов. Для всех нас он был офицеровариц, умный и добрый, писавший прекрасные стихи и рисовавший удачные карикатуры. Иное дело глядеть ретроспективно!»

Как бы то ни было, но присутствие посторонних лиц было не только нарушением правил, но и ставило всех в двойственное положение.

Что же произошло дальше? Дадим слово современникам и очевидцам. А. И. Васильчиков в 1872 г. вспоминал: «15 июля, часов в шесть-семь вечера, мы поехали на роковую встречу, но и тут, в последнюю минуту, мы и, я думаю, сам Лермонтов были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать. Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню), темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау.

Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили их сходить, каждому на десять шагов, по команде «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, а другой — Лермонтову, и skoмандовали: «Сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняя рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни назад, ни вперед, не успев даже захватить большое место, как это обыкновенно делают люди раненные или ушибленные.

Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие».

А. Я. Булгаков, московский почт-директор, узнал о дуэли от князя В. С. Голицына. Письмо пришло в Москву 26 июля 1841 г.: «Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения не только тут, но везде, где он только захочет. «Стреляй!» — был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все же кончить глупую эту ссору дружески; не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику

своему, и выстрелил ему прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как и выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух. Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу правил чести, и благородства, и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершалась, ему следовало сказать Лермонтову: «Извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить». Так поступил бы благородный, храбрый офицер. Мартынов поступил, как убийца».

Подобная же версия содержится и в письме студента Елагина: «Лермонтов выстрелил в воздух, а Мартынов подошел и убил его. Все говорят, что это убийство, а не дуэль, но я думаю, что за сестру Мартынову нельзя было поступить иначе. Конечно, Лермонтов выстрелил в воздух, но этим он не мог отвратить удара и обезоружить обиженного. В одном можно обвинить Мартынова: зачем он не заставил Лермонтова стрелять. Впрочем, обстоятельства дуэли рассказывают различным образом и всегда обвиняют Мартынова, как убийцу».

Рассказ о выстреле Лермонтова в воздух, якобы имевшем место, варьируется и в других свидетельствах, но не очевидцев, а лиц, слышавших об этом от кого-то. Те же рассказы слышал в 70-е годы П. Мартынов, когда собирал в Пятигорске сведения о Лермонтове.

46
Что же произошло на самом деле у Перкальской скалы? Васильчиков не хотел рассказывать, кивая на Мартынова: пусть тот прежде опубликует свою версию. Мартынов молчал до своей смерти в 1875 г. Только тогда Васильчиков кое-что рассказал Висковатому. По мнению Э. Г. Герштейн, версия о презрительном взгляде Лермонтова, смутившем даже секундантов, должна была принадлежать Васильчикову. В некрологе Васильчикова, написанном В. Стоюниным, сообщалось, в частности: «Когда Лермонтову, хорошему стрелку, был сделан со стороны секунданта намек, что он, конечно, не намерен убивать своего противника, то он и здесь отнесся к нему с высокомерным презрением со словами: «Стану я стрелять в такого дурака!» — не думая, что были сочтены его собственные минуты. Так рассказывал князь Васильчиков об этой несчастной катастрофе; мы записываем его слова, как рассказ свидетеля смерти нашего поэта».

В 1939 г. в Париже, в газете «Возрождение», появилась небольшая заметка, в которой говорилось: «Княгиня С. Н. Васильчикова любезно предоставила нам выдержку из неопубликованных воспоминаний ее покойного мужа, князя Б. А. Васильчикова, сына секунданта Лермонтова: «В 1839 г. отец был зачислен во II отделение Его Императорского Величества Канцелярии. В качестве чиновника этой канцелярии он был командирован на Кавказ для участия в сенатской ревизии, во главе которой стоял Ган. На Кавказе отец сблизился и даже подружился с Лермонтовым. Они жили в Пятигорске в одном доме, и отцу довелось быть свидетелем ссоры Лермонтова с Мартыновым, а затем — секундантом первого в роковой дуэли. При всей своей естественной сдержанности при суждении о роли Лермонтова в этом трагиче-

ском эпизоде отец в откровенных беседах в интимном кругу не скрывал некоторой доли осуждения Лермонтова во всей этой истории...

Свои воспоминания об этой трагической дуэли отец поместил в семидесятых годах в «Русском Архиве», но в этом изложении он, шадя память поэта, упустил одно обстоятельство, которое я однако же твердо запомнил из одного разговора моего отца на эту тему в моем присутствии с его большим другом, Вас. Денисовичем Давыдовым, сыном знаменитого партизана. Отец всегда был уверен, что все бы кончилось обменом выстрелов в воздух, если бы не следующее обстоятельство: подойдя к барьеру, Лермонтов поднял дуло пистолета вверх и, обращаясь к моему отцу, громко, так, что Мартынов не мог не слышать, сказал: «Я в этого дурака стрелять не буду!» Это, думал мой отец, переполнило чашу терпения противника, он прицелился и последовал выстрел.

Приведем еще одно свидетельство, оно принадлежит уже знакомому нам Дикову: «За несколько минут до назначенного срока приехал Л. с секундantom князем В.». Лермонтов «своими двусмысленными и дерзкими словами» вновь взбесил Мартынова.

Попытаемся восстановить картину того, что произошло у подножия Машука. Около шести часов пополудни дуэлянты, секунданты и «зрители» оказались в районе, который сейчас называется Перкальская скала, примерно в километре от места, где теперь стоит памятник у так называемого «места дуэли Лермонтова». Секунданты установили барьер — 15 шагов, раздали заряженные пистолеты. Условия дуэли были следующие: стрелять могли до трех раз, стоя на месте или подходя к барьеру. Осечки считались за выстрел. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего к барьеру. Стрелять могли на счет «два-три». Однако все произошло несколько иначе.

По команде «сходитесь» дуэлянты одновременно подошли к барьеру. Начался отсчет: «Один, два... три». Тишина. Нервы у всех на пределе, напряжение возрастает, и тут Трубецкой (по другой версии — Столыпин) произносит фразу, положившую конец замешательству: «Стреляйте, или я развожу дуэль!» Ответ Лермонтова был дерзок: «Я в этого дурака стрелять не буду!» Фраза, слетевшая с уст поэта, взбесила Мартынова. Он уже не контролировал себя. «Я вспылел. Ни секундантами, ни дуэлью не шутят... и спустил курок». Лермонтов упал как подкошенный. Мартынов подбежал со словами: «Миша, прости!» Страх, потрясение овладели всеми, никто не был готов к такому повороту дела.

А. Арнольди вспоминал: «А. Столыпин, как я тогда же слышал, сказал Мартынову по-французски: «Уходите, ваше дело сделано», когда тот после выстрела кинулся к распростертому Лермонтову... Только шуточная дуэль могла заставить всю эту молодежь не подумать о медике и экипаже на всякий случай, что сделал Глебов уже после дуэли, поскакав в город за тем и другим, причем при теле покойного оставались Трубецкой и Столыпин. Не присутствие ли этого общества, собравшегося посмеяться над Мартыновым, о чем он мог узнать стороной,

заставило его мужаться и крепиться и навести дуло пистолета на Лермонтова?!»

Легенда о выстреле Лермонтова в воздух появилась давно, но это всего лишь легенда. Поэт не успел сделать ни одного выстрела. Вот свидетельство Васильчикова: «Поручик Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела; из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух». Заявление Мартынова: «Хотя и было положено между нами считать осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было».

История о поднятой руке Лермонтова впервые появилась у П. А. Висковатого, которому документы следствия были неизвестны; это утверждение первого биографа следует считать его собственным домыслом.

Вот так описывал Васильчиков то, что произошло потом: «Хотя признаки жизни уже, видимо, исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка по случаю плохой погоды (шел проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого. Когда я возвратился, Лермонтов, уже мертвый, лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли.

48 Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу. Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом. Как теперь, помню страшный эпизод этого рокового вечера; наше сидение в поле при трупе Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извозчики, следуя примеру храбрости гг. докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекратился... Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и, чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять; от этого движения, как обыкновенно случается, спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезненный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив.

Наконец, часов в одиннадцать ночи, явились товарищи с извозчиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его вместе до общей нашей квартиры».

В 1889 г. Э. А. Шан-Гирей опубликовала в «Русском Архиве» небольшую заметку, в которой, со слов Глебова, рассказала о том, какие мучительные часы провел Глебов, «оставшись один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на коленях. Темно, кони привязанные ржут, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром непрерывно; необъяснимо страшно стало! Глебов хотел осторожно спустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно

зевнул. Глебов остался недвижим и так пробыл, пока не приехали дрожки, на которых и перевезли бедного Лермонтова на квартиру».

В сообщении Э. Шан-Гирей С. И. Недумов внес небольшие коррективы: «В действительности, Глебову не удалось дожидаться дрожек и пришлось за ними ехать самому. Это видно из показаний слуги Мартынова Ильи Козлова, подтвержденных и слугой Лермонтова Иваном Вертюковым». «Действительно, — показывал Илья Козлов, — было мною привезено тело убитого поручика Лермонтова с помощью кучера Ивана (Вертюкова) в 10 или же в 11 часу ночи по приказанию приехавшего оттоль корнета Глебова». Этим показанием, таким образом, опровергается участие в перевозке тела убитого поэта пятигорскими извозчиками Кузьмой и Иваном Чухнинными, о которых пишет П. А. Висковатый.

Как будет видно из приводимого ниже сообщения Ильяшенкова в Пятигорский земский суд, о дуэли первым заявил не Мартынов, а Глебов. Не было среди приехавших за телом Лермонтова и полковника Зельмица, который в то время находился у Верзилиных. Дождь, о котором пишут авторы, прошел перед дуэлью и «страшных горных потоков» уже не было, иначе как можно объяснить слова акта осмотра места поединка, составленного на следующий после дуэли день, 16 июля: «На месте, где Лермонтов упал и лежал мертвый, приметна кровь, из него истекшая». Ливень непременно смыл бы все следы крови.

«Мальчишки, мальчишки, что вы со мною сделали!» — плакался, бегая по комнате и схватившись за голову, добряк Ильяшенков, когда ему сообщили о катастрофе, — писал П. А. Висковатый. — Комендант растерялся и, не зная еще, кто убит или ранен, приказал, что, как только привезут Лермонтова, немедленно поместить на гауптвахту».

Тем временем тело Лермонтова доставили в Пятигорск. «Смоченный кровью и омытый дождем труп был привезен на квартиру и положен на диван в столовую, где еще недавно у открытого окна по утрам работал поэт, слагая или исправляя свои чудные песни. Глебов раньше, потом Васильчиков были арестованы и под конвоем проведены к месту заключения. Было за полночь, когда прибыла, наконец, давно ненужная медицинская помощь».

Весть о дуэли быстро распространялась по городу. П. А. Гвоздев рассказывал А. И. Меринскому, что в тот вечер, «услышав о происшествии и не зная наверное, что случилось, в смутном ожидании отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все, там находившиеся, были в большом смущении».

А. Чарыков вспоминал: «...я тотчас же отправился разыскивать его квартиру, которой не знал. Последняя встреча помогла в этом; я пошел по той же улице, и вот на самой окраине города, как бы в пустыне, передо мною в моей памяти вырастает домик, или, вернее, убогая хижина. Вхожу в сени, налево дверь затворенная, а направо, в открытую дверь, увидел труп поэта, покры-

тый простыней, на столе; под ним медный таз, на дне его алала кровь, которая несколько часов еще сочилась из груди его. Но вот что меня поразило тогда: я ожидал тут встретить толпу поклонников погибшего поэта и, к величайшему удивлению моему, не застал ни одной души».

Вечером арестовали Мартынова. На следующий день — Васильчикова, и в тот же день началось следствие.

Утром 16 июля 1841 г. комендант Пятигорска полковник В. И. Ильяшенков сообщил в Пятигорский земский суд: «Лейб-гвардии Конного полка корнет Глебов вчерашнего числа к вечеру пришел ко мне на квартиру, объявил, что в 6 ч. веч. у подножья горы Машук была дуэль между отставным майором Мартыновым и Тенгинского пехотного полка поручиком Лермонтовым, на коей последний был убит». Вслед за этим комендант подготовил рапорт на имя П. X. Граббе: «Вашему превосходительству имею честь донести, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней Кавказскими минеральными водами уволенный от службы Гребенского Казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермантов сего месяца 15-го числа, в четырех верстах от города, у подошвы горы Машухи имели дуэль, на коей Мартынов ранил Лермантова из пистолета в бок навывлет, от какой раны Лермантов помер на месте. Секундантом у обоих был находящийся здесь для излечения раны лейб-гвардии Конного полка корнет Глебов. Майор Мартынов и корнет Глебов арестованы, и о происшествии сем производится законное расследование и донесено государю императору за № 1356». В окончательном варианте рапорта вторым секундантом указан кн. Васильчиков, что подтверждается рассказом Васильчикова Висковатому о том, что друзья не могли сразу решить, кого, кроме Глебова, показать вторым секундантом. Не было также решено и кто на чьей стороне выступал.

«Собственно, секундантами были: Стольшин, Глебов, Трубецкой и я, — рассказывал Васильчиков. — На следствии же показали: Глебов себя — секундантом Мартынова, я — Лермонтова. Других мы скрыли, Трубецкой приехал в Пятигорск без отпуска и мог поплатиться серьезно. Стольшин уже раз был замешан в дуэли Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее».

16 июля утром тело Лермонтова обмыли. «Окостенелым членам трудно было дать обычное для мертвеца положение; сведенных рук не удалось расправить, и они были накрыты простыней. Веки все открывались, и глаза, полные дум, смотрели чуждыми земного мира».

С утра и дом, и двор, где жил Лермонтов, были полны народа. Многие плакали. «А грузин, что Лермонтову служил, — вспоминал впоследствии Н. П. Раевский, — так убивался, так причитал, что его и с места сдвинуть нельзя было. Это я к тому говорю, что если бы у Михаила Юрьевича характер, как многие думают, в самом деле был заносчивый и неприятный, так прислуга бы не могла так к нему привязаться».

Декабрист Н. И. Лорер 16 июля еще ничего не знал о трагиче-

ской гибели поэта. Он встретил утром своего товарища по сибирской ссылке А. И. Вегелина, который сообщил: «Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?» «Мы оба с Вегелиным, — пишет Лорер, — пошли к квартире покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойного, а живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы, знакомые и незнакомые, и весь любопытный люд стали тесниться в небольшой комнатке, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами».

3 августа, находясь в Кисловодске, Траскин отправил Граббе письмо, в котором сообщал: «Расследование по делу о дуэли закончено, и так как Мартынов в отставке, дело перешло в Окружной суд, и мне дадут только выписку из следствия, касающуюся Глебова, которую надо будет послать великому князю Михаилу, потому что он (Глебов. — В. З.) гвардеец. Впрочем, я думаю, что прежде, чем все это примет юридический ход, из Петербурга прибудет распоряжение, которое решит участь этих господ».

4 августа за подписью Чернышева корпусному командиру Головину в Тифлис было отправлено «высочайшее повеление о предании всех троих военному суду с тем, чтобы судное дело было окончено немедленно и представлено на конфирмацию установленным порядком». Председателем суда в Пятигорске был назначен полковник Манаенко.

Государственный секретарь Модест Корф записал в дневнике: «Молодой Васильчиков в самый день дуэли отправил нарочного с известием об ней к своему отцу, который вследствие того тотчас и приехал сюда». Многие понимали, что И. В. Васильчиков выгородит сына. Московский почт-директор А. Я. Булгаков еще 8 августа в письме к кн. П. А. Вяземскому заметил: «Князь Васильчиков был одним из секундантов; можно было предвидеть, что вину свалят на убитого, дабы облегчить наказание Мартынова и секундантов; впрочем, того уже не воскресишь, так почему же не употребить смерть Лермонтова в пользу тех?» В конце письма Булгаков приписал: «Намедни был я у Алексея Федоровича Орлова, и он дуэль мне совсем уже иначе рассказывал. Что это за напасть нашим поэтам».

Судебное заседание продолжалось с 27 по 30 сентября. Первыми допросили, без особого пристрастия, подсудимых, спросив: «Не имеют ли к оному (то есть к уже описанному следователям. — В. З.) чего-либо добавить или убавить?» И Мартынов, и секунданты ответили примерно одинаково, что дуэль проходила именно так, как описано в показаниях, и ничего добавить к уже сказанному они не имеют. В последующие дни были рассмотрены собранные материалы, свидетельские показания, была оглашена выписка, составленная на их основе.

В последний день Ильяшенков прислал довольно интересную бумагу: «Препровождаю при сем в оную Комиссию пару пистолетов, принадлежащих убитому на дуэли поручику Лермонтову, из

которых он стрелялся с отставным майором Мартыновым, а имеющиеся в оной таковые ж пистолеты, принадлежащие ротмистру Столыпину, взятые Частною управою по ошибке при описи имени Лермонтова, предлагаю возвратить ко мне для отдачи по принадлежности». Пистолеты по решению суда были заменены; 5 октября Глебов написал расписку, что обязуется доставить их Столыпину.

Об этой подмене пистолетов написано немало. Вслед за С. Латышевым и В. Мануйловым я хочу отметить, что никаких преступных целей за такой подменой не таилось: просто Столыпин хотел иметь подлинный пистолет, из которого был убит Лермонтов, у себя.

30 сентября был объявлен приговор: Мартынова, Глебова и Васильчикова предлагалось лишить чинов и прав состояния с оговоркой, которая по тем временам была обязательной: «Сей приговор... в присутствии сей Комиссии подсудимым объявлен, но, не чиня по нем никакого исполнения, представить оный обще с делом на высшую конфирмацию. Вышеупомянутые подсудимые находятся все неарестованными на свободе».

При прохождении дела по высшим инстанциям к решению суда было приложено несколько мнений. Прежде всего Командующего войсками на Кавказской линии и Черномории генерал-адъютанта Граббе, предлагавшего лишить Мартынова ордена и «написать его в солдаты до выслуги без лишения дворянского достоинства». Глебова и Васильчикова «выдержать еще некоторое время в крепости с записанием сего штрафа в формулярные их списки».

20 ноября в Пятигорск из столицы пришло предписание, под которым стояла подпись Чернышева. Там содержалось изложение высочайшего повеления, что если суд уже закончился и документы отправлены на высочайшую конфирмацию, «дозволить отправиться: князю Васильчикову и Глебову в С.-Петербург, а майору Мартынову по выбору места жительства, обязав их всех троих подпискою не выезжать из сих мест до окончательной конфирмации военно-судного об них дела».

23 ноября из Тифлиса дело было наконец отправлено в Петербург на имя военного министра; оно содержало еще и мнение командира Отдельного Кавказского Корпуса генерала Головина. В Петербург, вслед за бумагами, выехали Васильчиков и Глебов. Мартынов избрал местом жительства Одессу.

Николаю I «Извлечение из военно-судного дела» было подано 3 января 1842 г. генерал-аудитором Ноинским. Через несколько дней на обложке дела рукой Ноинского было написано: «Высочайше повелено: майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию, титулярного же советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им тяжелой раны».

Анализируя конфирмацию Николая I, следует отметить, что царь обычно смягчал приговор по сравнению с тем, который предлагал суд. Кроме того, в данном случае он не хотел осложнять отношения с преданным ему князем И. В. Васильчиковым.

Это видно хотя бы из записи в дневнике И. А. Корфа: «Дело» получило тот конец, какого почти наверное ожидать надлежало». Молодого Васильчикова «государь всемилостивейше повелеть изволил... простить по уважению к знаменитым заслугам отца». Что касается Глебова, то он действительно перенес слишком много — тяжелая рана с трудом залечивалась. Поскольку был помилован первый секундонт, то же решение ждало и второго.

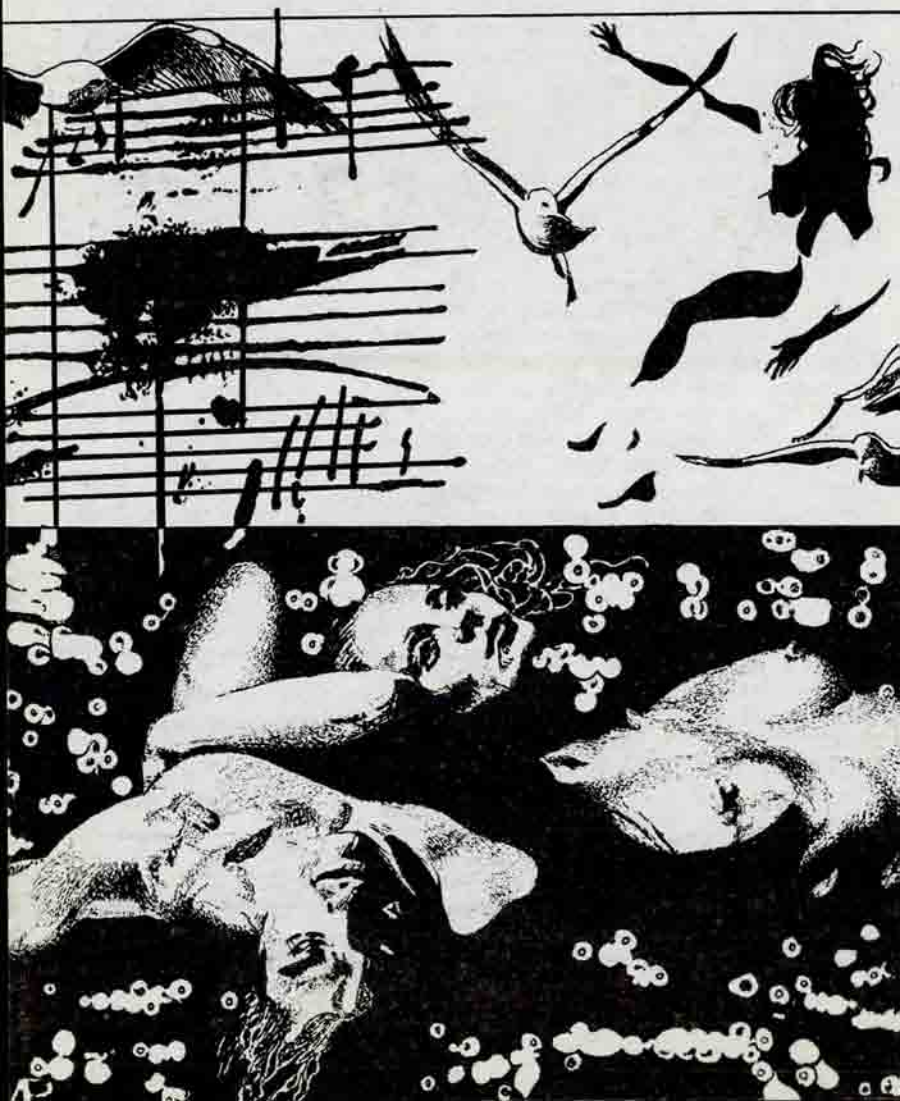
Ну и, наконец, Мартынов. Возможно, ход рассуждений Николая I был такой: Лермонтов погиб, повод к дуэли подал сам. Воскресить его невозможно. Естественно, виновен и Мартынов, виновен в убийстве, пусть и невольном, непреднамеренном, но убийстве. Наказание для него следовало определить такое, чтобы он мог постоянно размышлять над своим поступком. Таким наказанием для Мартынова стало, по решению Николая I, церковное покаяние, которое было отнюдь не легкой карой. Отбывал его Мартынов в Киеве; Духовная Консистория определила ему 15-летний срок. Но уже в августе 1842 г. Мартынов обратился в Синод с просьбой об уменьшении срока покаяния. В январе 1843 г. его просьба была удовлетворена, срок сократили до десяти лет, а киевский митрополит своей властью убавил еще два года. В том же году Мартынов выехал в Петербург, откуда затем перебрался на постоянное жительство в Москву.

В 1845 г. Мартынов вновь обратился в Киевскую Духовную Консистирию с прошением: «Освободите меня, искренне кающегося грешника, от дальнейшего прохождения епитимии, предоставив остальное время покаяния моей совести, совершенно сознающей содеянный грех». Консистерские власти переслали прошение в Петербург, и в декабре 1846 г. было принято решение об освобождении Мартынова «от дальнейшей публичной епитимии с предоставлением собственной его совести приносить чистосердечное пред Богом раскаяние в учиненном им преступлении». К этому времени Мартынов успел уже жениться на дочери киевского губернского предводителя дворянства. Мучила ли его совесть? Говорят, мучила. Рассказывают, что ежегодно в день дуэли он заказывал панихиду «по убиенному боярину Михаилу».

Из-за какой-то ничтожной ссоры мы потеряли великого поэта. Трудно себе это представить. Но что было, то было. Совершенно ясно, однако, что никакой слежки за Лермонтовым не велось, никаких тайных циркуляров относительно Лермонтова из Петербурга не присылалось. И его гибель следует отнести за счет одной из тех чистых случайностей, которых, к сожалению, в жизни бывает довольно много.

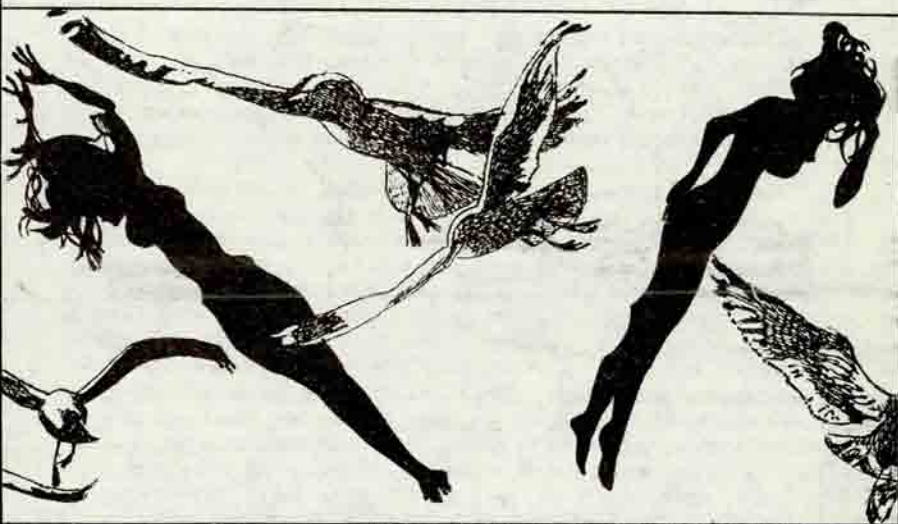
ЮРИЙ АРАКЧЕЕВ

девушка



И море

Рисунок ЛЬВА РЯБИНИНА



3

то было давно. Несколько лет назад. Нет, это было только что... Точнее, происходит сейчас.

...Так получилось, что перед новой большой работой — предстояла командировка в далекий город по серьезному судебному делу — я решил съездить на Юг, в Крым. Свободных лишь десять дней — первые да, видимо, и последние свободные дни в трудном этом году, но еще стоял сентябрь, и десять дней на море — все-таки отдых.

Поехали с сестрой, женщиной средних лет. В Крыму, во Фрунзенском, был санаторий от ведомства, где работала сестра, и она рассчитывала на компанию сослуживцев. Меня это вполне устраивало, так как освобождало от обязанности как-то сестру опекать.

Несмотря на конец сезона, жилье найти было не так-то легко, но мы все же нашли. Помогли сослуживцы сестры, жившие в санатории, — трое вполне обаятельных мужчин лет сорока. Мы с сестрой поселились в однокомнатной квартире современного дома-коробки (хозяйка ночевала на кухне), до моря было пятнадцать минут ходьбы.

Солнце еще сияло, море теплое, пляжи полны.

...В первый раз увидел ее, лежащую на гальке ничком, — коричневое, уже хорошо загорелое тело и две белые полоски купальника, руки раскинуты. Этаким крест или четырехлучевая звезда, густые каштановые волосы золотятся на солнце. Рядом были еще четыре женские, вернее, девичьи фигурки в разных позах, но она занимала центр композиции, и, увидев ее, я тотчас ощутил сердцебиение и печаль. Печаль оттого, может быть, что, во-первых, знакомства, вполне возможно, и не получится, а, во-вторых, даже если оно и получится, то ведь так мала вероятность того, что состоится нечто такое, что останется потом навсегда — пусть только в памяти. Как часто неумемное воображение подсказывает одно, а в действительности происходит совсем другое. И в конце концов мы уж и надеяться перестаем.

Опять и опять: почему я так помню все? Будто произошло только что, происходит сейчас...

Итак, коричневая с белым четырехлучевая звезда, а мы, четверо мужчин — сестра осталась на санаторном пляже, — стоим наверху, у парапета набережной. Мы в плавках, которые еще не высохли от недавнего купания, и, стараясь сохранять веселый и независимый вид, зорко смотрим вниз, просеивая расположившиеся на пляже фигуры сквозь сито своих вкусов и склонностей.

— Нерешенная проблема: встреча мужчины и женщины, — задумчиво произносит Сергей. — Все случайно, все так трудно. Оба, он и она, думают об одном и том же, но как же сложно им сблизиться по-настоящему!

Этими словами он сразу завоевывает мою симпатию.

— Боимся, — говорю я. — Боимся разочарований или отказа. Все очень просто. А потому и получаем либо разочарование, либо отказ. Торопимся, не видим, пытаемся навязать свое. Пытаемся научить природу вместо того, чтобы учиться у нее.

Но вижу, вижу композицию со звездой и добавляю:

— Все так, но, может быть, подойдем к ним? Рискнем?

— Ну, что ты, — нерешительно возражают спутники, придвигаясь вполне уже сформировавшимися животиками к парапету. — Они же совсем девчонки.

Однако интерес в глазах загорелся, и дело не в том, что девушки слишком молоды — да, впрочем, не так уж и слишком, года по двадцать два им, — но вот не получиться может, в силу, так сказать, разницы. И вообще.

Мы проходим дальше. Но, когда возвращаемся тем же путем, идем опять мимо девушек. Я все же говорю одному из своих спутников — тому, который похудошавее, поспортивнее, а потому, видимо, и смелей:

— Витя, может быть, все-таки подойдем?

И тут как раз моя четырехлучевая звезда переворачивается на спину и садится, встряхнув пышными волосами. Я вижу, что и лицо у нее привлекательное, чего, конечно, могло и не быть, и сердце мое уже бьется в смятении, и язык немеет заранее. То есть я чувствую себя как перед прыжком с вышки.

Действительно, как просто, но и как сложно все! Не только нерешенная проблема, но и одна из величайших загадок. Почему вдруг возникают столь сильные чувства при встрече двоих? Ведь сам процесс встречи, да в общем-то даже и близости, так, в сущности, прост... Величайшая, величайшая из загадок.

Познакомились мы довольно легко — благодаря Вите, который очень тактично подсел к ее подружке и разговаривал с нею, пока я, справляясь с косноязычием, наводил мосты со своею звездой, любясь ее волосами, глазами. Нельзя сказать, что лицо ее было безукоризненно правильным, что-то мне даже не понравилось в нем, но глаза... Карие глаза сияли симпатией, очарованием, и жизнь моя... Да, жизнь моя с этого момента переменялась.

О, эта печаль уходящего бытия! При всех мучениях, которые мы испытываем едва ли не ежедневно — болезни, несправедливости, неудачи, тоска, хандра, — до чего же яркие минуты бывают подарены нам и до чего же печально думать, что они неминуемо пролетят, что мы умрем, а с нашей смертью что же останется от величия тех минут? Но — повторяю! повторяю! — стоит порыться в памяти, и тотчас под лохмотьями серости яркими искрами вспыхнут воспоминания. Они не потускнели от времени, а если и потускнели, то это ведь только кажется, достаточно приглядеться к ним получше, настроить — и загорятся они негаснущим светом! От нас и лишь от нас зависит, горят они или гаснут. И в юности, и в средние годы, и в старости. Но вот что странно: неужели в конце концов мы... уйдем совсем? В полный мрак... Не верится, просто не верится.

И вот что еще волнует меня: почему, любя женщину, мы все же далеко не обязательно думаем о детях, которые появятся в результате близости нашей. Почему именно в юности, когда чувства особенно остры — ведь первая любовь помнится всю жизнь и часто определяет все наше последующее отношение к женщине! — почему именно тогда мы уж и вовсе не думаем о таких сугубо «взрослых» категориях, как семейный очаг и дети? Ведь, казалось бы, единственная задача природы — соединить нас, чтобы дать возможность появлению новой жизни.

Однако... Охваченные возвышеннейшим из чувств, мы подчас даже в воображении не представляем себе «низменного» обладания предметом своей любви, оно кажется противоестественным, и предел наших желаний — лицемерие любимой, невинное прикосновение к ней, головокружительный, но вполне еще целомудренный поцелуй. Естественное соитие мужчины и женщины кажется подчас юным душам оскорбительным, а то и просто чудовищным. Конечно, потом природа берет свое, наши желания становятся более целенаправленными, и можно было бы объяснить то, что мы в результате чувствуем, наградой природы за продолжение цепи жизни. И все-таки самая возвышенная любовь вовсе не стремится к продолжению рода. Наоборот, она витает, как правило, в облаках...

Итак, вечер. Мы идем к нам — девушка-звезда с подружкой и мы с Витей. Покупаем шампанское, и сестра садится с нами за стол, а потом мы провожаем девушек к ним домой, но перед домом, разумеется, расходимся по парам, и я со своей сажусь на скамейку в зарослях крымских вишен, и тут, конечно, начинается то, что всем так хорошо знакомо. Хотя у всех, конечно, это бывает по-разному. Для меня это каждый раз бывает, как в первый раз, и сердце, конечно, выпрыгивает, и никогда не знаешь, что будет с тобой, что будешь чувствовать и как будет продолжаться потом. Но ничего, кажется, нет в этот момент важнее, а если ты чувствуешь, что так же и для нее, то твое чувство многократно усиливается. И это первое пока еще, искорками, открытие ее души, первое ощущение тепла ее тела и нежности, и ее волнения, связанного с тобой, ощущение удивительной взаимной власти и постепенное возникновение близости более глубокой — понимания, гармонии слов и чувств, связанности, единства, о котором раньше ты мог только мечтать... Женщина, незнакомая еще так недавно, совсем чужая — другой мир, другая вселенная! — и вдруг робко отвечает на твои движения, обнимает тебя и говорит ласково — так, будто вы знакомы давно. И ты, казавшийся себе никчемным, никому не нужным, одиноким, тусклым, вдруг понимаешь, что желанен, что твое мнимое одиночество — ложь: вот же, вот же — она понимает тебя, словно бы помнит, потому что — вот неожиданное открытие! — знала всегда. Она хочет того же, чего хочешь ты, вы заодно. Ей хорошо от того, от чего тебе хорошо, а от того, что ей хорошо, тебе еще лучше, ты, значит, делаешь добро не только себе, но и ей.

На скамейку, где мы сидели, падал свет от какого-то фонаря, изредка проходили люди и могли нас увидеть. Оторвавшись от нее на минуту, я поискал другую скамью, не нашел и тогда сообразил перетащить эту в глубину зарослей — к счастью, она не была вкопана... Там мы опять сели, и через какое-то время она вдруг перестала сдерживать мои руки и сказала:

— Только чтоб без последствий, ладно?

Я даже не сразу понял. А поняв, и вовсе заволновался, даже дыхание перехватило, едва мог вымолвить:

— Да, да, конечно, ты ничего не бойся...

Я страшно волновался, а когда наконец произошло великое это

событие, состоялась близость, и я проник в горячие, нежные недра тела ее и услышал головокружительно сбивающееся дыхание, почувствовал главное — самое важное в мире! — объятие, узнал покорность, хотя и держал себя в то же самое время, сдерживался, чтобы не нарушить своего обещания, выполнить просьбу ее, — думаю я, что в небе над нами что-то в этот момент сместилось. Всегда по-настоящему свят для меня этот момент, при всем том, что понимаю: внешне он, конечно же, весьма примитивен. Но не во внешнем, не в простой физиологии суть. Так уж устроено, что в этот момент либо встречаются, либо не встречаются души, и с этого момента, собственно, начинаются — или, наоборот, так и не начинаются — отношения, хотя какими они будут, если начались, тоже никогда не можешь знать заранее. Но именно тут начинается — или не начинается — общий путь, тут и пробивает час выбора. Вот тут, наверное, вспыхивают — или не вспыхивают — те самые искры и отблески неведомой жизни. И именно здесь, если повезет, души встречаются с Богом.

Наши — встретились. Хотя и была близость недолгой и не свободной пока еще от тысяч предвзятостей.

И был впереди следующий, яркий от солнца день, когда, еще не видя ее — переночевав, разумеется, в своей комнате вместе с сестрой, — я ходил, освещенный воспоминаниями, весь в ощущении божественной связи с ней, лелеющий таинственную взаимную власть, в ожидании предстоящей встречи — в новом, совсем новом качестве. Кто бы мог подумать, что еще вчера, даже уже видя ее, эту прекрасную четырехлучевую звезду, я на такое и не рассчитывал. И вот я шел по той самой набережной, что и вчера, к тому же самому парапету и наконец увидел ее — новую, связанную со мной! — и еще раз, теперь уж по-другому, теперь с чувством гордости, власти — и собственности уже! — отметил, как хороши ее фигура и волосы. А когда спустился к ней, то — и глаза. Начинается с телесного? Или наоборот?

А потом было наше странствование по соседнему пляжу, по каменистым бухтам — с нами шел один из давешних приятелей, он, конечно, не знал, никто ведь не знал, как у нас, и так приятно было это незнание всех, но в то же время растущая наша общность, обаяние тайны, в которую посвящены только мы — внезапный взгляд, внезапный блеск глаз, улыбка, таящая в себе — что?... Как вспоминает она то, что было, что думает по этому поводу, не жалеет ли, рада ли, состоится ли подобное впереди? Что ждет нас?

И ждал нас впереди скорый дневной визит к нам — хозяйка ушла по каким-то своим делам, сестра на пляже, — и тут, уже по-настоящему, я увидел ее, при дневном свете, и восхитился очарованием божественного ее тела. Она вспоминала потом, что на нее очень хорошо подействовало то, что я восхитился, и как! И вот опять: разве красота ее тела и мое искреннее восхищение и ее радость — разве все это только телесное, только внешнее? А то, что было между нами потом — только ли близость тел?

И еще была ночь — светлая лунная ночь в Крымских горах: обжитая курортная асфальтированная дорога, и холодная скамейка, и лунный свет, делающий все голубовато-серебряным...

Нет, не «была». Не «был». Есть. Сейчас есть. Я вижу его, этот свет. И ее. Она сидит на моих голых коленях, обнаженная и прекрасная, загорелая, с голубовато-серебряной грудью, я ласкаю бархатную кожу ее, она вся во власти моих рук и губ, я вновь проникаю в горячую, нежную глубину, она стонет и прижимает меня к себе, и ясно, что для нее нет сейчас ничего важнее. Как и для меня. Хотя я опять добросовестно выполняю ее вчерашнюю просьбу, сдерживаясь, останавливая ее, оттягивая «пиковый» момент, и это не мешает мне, не отравляет восторга, я научился, вполне можно этому научиться. И возрождая все это в себе теперь, четко чувствую: если бы мы думали о ребенке, о будущем «очаге», если бы гасили в себе ощущение свободы мыслями об «ответственности», «долге», «грехе»... Не думали. И слава Богу.

Но вот в моих воспоминаниях наступает главное — тот незабываемый день, который и дал бессмертие всему воспоминанию целиком, со всеми его деталями.

И опять — вот сейчас, сию минуту, снова и снова — мы плывем на теплоходе. Холодно, дует бодрый сентябрьский ветер, мы дрожим оба, она под курткой моей, я в майке, море неприятно волнуется, оно угрюмое, темно-синее, понятно, почему называли его все-таки Черным, кое-где уже вспархивают барашки, но солнце печет, и лицо ловит эти контрасты, а в горле саднит слегка. Волнение моря и холод не нравятся нам — вот ведь как не везет! — но теплоходик лихо закладывает вираж и, покачиваясь, переводя дух, трется бортом о скрипящий деревянный причал Малореченского. Мы выходим на теплый берег, и ветра как будто бы нет уже, нас охватывает крымское тепло. Теплоходик деловито заторопился дальше, сосредоточенно тарахтя, а мы, шурясь от солнца, осматриваемся в этой новой, неведомой стране. Что ждет нас здесь?

Грязный, мало обжитой берег по сравнению с роскошью западных курортов — Мисхор, Гурзуф, Ливадия... — галька, покрытая илом, кое-где не обкатанная как следует морем, напоминающая щебенку, тина, водоросли. Но мы упорно идем и идем на восток, к Рыбачьему, как будто что-то влечет нас туда, и вот к полоске полого берега приближаются то ли известковые, то ли глинистые обрывы, и уже почти нет людей.

Большие валуны попадают на нашем пути, из воды поднимаются остроконечные камни, скалы, а меж ними открываются уютные тихие бухты. Вот чего я особенно не могу забыть — чайки! Внезапно мы встречаем целую колонию их за грядой камней, и моя спутница, идущая впереди, застывает, как мне кажется, в детском восторге. Осторожно я приближаюсь к ней, заглядываю в глаза и вижу в них не восторг. Печаль! Ту самую, сладкую печаль уходящего бытия, что делает нас с ней еще ближе. Кричат, суетятся чайки, мы смотрим на них — Он и Она, открывающие свою, никому не ведомую страну. На ней опять тот же самый белый купальник, она надела его по моей просьбе

специально для этой поездки, его цвет — цвет чаек, а цвет ее загорелого тела — цвет бурых морских камней.

И вновь она идет впереди меня, слегка балансируя на камнях. Я любуюсь движениями ее и ее фигурой, и в груди сжимается что-то от острого чувства родства. И потери. Неминуемой, непреходящей потери. Откуда это в нас? Почему именно оставаясь вдвоем с женщиной на необитаемом пространстве, мы совершенно расстаемся с чувством одиночества, которое так часто мучает нас в людной компании или в толпе? Именно вот так — вдвоем, и больше никого! — самое насыщенное, самое острое чувство общения и полноты.

Начинаются красивые бухты, закрытые со всех сторон, кроме моря, с тихой синей водой, в которой колышутся изумрудные водоросли. Но, увы, в одной, в другой мы видим людей, они прочно обосновались, расстелили подстилки и уже что-то едят, и ни в чем не повинные, они вторгаются в наш очарованный мир, напоминая об одиночестве. Но мы упорно идем и идем, хотя видим уже, что скоро и бухты кончатся, на пути — непроходимая скалистая стена, круто уходящая в море.

Вот она, наконец, ожидающая нас бухта.

В конце берега. Перед самой стеной. Последняя на пути. Наша.

И совершенно убежденные в том, что она именно наша, мы осматриваемся, выбираем камень, где положить одежду и сесть, располагаемся спокойно и дружно. С одной стороны, высокая отвесная скала, уходящая в синее небо, с другой — тоже почти отвесный скалистый склон, а там, откуда мы пришли, — обломки скал, упавшие в воду и закрывающие теперь бухту от посторонних глаз. Перед нами же — солнце, небо и море. Ветра почти нет в нашей бухте, водоросли едва шевелятся в аквамариновой глубине, и вода тихо плещет, лижет нагретые солнцем камни.

И чем прекраснее вокруг, тем дороже мне она, моя спутница, именно благодаря ей все вокруг пронизано удивительной теплотой, истинное божество в этом храме — она.

Да, она — сгусток солнечного тепла и света и прелести моря, слов не нужно, потому что любое наше слово сейчас будет ложью, и дыхание наше — это дыхание моря, тепло наших тел, тепло солнца, и то, что мы делаем вскоре, удивительно уместно сейчас, ритмичный плеск волн — это ритм Вселенной, космический ритм сущего и ритм нашей жизни тоже. Только сердца, опережая этот неснешный ритм, трепещут, парят, как чайки, охваченные и радостью, и непонятной тревогой, и все той же, все той же сладкой печалью. Но нет... нет... не может быть... чтобы это... чтобы это прошло бесследно... чтобы с исчезновением тел... растворением их в этом море... камнях и ветре... чтобы ушло навсегда то, что чувствуем мы... этот невыразимый свет и радость... настолько ярко, сильно... что не может... не может исчезнуть бесследно... не может... не может... Но вот, словно вспышка, яркая, ослепительная вспышка солнца, и мы, невесомые, куда-то летим. Оба.

Камень, на котором мы расположились, весь открыт солнцу, он шершавый и теплый, как спина мирно дремлющего, доброго

к нам чудовища, и бегут, бегут навстречу и чуть наискось в бескрайнем просторе волны, и дует ветер, и кажется нам теперь, что камень плывет.

Я знаю, что она уже несколько лет женщина, я у нее не первый и не второй, но по-настоящему женщиной она стала здесь, на этом камне. И было у нее это здесь впервые — ощущение полета.

— Вот же как странно! — повторяла она потом. — Надо было оказаться в Крыму, с тобой познакомиться, приехать сюда, в эту бухту, чтобы здесь, на этом камне... Знаешь, я, кажется, с первого взгляда почувствовала, что так будет. Тогда, на пляже... Не могу объяснить, что-то подсознательное. Это что, гипноз, да?

И я, помню, был счастлив особенно именно этим открытием для нее, не своим, а ее ощущением полета. Все как-то было неотделимо от бухты, и моря, и ветра, довольно прохладного, и палящего все еще сентябрьского солнца. И при всем при этом я, конечно, выполнил данное ей еще позавчера обещание. Научился.

«По небу полуночи ангел летел

И тихую песню он пел...»

— вспомнилось одно из любимых лермонтовских стихотворений, когда мы лежали на этом самом камне и смотрели на солнце и море, и я прочитал ей это стихотворение вслух.

«И звук этой песни в душе молодой

Остался. Без слов, но живой...»

62
Потом пробрались сквозь грот — неожиданную щель в скале — и спустились в новую бухту. Незнакомый встречный парень в джинсах почему-то не отрываясь смотрел на нас, даже когда мы уже далеко от него отошли, а она осторожно ступала впереди меня в моей полосатой майке, похожей на морскую тельняшку, и короткая эта майка не скрывала удивительно пропорциональной ее фигуры, и сердце мое опять сжималось. Затем одолели крутой перевал и оказались еще в одной бухте, не менее прекрасной, а внизу был естественный маленький красивый бассейн с зеленоватой прозрачной водой и плоским каменным дном. Еще один перевал — и распахнулся бесконечный, широкий и малолюдный пляж Рыбачьего, рядом — кемпинг: палатки, автомобили. Мы зашли в кафе под тентом, где играла тихая музыка, купили виноград на местном маленьком рынке, взяли сухой и теплый деревянный лежак, тесно устроились на нем вдвоем и ели виноград, глядя в небо, и люди смотрели на нас, главным образом, конечно, на нее, потому что она, кажется, так и лучилась от счастья.

И так мы лежали, а Земля летела и поворачивалась, и солнце уже снижалось над горизонтом, желтея, и небо синело, а она стала в лучах закатного солнца сначала совсем золотой, а потом темно-бронзовой, словно туземка. И так же тепел, почти горяч был живой бархат кожи.

Потом мы поднялись, поставили на место лежак и поехали домой на автобусе.

И было у нас еще два дня и две ночи, а потом она уехала в далекий свой город, а мы с сестрой ненадолго остались.

Да, это произошло перед тем, как на несколько лет погрузиться мне в суровую, трудную работу над повестью о чужих мне людях, с которыми происходило то, что может произойти с каждым из нас («от тюрьмы и от сумы не зарекайся») — работу, продолжающуюся, по сути, и сейчас, нелегкую и мучительную, но необходимую. И хорошо, что с нею, этой моей звездной девушкой, мы не злоупотребляли серьезными разговорами, хотя кое-что о себе она мне все-таки рассказала. У нее свое, у меня свое — у каждого из нас хватает всякого! — но, к счастью, мы быстро поняли, что лучше жить сейчас не прошлым и будущим, а настоящим, потому что именно в том, что происходило с нами тогда (и происходит, происходит сейчас!), может быть, и заключен тот неуловимый таинственный смысл жизни, над которым ломало голову столько живших на этой планете, прекрасной, однако же полной страданий...

И вот что еще удивительно. Картина эта — живущая в моей памяти нетленно — никак не смешивается с другими, подобными ей картинами. Не в ущерб другим, тоже прекрасным, живет она, вот что интересно! И трагедии ушедшего нет — тоже ведь чудеса! В пленительной, конкретной этой картине — она, только она, именно эта девушка — алмазная чистота. Да, да, никак не блекнет она от того, что в моей ли, в ее ли жизни есть и могут еще быть, конечно, другие картины. Она законченна, она есть, она нетленна. Как и подобные ей другие. Больше того. Другие, как ни странно, только обогащают эту и где-то там, в далекой дали, сливаются...

Наша встреча не дала того, что она, очевидно, должна была дать по замыслу природы — третьей жизни, рожденной близостью наших тел. До самого конца я выполнял ее просьбу. Но тогда... Тогда почему же мы чувствовали так много, сильно? За что получили щедрую такую награду? Вот какая мысль постоянно смущает меня, заставляет мой ум изумляться. Почему и за что столь яркий, до сих пор длящийся праздник? Замысел природы... В чем же он?

А вдруг... А вдруг то, что мы чувствовали оба — и чувствуют, чувствуют многие счастливыцы, — и есть как раз «звук этой песни», которую пел ангел? Вернее, отзвук ее...

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ИВАНА

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

(фрагменты книги)

Три года назад наш журнал опубликовал книгу выдающегося русского мыслителя Александра Зиновьева «Иди на Голгофу» («Смена» №№ 1—3, 1991 г.), Главный герой ее, Иван Лаптев, решает изобрести свое религиозное учение, благодаря которому человек смог бы жить достойным образом в обществе, вызывающем у него отвращение.

«Люблю и одновременно ненавижу, уважаю и одновременно презираю, восторгаюсь и одновременно ужасаюсь, — горек взгляд философа на «гомо советикуса». — Я сам есть гомосос, поэтому я жесток и беспощаден в его описании».

«Евангелие для Ивана» сам автор рассматривает как неотъемлемую часть «Иди на Голгофу». И потому естественно, что фрагменты «Евангелия...» (к сожалению, журнальный объем не позволяет опубликовать книгу целиком) печатает «Смена».

ПРОЛОГ

Настало время мне признаться
Без маскировки и обмана:
Из всех племен, народов, наций
Предпочитаю я Ивана.
Чтоб оценить его значенье,
Без выкрутасов и натуги
Мое иванское ученье
Вам излагаю на досуге.
Не поленись, собрат Иван,
Прочти сей опус мой охальный.
И ты поймешь: хоть ты — болван,
Но не простой, а эпохальный.

СТАРОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Уж было за полночь давно.
И, словно оборотни,
Мы пили дрянное вино
Из горла в подворотне.
Остановить не в силах дрожь,
Полусогнув колени,
Крыл мой напарник молодежь,
Все наше поколенья.
Ему сказал я: «Отвяжись!
Довольно ныть, папаша.
Сегодняшняя наша жизнь
Ничуть не лучше вашей.
С тобой не буду спорить зря.
Вам здорово попало,
Но шли вы хоть и в лагерь,
Но с верой в идеалы.
Ведь был почи! Энтузиазм!
Полеты! Пуски! Стройки!
А от романтики оргазм
Не хуже, чем с попойки».
А он: «Ты молод нас учить!
Мы даже в песне детской
Не просто пели «славно жить»,
Но «жить в стране советской».
И мы видали не людей,
А коллективы, массы,
Колонны, партию, вождей,
Передовые классы...
Довольно раны бередить!
Скажу тебе, как брату,
За это нам пришлось платить
Большую слишком плату.
Но мы мечтали: вот придут
Другие поколенья.
Нам по заслугам воздадут
И сменят представленья.
Отважно бросят в морду Им:

Прочь ваши причиндалы!
Мы для себя пожить хотим,
А не для идеала!»

.....
Уже рассвет серел в проем.
А мы, как оборотни,
Обнявшись, плакали вдвоем
Все в той же подворотне.

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Собравшись, они говорят без умолку:
«Все наши усилия гибнут без толку!
На Западе пишут... Слыхали? Еще бы!
А мы, как и прежде, ютимся в трущобах!
И пьем мы отраву! И жрем все одно.
И носим, что там устарело давно!»
Я молча гляжу на беседу-попойку.
Ах, если б, ребята, нам вашу помойку!
А в вашем тряпье мы б как щеголи были,
А в ваших трущобах мы б горе забыли.
Мы книжки бы ваши до дыр зачитали,
О девочках ваших в слезах бы мечтали.
Но вслух говорю, как мечталось когда-то:
«Ворчите, сердитесь, ругайтесь, ребята!
И будьте, ребята, во всем недовольны.
И плюньте, что нам и обидно, и больно.
Да здравствует треп, и да будет попойка,
Чтоб раем опять не приснилась помойка!»

На тухлой соломе в дырявом сарае
Мы бредили сказкой о будущем рае.
На мягкой тахте, на блестящем паркете
Понесят они бредни — выдумки эти.
Мы с голоду пухли, мы харкали кровью.
Они ж голодают во имя здоровья.
Мы в мерзлую землю вползали, как в склепы.
Они усмеваются: жертвы нелепы!
Мы ждали, покрывшись от ужаса потом.
Теперь это кажется им анекдотом.
Мы знали, но только зубами скрипели,
Они ж эти темы в романсах воспели.
И все ж говорю я, как думал когда-то:
«Насмешки своей не таите, ребята!
И будьте, ребята, во всем недовольны.
И плюньте, что нам из-за этого больно.
Пусть будет ваш треп на тахте и паркете!
Чтоб вновь не случилися мерзости эти!»

Бесконечная та болтовня надоела.
Все слова да слова, и ни капельки дела.
Бред пророков слова. Ложь — сужденья науки.
Что ни шаг, то пустяк.

Сдохнуть можно от скуки.
Не меняется мир, как хотелось бы, разом
Ни призывом борцов, ни начальства указом.
Все же я вам скажу, как случалось когда-то:
«Страдайте, тоскуйте, скучайте, ребята.
В этом мире ничто не проходит напрасно.
Если души в смятении, это прекрасно.
Даже тайные мысли, ребята, цените.
Мир скрепляют сознания вашего нити».

ПРЕДПОЧТЕНИЕ

После жуткого запоя я один бреду.
Мне волшебная картина грезится в бреду.
В вышине необозримой райские сады.
Херувимов, серафимов и святых ряды.
Они движутся беззвучно и как будто спят,
Переполненные счастьем от ушей до пят.
Им неведома изжога, рвота и понос.
Им неведома измена, подлость и донос.
Им неведома любимых холодность очей.
Им неведома тревога без надежд ночей.
— Не завидуй, — слышу голос, —
потерпи чуть-чуть.

Сам отправишься за нами
в долгий райский путь.

Я шепчу: «Спасибо, Боже, я, конечно, рад.
Но пошли, ежели можешь, меня лучше в ад».
— Вот чудак, — смеется голос, —

ты и так в аду.

Лучше ада, чем Россия, где тебе найду?!
Я в ответ: «Тогда не надо мне иных наград.
Пусть останется со мною мой российский ад».

МОЕ УЧЕНИЕ

С пеленок помня ленинскую установку,
Я описал сперва
конкретно-историческую обстановку.
Теперь я изложу основы моего ученья
Не в назидание тебе,

а лишь для развлечения.
Не мне тебя, Иван, учить,
Когда, и с кем, и сколько пить,
Что есть, с кем спать, когда ругаться матом,
Как быть с истматом, диаматом,
Как чтить традиции народа,
Что делать в прочих случаях того же рода.
Но все-таки, я думаю, пора все эти темы
Поднять на уровень теоретической системы.

НОВОРОЖДЕННОМУ

Входи, родившийся, в прекрасный мир земной.
Включайся скорей в людское наше братство.

Входи! И в путь спеши за мной
Познать земное щедрое богатство.
Испив до дна цветов земли нектар,
Поймешь, что горек он, хотя казался сладок.
И станешь ты вдруг безнадежно стар.
Лицо покроет сеть глубоких складок.
Увидишь, что назад дороги нет.
Зачем была, ты спросишь, жизнь-морока?
Ты станешь мудр. Ты сам найдешь ответ:
Для никому не нужного урока.

ОБЩАЯ МОЛИТВА

Дай мне чистой любви изведать.
И избавь от измен и мести.
Дай мне друга, с которым беды
Мы любые осилим вместе.
Разреш не кривить душою...
Зло не прятать за доброй миной.
Перед всякой чиновной вшаю
Не сгибаться, а быть мужчиной.
И еще попрошу в заключение:
Разреш мне немножечко дерзости,
Чтоб в крестине не видел я гения
И не видел величия в мерзости.

О БОГИНЕ

Смысл потеряли прежние слова.
Исчезло ими названное чувство.
Ему на смену наша голова
Изобрела «постельное» искусство.
А я, как в прошлые века,
Хотел бы ей сказать такое:
Я полечу за облака,
Я опущусь на дно морское,
Я ради одного лишь взгляда
Готов хоть сотню лет страдать,
Мне будет высшая награда
Жизнь за тебя свою отдать.

РАДОСТЬ ЖЕНЩИНЕ

Мне безразлично, кто есть ты
И почему тут появилась —
От безнадежной пустоты
Или нечаянно влюбилась.
Пусть черствы руки от кастрюль,
Пусть на одежду денег мало,
Пусть не из таких красуль,
Что смотрят модные журналы.
Пусть тут убого и темно,
Твое мне зримо совершенство.
Одно лишь то, что ты со мной,
Есть величайшее блаженство.

О СОБЕСЕДНИКЕ

Есть вещь важнее одежды, секса,
вкусного обеда.
Вещь эта — русская душевная беседа.
И потому, когда назреет острая нужда
Прочь сбросить тяжких мыслей бремя,
Будь добр, мне собеседника уж дай
Терять ~~пустую~~ ничего не стоящее время.

О ДЕНЬГАХ, ВРЕМЕНИ И ВЛАСТИ

Аксиома привилась
Словно наваждение:
Время — деньги,
Деньги — власть,
Власть же — наслаждение.
Время взять, так я есть Крез
Время-про-возждения.
Но без денег я. И без
Власти наслаждения.
Но зато не надо класть
Деньги в банк. И времени
Нет, что приносит власть
Водочному племени.

МОЛИТВА О ВЛАСТИ

К тебе обращаюсь, Боже, я.
Не корч из себя глухого!
Пусть сбудется все хорошее,
За исключением плохого.
Должности дай претендующим,
Удесятери зарплату,
Дай победу враждующим,
Привилегий всяких по блату.
Увесь их рожамы улицы,
Награди их всех орденами.
Пусть в телевизор красуются,
Пусть властвуют. Но... не над нами.

МОЛИТВА О НАЧАЛЬСТВЕ

Перед начальством тот покорно
Согнулся, лестью истекая.
А этот вертится проворно,
К себе внимание привлекая.
А я не вижу в этом прока.
Позволь мне следовать завету:
Пусть для начальственного ока
Меня совсем как будто нету.

МОЛИТВА О НАГРАДЕ

Не надо высших орденов.
Не надо доблести медали.

Молю, хотя б полсотни дали
На обновление штанов.

ЗАПОВЕДЬ О ТРУДНОСТЯХ

Когда нежданно получишь
Очередной судьбы удар,
Тебе, Иван, на этот случай
От Бога дан ценнейший дар.
Безмолвно проглотив обиду,
Брось на прилавок медяки,
И сам себе, а не для виду,
Скажи с усмешкой: пустяки!
И не такое, мол, бывало.
А нету сил стерпеть — схитри:
Соринка вроде в глаз попала,
Слезу с лица тайком сотри.

БУНТАРЮ

Не быть тебе, брат, кандидатом,
На партсобраниях не скучать.
По юбилейным важным датам
Наград, увы, не получать.
Насчет тепла перин из пуха
Твои мечтания вотще.
Не зреть, как собственного уха,
Домашних настоящих щей.
Не пережить такого факта,
Когда детишки подрастут.
Не слечь в больницу от инфаркта,
Ища им дырку в институт.
Хотя и слеплен ты из теста
Борцов, творцов и стукачей,
Таких на каждое свято место
Найдется сотня ловкачей.
Один дефект тебе к тому же
Засунул в гены кто-то встарь:
Хотя ты есть холуй снаружи,
Но про себя-то ты бунтарь.

МОЛИТВА ВЕРУЮЩЕГО БЕЗБОЖНИКА

Установлено циклотронами
В лабораториях и в кабинетах:
Хромосомами и электронами
Мир заполнен. Тебя в нем нету.
Коли нет, так нет. Ну и что же?
Пережиток. Поповская муть.
Только я умоляю: Боже!
Для меня ты немножечко будѣ!
Будь пусть немощным, не всесильным,
Не всеведущим, не всеблагим,
Не провидцем, в любви не обильным,
Толстокожим, на ухо тугим.

Мне-то, Господи, надо немного.
В пустяке таком не обидь.
Будь всевидящим, ради бога!
Умоляю, пожалуиста, видь!
Просто видь. Видь, и только.
Видь всегда. Видь во все глаза.
Видь, каких на свете и сколько
Дел свершается против и за.
Пусть будет дел у тебя всего-то:
Видь текущее, больше — ни-ни.
Одна пусть будет твоя забота:
Видь, что делаю я, что — Они.
Я готов пойти на уступку:
Трудно все видеть, видь что-нибудь.
Хотя бы сотую долю поступков.
Хотя бы для этого, Господи, будь!
Жить без видящих нету мочи.
Потому, надрывая грудь,
Я кричу, я воплю:
Отче!!
Не молю, а требую:
Будь!
Я шепчу,
Я хриплю:
Будь же,
Отче!
Умоляю,
Не требую:
Будь!!!

О БОЛТОВНЕ И МОЛЧАНИИ

Мир тонет в океане слов.
От болтунов нигде проходу нету.
Такого множества льющихся ослов
Еще не знала бедная планета.
И потому заткни плотнее уши.
Сам помолчи и никого не слушай.
Проверено: мир не пойдет на слом,
Если уменьшится одним болтающим ослом.

ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВЕДЬ

Уже с юности было вполне очевидно:
Промелькнут, не заметишь, года.
Было только немного-немного обидно,
Что вовеки не будет Страшного Суда.
Никогда не подымутся люди из праха.
И истлевшее тело не сыщет душа.
И не будет ни радости им и ни страха.
И не будет, короче сказать, ни шиша.
Все же жаль. Любопытно бы было когда-нибудь
На минуту-другую из мертвых восстать.
В страхе Божьем воззреть,

Как положено, на небо.
Перед Высшим Судьей персонально предстать.
И услышать во геве: «Ответь! Только честно!
А совершь, сукин сын, будешь вмиг уличен!
Что ты там натворил, Нам все это известно!»
Честно? Этому, Господи, я не учен.
Лучше сам загляни в свои книжки-гроссбухи,
Сам увидишь, что я заурядный злодей,
Не протягивал слабому помощи руки.
Признаюсь, обижал безнаказно людей.
И душою кривил, признаюсь, многократно.
Доносил добровольно и в силу причин.
Клятву верности брал, приходилось, обратно.
Зад лизал с целью выйти в желаемый чин.
Лицемерил один. Клеветал коллективно.
Подпевал демагогии высших властей.
Руку жал проходимцам, хоть было противно.
Пил с мерзавцами всяких статей и мастей.
Так что видишь, Всевышний,
Прожил я безгрешно.
Если хочешь добром или злом наградить,
Если просьбы уместны при этом, конечно,
Прикажи меня впредь никогда не будить.
Мне известно, что мертвым не больно,
Не стыдно.
И не мучает совесть их, как говорят.
Ну а главное — мертвым не слышно, не видно,
Что на свете живые с живыми творят.

ПРЕДСМЕРТНАЯ МОЛИТВА

Сейчас настанет твой конец.
И распадутся жизни звенья.
И неспособен сам Творец
Остановить времен течение.
В лицо Небесному Царю
Скажи такое многократно:
Что жизнь мне дал — благодарю,
Вдвойне — что взял ее обратно.

МОИМ БЫВШИМ СОБУТЫЛЬНИКАМ

Не ковыряю больше пальцем я в носу.
Локтей на стол не ставлю, как бывало.
Не гнусь к тарелке, пищу в рот несу.
Не выпиваю с кем, когда и как попало.
По-европейски я одет, обут.
Что я русак, не угадать снаружи.
Меня теперя хером все зовут.
Мне фон знаком. Мы даже с сэром дружим.
Как видите, тут много всяких «за».
Жить тут, на Западе, как видите прекрасно.
Но поглядели б мне внимательно в глаза,
Вам кое-что другое стало б ясно.

*Я не стону. Я терпеливо крест несу.
Я процветаю даже, рассуждая здраво.
Но хочется мне пальцем ковырять в носу,
А вилкой ковырять, держа ее рукою правой.
Меня тошнит от местной красоты.
Мне хочется хоть раз еще в Москве упиться.
От незнакомого пропойцы слышать «ты».
Дрожа от холода, в чужом дворе забыться.*

ЭПИЛОГ

*Бесконечная череда —
Поезда, самолеты, отели.
Промелькнули, прошли, пролетели
Города, города, города.
Убеждаемся скоро мы,
Что тоскливо в них так, хоть вой,
Что хватило бы нам с лихвой
Костромы, Костромы, Костромы.*

Мюнхен, 1982.

ИСТОРИЯ русской живописи



АЛЕКСАНДР БЕНУА

74

X

Брюллов умер сравнительно рано, 52 лет, но значение его и после смерти не скоро ослабело. Его убежденный помощник в деле обновления и освежения академизма — Бруни, а также последователи их обоих еще долгое время благодаря своим иногда крупным дарованиям успешно боролись против врагов, надвигавшихся на них, в лице реалистов и националистов.

Бруни по всему своему внутреннему складу не так сильно, как сразу может показаться, отличался от Брюллова, хоть и был более затронут романтическим веянием и особенно назарейцами. Бруни не отрекся во имя их учения от старого — от всего того «баловства», которое впитал в себя с молоком матери. В глубине души своей и он оставался всю жизнь тем же мнимым классиком, тем же поклонником так называемого «высокого стиля», драпировок, мускулов и мелодрамы, каким представляется Брюллов и все единомышленники его, выросшие на боготворении Лаокоона, Доминикина и Каммучини.

Даже жизнь Бруни имела нечто общее с жизнью Брюллова, но она протекла более ровно в каком-то величественном спокойствии, а не в той оргии успеха, в том шуме и гаме восторженных оваций, среди которых безвыходно находился Брюллов. Бруни был годом моложе Брюллова и также сын иностранца-художника, талантливого декоратора, через которого, вероятно, и унасле-

ИЯ

писи



К. Е. МАКОВСКИЙ.
Девочка в раздумье.

довал от своих итальянских предков изумительную легкость работы и свое редкое мастерство. Учился Бруни в той же петербургской Академии, и хоть не кончил ее с медалью, но успел проявить также недожинные способности, что сам Шебуев настоял на том, чтобы отец послал его за границу. В Риме лавры Каммучини, только что тогда изготовившего своего «Атилия Регула», не дали и ему покоя, и задолго до «Помпей» написал он свою «Камиллу», поистине мастерскую, но глубоко фальшивую, как финал какой-нибудь ложно-классической трагедии, вещь. Затронутый затем за живое грандиозным успехом Брюллова, он принял за картину также колоссальных размеров — за своего «Медного змия», который был окончен в 1840 г. и имел такой же успех в Риме, как «Помпея», но несколько меньший в Петербурге. По возвращении в Россию он, как и Брюллов, был занят Исаакием, и в потемках этого собора схоронены наиболее значительные из его религиозных композиций.

Будучи впоследствии ректором Академии, Бруни долгое время служил верным стражем ее традиций. Брюллов — вечный импровизатор, легкомысленный человек — как *академический деятель*, в сущности, не был опасен и зловреден. Он был опасен и зловреден, как художник, увлекший целый народ побрякушками своего творчества, но можно предположить, что, если бы от него зависело официальное заведывание художественными делами, то он не мог бы так душить, так гасить все живое, как то делал Бруни: в Брюллове не было для этого достаточно усидчивости, достаточно выдержки и убеждений. Напротив того —

благодаря Бруни, то, что было бессознательным перениманием в начале века, что завоевало себе всеобщие и несколько безотчетные симпатии в творчестве Брюллова, — то самое в 50—60-х годах превратилось в известную систему, чуть было не сломившую новые течения, с такими силачами во главе, как Перов и Крамской.

Талант Бруни был огромный и, пожалуй, не имел себе подобных среди однородных с ним художников не только у нас, но и на Западе. Однако чисто художественная его деятельность имела меньшее значение в современном русском искусстве, нежели деятельность Брюллова, так как Бруни был еще дальше от русской жизни. Если Брюллов всей своей беспешанной натурой, своей якобы «душой нараспашку» отлично гармонировал с нравами тогдашнего художественного общества, отлично со всеми сходился, словами и обращением очаровывал и привязывал к себе людей, то Бруни, несмотря на свою чисто итальянскую мягкость и вежливость, далеко не пользовался такой симпатией. Вечно молчаливый, сосредоточенный, насупившийся, он казался неприступным. У него была особенная манера держать себя, как будто ум его был весь поглощен лицемерием таинственного, как будто он всегда витал в горних сферах. Это выходило тем более убедительно, что вовсе не было глупой позой, но только той формой самообмана, которая чаще всего встречалась в живописи XIX века и так ясно выразилась в Виртце, Гюставе Моро и Редоне. Бруни внушал уважение, доходящее до трепета. Он необычайно «веско» исполнял свои ректорские обязанности. Зато он совсем не умел увлечь за собой толпу современников своим творчеством, не мог сделаться их идолом и не породил ни единого истинного последователя. Он помог русскому искусству пойти по академической дороге, но не сумел провести в нем на место брюллово-деларошевской формулы свою собственную, хотя и вылившуюся полностью в его произведениях.

Однако если творчество Бруни не было столь значительным для своего времени, то оно пережило скоро отцветшее творение Брюллова и теперь все еще способно вводить в обман, заставлять ложь принимать за истину, тогда как «Осада Пскова» и «Взятие Богородицы на небо» радуют, по старой памяти, лишь сильно состарившихся юношей 40-х годов, по-прежнему раздавленных величием «Карла Великого в живописи». Когда видишь прелестных, мягких и гибких ангелов Бруни, путающихся в дивных, «с большим вкусом» развешивающихся складках их облачений, когда глядишь на его, тонко от Овербека и Фейта заимствованного, Спасителя, на его апостолов, таких добрых, умных и неумолимо серьезных, то невольно вспоминаешь об очевидной, подчас чересчур наивной, поверхностности Брюллова и тогда готов воскликнуть: вот поистине религиозная живопись, вот святость, душа, проникновение и откровение.

Брюллов, несмотря на все свое сходство с болонцами, в сущности, сильно уступал им. Он был слишком засушен суровой и тупой школой Андрея Иванова и слишком опошлится затем

среди варварского в художественном отношении общества, чтоб равняться ученому Карраччи, соблазнительному Гвидо, мрачному Гверчино и умному Дзампieri. Совсем другое — Бруни, который был *достойным* наследником всех этих художников и великолепно впитал в себя их изумительное мастерство, подобно им сумел развиться до высшей точки школьного совершенства. Мало того, ему удалось придать к унаследованному от них эклектическому фонду, состоящему из заимствований у Рафаэля, Леонардо и Буанаротти (заимствований так остроумно ими претворенных в нечто более доступное для толпы, более гибкое, растяжимое и прельстительное), еще одну, новую прелесть: прелесть святости, пикантного мистицизма, чего-то и сладострастного и чистого. Брюллов груб. Если с ним еще не совсем порешили, то благодаря только отсутствию у нас в обществе и даже среди художников любовного и глубокого отношения к искусству. Бруни, напротив того, мог бы импонировать не только у нас. Подобно некоторым западным художникам, он представляется каким-то загадочным, как будто глубоким, как будто понявшим сверхчувственное и таинственное. В нем есть и аскетическая прелесть некоторых прерафаэлитов, попавшая к нему, вероятно, от назарейцев, и рядом с этим что-то обольстительное, ядовито-сладострастное, что встречается у Альбано и Франческини.

В некоторых вещах эта чувственная сторона выглянула вполне откровенно, без всякой примеси, и эти как раз вещи дают нам настоящего Бруни, помимо его воли и сознания раскрывают всю глубину языческой души его, и только эти его произведения, вероятно, навсегда сохраняют свою прелесть даже тогда, когда все его полу-корнелианские, полу-гвидовские грандиозные композиции уже никого не будут обманывать. Его вакханки, наяды и амуры действительно *прекрасны*. Его боги, если и не боги древнегреческого Олимпа, то того Олимпа, который был открыт Рафаэлем. Замечательно, что в этих картинах Бруни виден поворот не к жеманности XVII и XVIII веков, а скорее к самому Рафаэлю, и не такой поворот, который был и в Егорове, — жалкий академический плагиат, жалкие потуги угнаться за Гением красоты, — но проявление той же откровенной, здоровой и мощной чувственности, которые составляли основу личности великого урбинца.

Однако не эти картины, которых сам «мистик» Бруни, вероятно, стыдился, составили славу его, не их предлагал он в пример молодым поколениям, не в угоду им проклинал все новое и свежее, что росло вокруг него. Бруни был дитя слишком изолгавшейся эпохи, чтобы верить даже той правде, которая была в собственной душе его, а если уж он сам не верил, то никого и не мог заставить поверить, тем более что очень мало произвел таких вещей. Славу Бруни, наоборот, составило как раз то, в чем ярче всего выразился болонизм его: те, претендующие на глубину и мистику, действительно превосходно исполненные, но, в сущности, только велеречивые и риторические религиозные картины, в которых больше хитроумной подделки, нежели истинного, свободного творчества.

К. Е. МАКОВСКИЙ. Горько!.. (Свадебный пир XVII в.).





К. Е. МАКОВСКИЙ. Алексееч.

Г. И. СЕМИРАДСКИЙ. Трizza воинов Святослава.

Историческое значение Брюллова и Бруни для русского искусства заключается в том же, в чем заключается историческое значение Энгра и Делароша для Франции, первых дюссельдорфцев и отчасти назарейцев для Германии. А именно в том, что они влили новую кровь в истощенный, засохший было на классической рутине академизм и тем продолжили искусственно его существование на многие годы. Благодаря своим исключительным талантам Брюллов и Бруни окружили академизм таким ореолом, сообщили ему такой парадный, великолепный блеск, что масса художников, особенно среди начинающих, приняла эту подделку за действительно истинное и высокое искусство и попала на свою погибель в широко расставленные сети обновленной академической системы.

Но среди бесчисленных последователей Бруни и Брюллова лишь человек пять-шесть заслуживают внимания истории, так как они по крайней мере приблизились по школьному мастерству техники и по известной значительности замыслов к двум этим корифеям, большинство же русских художников, поступивших в академический стан, иногда талантливых, но сбившихся с толку, большею же частью бездарных, расчитывавших посредством одной выучки пробраться до фортуны и почестей, не представляют ровно никакого интереса.

Очень трудно, впрочем, одной какой-либо общей чертой определить сущность обновленного академизма, как системы, школы или направления. Отличие академиков XIX века и в Европе, и у нас от предшествующих — рабских поклонников античности — заключается именно в том, что в их творчестве *не было* такой общей черты, не было определенной программы, чего-либо вроде прямолинейной ложноклассической системы Лессинга и Винкельмана, которая сообщала ее представителям — Давидам и Шебуевым — известную почтенность, всегда присущую людям, в чем-либо (хотя бы вздорном) твердо убежденным. Таких прямолинейных убеждений, вроде того, что древние только совершенны и образцовы — у новой формации академических художников не было, если не считать одного отрицательно-го, что действительность не может быть предметом художественного вдохновения...

В этом отсутствии или, во всяком случае, шаткости убеждений нельзя не видеть косвенного влияния романтизма, который в начале века получил такую силу, что пропитал всю жизнь европейского и отчасти русского общества и просочился даже сквозь толстые стены академий, где породил двойственность вместо прежней простоты и цельности. Брюллов и Бруни, воспитанные в школе на исключительном поклонении тоге и Антиною, в жизни затем встретились с совсем иным — с восхвалением средневековой, «готической» старины, с увлечением красотой там, где раньше им указывали на одно уродство; они встретились с такими художественными настроениями, о которых в юности их не было и речи. Эти восхваления, увлечения и настроения были притом тогда так всеобщими и заразительными, что даже они —

несчастные крепостные русской Академии — наполовину заразились ими и эту-то заразу и перенесли затем (в достаточной мере обезвреженной) в Академию — один в виде «исторической живописи» типа Делароша, другой в виде колонизированного назарейства. Им удалось это тем легче, что старые схоласты не могли заметить в этих нововведениях ничего предосудительного, так как ничего общего с ненавистной высотой душевных порывов настоящего романтизма в обновленном, на романтический лад, творчестве Брюллова и Бруни не находили, а сознавали, что здесь было под другим соусом — овербековским или кукольниковским — то же самое, расчетливое, мелодраматическое и рядное искусство, которому «незабвенные», в классическом роде образцы дали Угрюмовы, Акимовы, Давиды и Менгсы*.

Когда Делакруа писал свои исторические картины — «Крестносцев» или «Убиение Лиежского епископа», то ему всего менее дела было до верности костюмов и обстановки, до школьной правильности рисунка и опрятной живописи. Ему нужно было выразить лишь психическую, «страстную» сторону происшествий. Правда, картины его страдают и в отношении археологической точности, и в отношении анатомии и перспективы, писаны точно в припадке — «грязно» и неистово, однако именно благодаря такому презрению к сухому педантизму и к мещанскому благообразию его вещам сообщит тот истинный трагизм, та судорожная жизненность, та глубина красок и увлекательная нервность техники, которые ставят Делакруа в живописи на ту же высоту, которую столпы романтизма Байрон, Шиллер и Гюго занимают в литературе, а Бетховен и Шуберт в музыке. Делакруа был истинным романтиком, иначе говоря, истинным художником.

Совсем иными были Энгр и Жеррар, когда они писали исторические картины, и бесконечный ряд их последователей: Деларош, Флери, Конье, бельгийцы, дюссельдорфцы, позже Кабанель, Пилоти, наконец Мункачи и Рошгросс. Они брались за иллюстрацию всевозможных исторических событий отнюдь не с той же целью, как Делакруа, но и не для воплощения канонов ложноклассической красоты, подобно их предшественникам, но попросту для изображения занимательных исторических рассказов в духе драм Делавинья и романов Александра Дюма-пэра. Они представляются типичными официальными (а следовательно, академическими) мастерами «Реставрации», «*Juste milieu*» и «Второй Империи», — но ничего, кроме сюжетов из средневековой истории, не имеют общего с романтизмом. Эти живописцы валили на свои картины целые магазины старинных платьев, уборов, мебели и утвари, точно скопированных с документов, но притом удовлетворялись в красках вялым, ступеванным или, наоборот, кричащим и пестрым колоритом, а в типах, драмати-

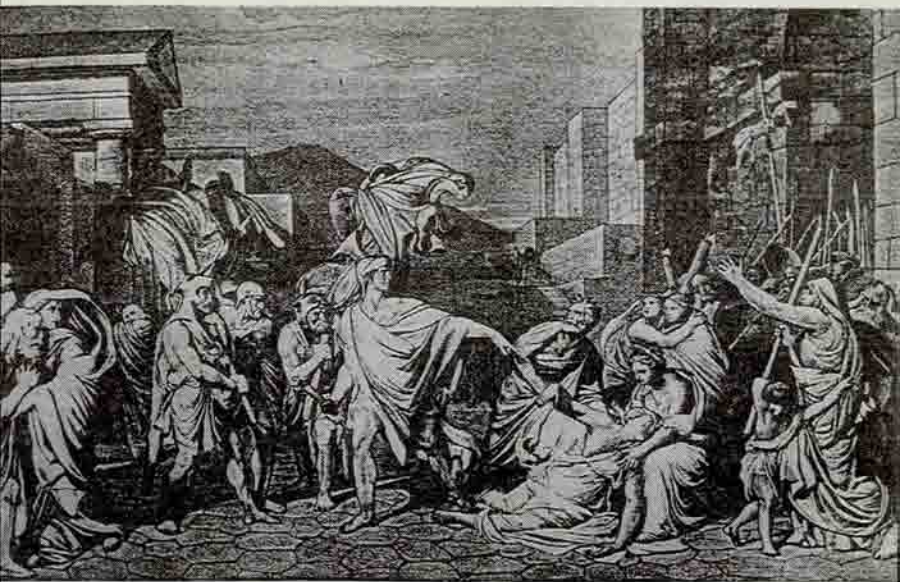
* Принято у нас считать Брюллова и всех его последователей романтиками, однако это по недоразумению. Можно вполне утверждать, что у нас в живописи вообще романтизм так и не проявился, если не считать предвестников его: Кипренского, Орловского и Воробьева, эпигона Айвазовского, о котором речь будет впереди.

зации и историческом одухотворении тем, что расставляли свои персонажи «сценично», в приличной группировке, придавали их лицам суммарное сходство с достоверными портретами и шаблонные выражения ужаса, гнева, веселья и печали. Получались иногда очень нарядные и эффектные сцены, сильно напоминающие оперные финалы с позирующими актерами, но ровно ничего отрадного и драгоценного в смысле жизни, настроения или просто живописи. Эти мастера не были романтиками, но были порождениями романтизма на академической почве.

У нас при забитом и в то же время официальном положении искусства романтизм совсем не мог проявиться, а проявилась только такая романтическая мода в академической редакции. Но если не подожмет сомнению, что многие из «исторических» художников на Западе заслуживают, как ловкие «режиссеры», и в особенности, как знатоки внешних сторон прежней жизни, большого внимания и уважения, то приходится сознаться, что найти таких же у нас среди «исторических» живописцев брюлловского типа трудно.

Не имея в своем обиходе ни феодальных замков, ни готических соборов, ни Нюрнберга, ни Тауэра, ни Рейна, ни Брокена, наши художники-историки, увлекшиеся не романтизмом (это у нас никому не было по силам), но той академической, «деларовской» переделкой романтического идеала на буржуазный лад, должны были довольствоваться плохо понимаемыми чужеземными материалами, добытыми из вторых рук, сильно уже обветшалыми и разбавленными. Поэтому у нас не могла появиться даже и та историческая «приличного и почтенного вида» живопись, которою гордились иностранные академии, а получилась лишь аляповатая, смешная копия с этого малохудожественного творчества. Даже Брюллов и все те из его непосредственных и дальнейших последователей, кто пожил по несколько лет за границей, не написали ни одной порядочной исторической картины, кроме как из античной жизни, более знакомой им по школьным традициям и гипсовым богатствам академических классов. Невозможно найти хоть одну историческую картину во всей русской живописи с сюжетом не античным, которая носила бы подобие — не говорю, жизненности и темперамента, совершенно недоступных представителям в искусстве схоластики и мещанского благонравия, но хотя бы исторической достоверности. Сам Брюллов, приученный с детства к римским драпировкам и преторианским шлемам, мог создать в своей наполовину ложно-классической давидовской «Помпее»* нечто более или менее правдоподобное и похожее на хорошо поставленную оперу, с античным сюжетом, но Брюллов, бравшийся за совершенно чуждых для него «Инес», заговорщиков, рыцарей, пажей и трубадуров, был только смехон, точь-в-точь как смешны петергофские дачи в виде готических замков или те «страшные», с включениями, романы из средневековой жизни, которые печата-

* Романтический момент в этой картине заключается только в страшном и даже торжественном падении языческих кумиров с высоты разрушающегося храма.



Ф. А. БРУНИ. Смерть Камиллы, сестры Горациев.

лись тогда и в русских журналах в подражание иностранным образцам.

Замечательнее всего то, что и русская древность для русских академически-исторических живописцев долгое время — до появления Шварца — оставалась столь чуждой, столь неизведанной или, вернее, невнимательно и недобросовестно изучаемой, что и в иллюстрациях к отечественной истории они были не менее лживы, смешны и уродливы, чем тогда, когда пробовали тягаться с учеными деларошевцами на почве европейской старины. Такая нелепица, как «Осада Пскова» Брюллова или «Петр» полуфранцуза Штейбена, как серии иллюстраций к русской истории Бруни и академического Верещагина, как «Богатыри» и «Защита Лавры» последнего, а также вся «малафеевщина» гг. Венигов, Плешановых, Седовых, Литовченко и многих других останутся навсегда превосходными примерами того, как мало могла дать Академия даже в такой доступной для школы сфере, как знания по истории своей родины.

Академизм, получивший в России могущественную «рекламу» в лице талантливых Брюллова и Бруни, жил долго и дожил до самого нашего времени: дойдя, впрочем, теперь уже до полного упадка, до лавочного производства, ежегодно выставляемого на некоторых петербургских выставках. Как на Западе долгое время спустя после блестящих, повсеместных успехов Мейербера и Доницетти, Делавинья и Скриба, Делароша и бельгийцев держался, благодаря академиям и консерваториям, пользовавшимся правительственной поддержкой, «буржуазный роман-

тизм» (в исторической опере, историческом романе и драме и в особенности в исторической живописи), так точно и в России вслед за Брюлловым и Бруни пошла масса народа, и не только среди поколения, явившегося непосредственно вслед за ними, но и среди таких, которые выступали на публичную арену 20, 30 и 40 годами позже появления «Помпей» и «Медного змия». Несколько уже раз с тех пор казалось, что академическая система рушится. Такие удары, как уничтожение казенно-коштных учеников в Академии, как появление Федотова, как расцвет реализма, выход из Академии 13-ти конкурентов, успехи передвижников, расшатывали всю академическую схоластику, указывая, что и вне ее теплиц может произрастать искусство и что это искусство даже более чистой пробы, нежели то велеречивое и громоздкое, которое изготовлялось под ее указаниями. Однако сил в академическом войске было до самого последнего времени (когда уже стареющий, но зато ставший авторитетным, «передвижнический» реализм вытеснил его из собственных укреплений) достаточно, чтоб упорно бороться и зачастую выходить из таких стычек победителем.

Уже в 50-х годах плеяда непосредственных брюлловских подражателей чрезвычайной быстро иссякла. Все убедились, что Раевы и Капковы, Петровские и Завьяловы невыносимо скучны. Но как раз в это время появилась картина Моллера, прославившегося уже раньше своим «Поцелуем», картина назарейского, но, вернее, чисто академического стиля «Св. Иоанн на Патмосе», жестокая по приторности красок вещь. Для нас теперь эта картина доказывает лишь сбитость бедного Моллера с толку и, пожалуй, еще его почтенный, но чисто лютеранский, рассудочный пиэтизм, однако в свое время она чрезвычайно понравилась своей округленной и складной композицией, величиной и многосложностью, серьезностью и «значительностью». У Моллера, судя по его портретам и по живописи его «Поцелуя», вероятно, был настоящий талант, но талант этот весь ушел на вздорные брюлловские жанры. Когда же Моллер устремился к творчеству более высокого полета, то оказалось, что это для него слишком поздно, что он уже совсем искалечен. В «Патмосе» так мало правды и искусства, что даже картины Овербека должны теперь казаться рядом с ним вполне *жизненными* произведениями*.

В 60-х годах Академия выдвинула Флавицкого, другая надежда ее, талантливый Чивилев, умер еще во время пенсионерства. Флавицкий завоевал всеобщие симпатии и даже Стасова не столько, впрочем, своими пестрыми «Мучениками» (время безумно-жестиколирующих картин прошло и сама «Помпея» в 60-х годах не вызвала бы прежнего фурора), сколько знаменитой «Княжной Таракановой», успеху которой, быть может, много способствовало и то, что эпизод был представлен происходящим в интересовавшей всех тогда Петропавловской крепости и что

* Но Моллера критиковали современники не за то вовсе, что он не мог достигнуть Овербека, а за то, что он, великий русский художник, любимый ученик Карла Павловича, вздумал погнаться за таким ничтожеством, каким представлялся у нас всем глава немецких пуристов.



В. Е. МАКОВСКИЙ. Утешитель.

изображена была жертва деспотического неправо­судия. Впрочем, в этой хорошо рисованной и очень порядочно написанной картине есть нечто действительно трогательное, несмотря на анекдотическую тему и мелодраматизм положения.

Наконец в 70-х годах Академия вдруг снова — на сей раз решительно — воскресла (и произошло это опять-таки параллельно воскрешению ее на Западе стараниями Жеромов, Пилоти и Тадем), вероятно, вследствие того, что никогда еще ей так не угрожала гибель со стороны живого искусства, как именно в те дни. Влияние отдельных личностей, как Бруни, князь Гагарин и другие, а также общественная реакция против того, о чем гражданские плакальщики твердили без умолку, породили целую фалангу новых академических художников. Понимание искусства в обществе и среди самих художников тогда еще не дозрело до того, чтобы видеть художественные пути вне служения гражданским идеям на почве реализма или вне академических канонов. Кто не хотел идти за Чернышевским — шел фатально за Брюлловым, кто был недоволен понуканием Стасова к лаптям — старался влюбиться в драпировки и гипсы, наконец, кто жаждал высокого искусства — воображал, что вне громадных полотен с историческими сюжетами оно невысказано.

В творчестве этих последних своих представителей академическое искусство сделало большие успехи в смысле техники, красок, знания правды, и даже в научном отношении. Эти художники не могли не воспользоваться тем, что творилось рядом в реалистическом и националистическом лагерях и, как настоящие болонцы, они впитали в себя все это, выработанное даже врагами, и сделали из всего этого опасное оружие в борьбе с ними. Брюлловцы 40—50—60-х годов: Моллер, Танков и Флавицкий, не далеко ушли от самого Брюллова в смысле красок, освещения, драмы и археологической стороны дела; новые брюлловцы 70-х годов: Семирадский, Поленов, К. Маковский, остроумно высмотрели все, что было сделано на Западе, вплоть до импрессионистов, и у нас — Ивановым и Шварцем, претворили это в себе в нечто более приятное и ласкающее для толпы и великолепно всем этим воспользовались (точь-в-точь как Деларош и русский Деларош — Брюллов — романтизмом и первыми открытиями реализма) для своего нарядного и лживого творчества.

Из этих трех последних и главных эпигонов Брюллова Семирадский заслуживает особенного внимания, как художник большого таланта, имевший, по чисто живописным способностям, немногих равных себе не только среди единомышленников, но и среди людей, отдавших более задушевным и искренним задачам. Семирадский бесспорно оказал значительное влияние на русское искусство, но не только вредное тем, что он еще раз оживил раздавленный было начинаниями 60-х годов академизм, но и благотворное как блеском, ясностью и богатством своих красок, так и исключительным, даже для Запада, мастерством техники.

Целиком все свое большое дарование Семирадскому, однако, удалось проявить только в пейзажах, в которых он сумел, как

никто, выразить прелесть южной природы, а также еще — в удивительно мастерской передаче разных аксессуаров: шелковых и шерстяных материй, бронзы и мрамора, перламутра и терракоты. К сожалению, Семирадский не понял круга своих способностей и создал лишь крайне ограниченное количество пейзажей, и вовсе не писал «чистых» nature-morte, но почти все время брался, не обладая и тенью исторического прозрения или стилем, а полагаясь на свою (действительно порядочную) школьную выучку, за многосложные «машины», в которых эти чудные неаполитанские пейзажи и славно написанные античные вещи заслонились толпою позирующих для живых картин а' la Макарт статистов.

Семирадский, подобно своему более знаменитому, но и более скучному собрату, Альме Тадеме, имел колоссальный успех, и это вполне понятно, так как он сумел, как и английский художник, угодить всем партиям, — каждому преподнести что-либо по вкусу, даже и ненавистникам академий. Кто не мечтал погреться в лучах южного солнца, приютиться в тени серебристых оливок, дремать в душистой траве, прислушиваясь к сонливой трескотне сицилийских акридов? Пейзажи Семирадского, теплые и светлые, беспорочно в состоянии вызвать эти впечатления до иллюзии. Его отлично написанные вазы, канделябры, барельефы, статуи, ларчики, диадемы и прочие античные предметы радовали многочисленных поклонников античности, рвущихся на богомолье в Помпею и Бурбонский музей. Наконец, своими театральными позами, всей якобы прекрасной ложью своих картин, гладкими телами и миловидными лицами он утешал засохших на ложноклассических формулах стариков. Несмотря на проблески жизни в пейзаже, красках и живописи, они сознавали, что им нечего было бояться этого брюлловца, и усматривали в нем достаточную степень зависимости от гипсовых истуканов и достаточную подчиненность «правилам» композиции.

Успех Семирадского, все первые 20 лет его деятельности почти безусловный и всеобщий, естественно должен был породить целую школу художников, шедших тем же путем, но эти эпигоны эпигона не обладали и той частичной жизненностью, которая несомненно была в их вожжаке, что, однако, вовсе не помешало некоторым из них, например Бакаловичу, иметь чуть ли не еще больший успех. К этой группе принадлежали, кроме Бакаловича, сладенький Лосев, сухой Смирнов, талантливые, но пустые, претендующие на мощь и трагизм Сведомские и, наконец, Бронников, которого правильнее считать родоначальником всего этого «античного жанра» в России, нежели выступившего уже после него Семирадского, но который в своих порядочно нарисованных и вылощенных сценках представляется гораздо менее отрадным художником, нежели автор ослепительной «Фрины» и пышных «Светочей».

Константин Маковский в русской живописи второй половины XIX века является тем художником, на которого можно указать, как на тип компромиссного мастера, как на истинного и неоспоримого наследника брюлловского академизма. Он вечно удовлетворял модным потребностям и постарался связать в одно целое

национализм, реализм, академический псевдоидеализм и попросту великосветское изящество, что, положим, ему и удалось, но ценою его крупного дарования, загубленного в погоне за этим мелким идеалом.

Начав свою художественную карьеру с того, что он написал на вторую золотую медаль вполне брёлловскую вещь — «Убийство детей Годунова», К. Маковский в следующем затем году покинул Академию в числе знаменитых 13-ти*, увлекшись всеобщим протестующим настроением и примкнув к кружку Крамского. На первых порах после этого решительного шага, пока реализм и национализм были еще в полной силе, он и работал в этом духе, и тогда создал свою «Масляницу», «Похороны» и другие бытовые сценки, часто столь же мелкие по смыслу, как и произведения его младшего брата Владимира, но отличающиеся от них в хорошую сторону, большей сочностью письма и большим пониманием красок. Однако долго выдержать в этом направлении, требовавшем постоянного изучения народной жизни и преобладающего интереса, по рецепту школы, к мрачным сторонам ее, он, случайно заразившийся от товарищей ходячими взглядами, не мог, и его вдруг повлекло с грязных улиц и вонючих задворков, от неудобного и незаманчивого прозябания бедных и простых людей, в раздушенные гостиные, к приятным и ласкающим нравам высшего общества.

Здесь он имел огромный успех, так как пришелся как нельзя более по вкусу своими изящными и польщенными портретами и в особенности тем, что так же легкомысленно, как все вокруг, умел увлекаться всеми последними фасонами моды, как в платьях, так и во взглядах на искусство. От его реалистического периода у него сохранились некоторые жизненность и знакомство с типичными явлениями в народе, некоторая бодрость краски и некоторый драматизм, и всем этим он теперь шеголял, приправляя все сладким сиропом. В результате получились вещи, имевшие колоссальный успех среди людей, для которых бомондные представления драм А. Толстого действительно изображали древнерусскую жизнь и для которых все художественные идеи сводились к чему-то розовенькому и приторному, веселенькому и занимательному, а главное — не слишком серьезному и «сучному».

Разумеется, не тем К. Маковский был брёлловцем, что брался за исторические темы — за них брался и Суриков, или за аллегорические и мифологические сюжеты — в которых так велик Бёклин, не тем, что он переходил от одного рода живописи к другому, что доказывало бы только его разносторонность, и даже не тем, что он был великосветским, розовым и приторным живописцем (Буше это не помешало быть очень большим художником), но тем, что он за все брался как настоящий академик, с полным равнодушием к главному в искусстве — к интимному, теплему, сердечному чувству, тем, что для него поза и приличный, заманчивый вид были важнее всего и что он не думал выражать себя, давать самое драгоценное в художе-

* Об этом — далее, в гл. XII и XX (прим. ред.).

ственном творчестве: убедительность своеобразных форм и взлелеянное в душе содержание. К. Маковский не сделал ничего искреннего. Его «Русалки», претендующие на чувственность и поэзию, — очень пустяшная, ничего кроме банальной пикантности и дешевой эффектности не содержащая иллюстрация. Его «Боярский пир», «Иван Грозный» и т. п. махины с русскими историческими сюжетами, несмотря на неисчислимый гардероб имеющихся на них кафтанов, охабней, шуб и сарафанов, на целые музеи кокошников, блюд, иноземных бокалов, русских братин и ковшей, ларцов и поставцов, на ковры и расписные своды, на густые бороды бояр и глаза с поволокой прелестных боярынь, — не что иное, как собрания костюмированных представителей петербургского high-life'a, сдавшихся на какую-то *lubie d'artiste* и согласившихся позировать ему среди богатых декораций. Наконец, его знаменитые портреты, в которых он так любил похвастать макартовским размахом и блеском в околичностях, — коврами и букетами, страусовыми перьями и кружевами, хотя и обладают некоторой жизненностью и блеском, все же не могут сохранить за именем Маковского его славу, так как они по своему сбитому рисунку, по своей пустоте и салонной миловидности бесконечно уступают не только произведениям истинных мастеров «бомондной» портретистики, вроде Рикара, Шаплена, Стевенса, Дусэ или Дюеза, но и таким розовым и приторным художникам, как Ф. А. Каульбах, у которого если не таланта, то по крайней мере знания и выдержки несравненно больше, нежели у нашего отечественного Карольюса-Дюрана.

К. Маковский тем не менее останется, если и не в художественном отношении, то по крайней мере в историческом, довольно интересным примером. В нем, в его «Русалках» и в некоторых портретах и головках, нашли себе отражение великосветская сторона русской жизни и великосветские вкусы 70-х и 80-х годов.

Сбитость русского общественного мнения в деле оценки художественных произведений сказалась как нельзя ярче в том, что К. Маковский долгое время был всеобщим баловнем, и громадный его успех только за самое последнее время стал слабеть. Особенно любопытным представляется искренний и шумливый восторг от него в нашей передовой прессе, провозгласившей «Боярский пир» и «Выбор невесты» первокласснейшими образцами новейшей живописи. Богатые любители оценили вполне пастилу и рахат-лукум, изготовлявшиеся специально для них К. Маковским, нарасхват разбирали его гигантские полотна и «очаровательные» головки, и записывались в очередь, чтоб позировать для портретов. Наконец, были и такие среди них, которые поручали ему, как единственно модному артисту, расписывать стены своих раззолоченных хором всевозможными аллегориями.

XII

На Западе в искусстве ничего никогда не делалось наобум, случайно и между прочим. Там художественные секты развива-

ются в строгой последовательности, в строгой цельности; там художники зачисляются в известные лагеря и полки, выход из которых уже невозможен и позорен. Причиной тому: кипучая, как бы действительно воинственная художественная жизнь, способствующая выработке строго определенных программ, способствующая такому «зачислению» для войны и битв и заставляющая художников присягать тому или другому направлению, измена которому клеймится даже теми, к которым перешли перебежчики.

У нас по временам, в самом художественном мире, правда, загорались вспышки истинного увлечения каким-либо направлением, завязывалась междоусобная борьба, возникал раскол, обладавший, как всякий раскол, несомненным свойством питать веру, двигать людей на деятельность. Таковы были: венециановский протест против академизма, затем протест 60-х годов, выразившийся в особенности в отказе 13-ти конкурентов от навязанной программы и в походе Стасова на Брюллова, и, наконец, современный протест молодой школы индивидуалистов против передвижнического направлeнства. Однако, за исключением последнего случая, в котором еще неизвестно, как пойдет борьба и чем она кончится, во всех предшествующих получается каждый раз нечто весьма грустное. А именно: или, как это было с венециановцами, все движение таяло и исчезало, вымирало в какой-то чахотке, или, как то произошло с самыми сильными из художников 60-х и 70-х годов, сами эти протестанты заражались враждебными принципами, смешивались с противниками и даже бросали, к великому соблазну прочих, знамя, которое раньше отстаивали. Последнее происходило потому, что никогда, при общей вялости и равнодушии к искусству, не были выяснены догматы художественных вероучений, никогда не разделено безусловно, что ваше и что наше, что Академия: формализм и псевдоидеализм, и наоборот: за что стоять людям, принципиально любящим правду. Это вело к тому, что как академики заражались в свою пользу соседними течениями, так точно и соседние течения многое, но уже во вред себе, перенимали от их официального академического искусства.

Менее даровитые среди тех, которые пошли в 60-х годах по «современным» путям, те, кто менее «чувствовал искусство», кто наивно и просто веровал в позитивизм и гражданское служение, те скорее еще оставались всю свою жизнь обвинителями и плакательщиками, реалистами и народниками. Наоборот, как раз те, в которых жил священный огонь, кому дорого было изведать сладость вдохновенного, а не придуманного и навязанного творчества, в конце концов бросали — или на время откладывали — памфлеты и нравоучения, но, при этом не зная при всеобщей спутанности художественных идеалов за что взяться, прямо переходили в стан академизма, благо там была хоть кое-какая программа искусства для искусства и люди говорили о красоте, хотя не понимали ее.

Это случилось с нашим главным протестантом, нашим главным поборником искусства, как общественного фактора, с нашим русским Курбэ, когда в связи в общим реакционным движе-

нием начался к концу 60-х годов ренессанс академизма. Думая, что он начинает отставать святость и высоту искусства, Перов изменил самому себе, жизни и правде, и принялся сначала писать свои пустынные, смехотворные сценки, а затем и мертвые, холодные и пустые, точь-в-точь как Брюлловский «Псков», исторические картины, или даже еще глупейшие аллегории, вроде «Весны», розового, порселянового подноса, по своей сахарности не уступающего панно К. Маковского.

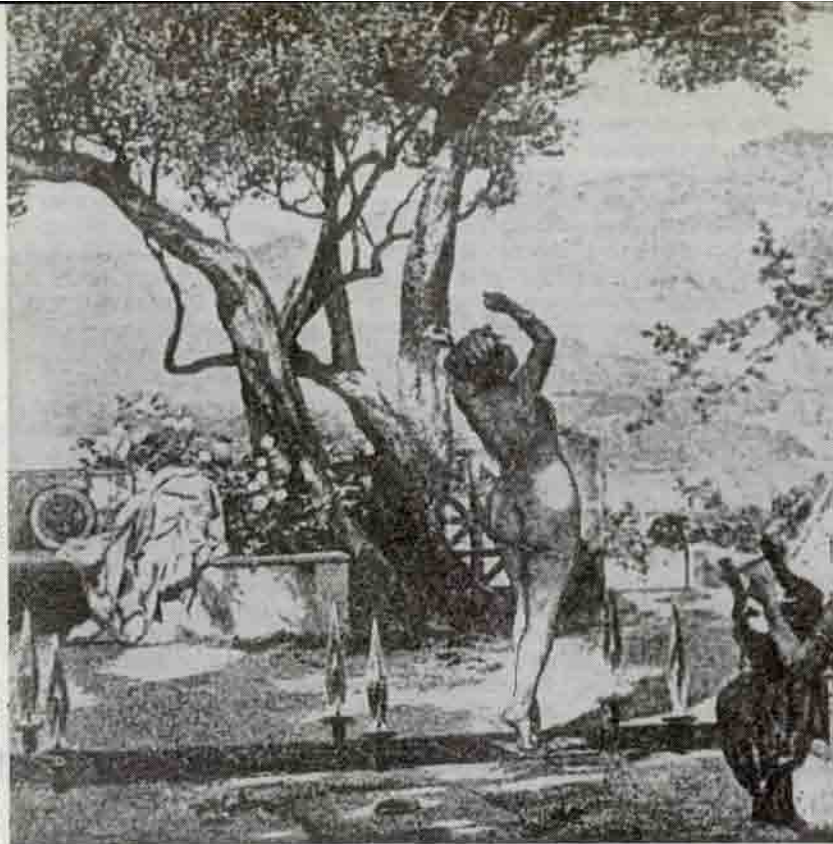
В Брюлловстве можно обвинить и другой столп нашего реализма — Репина, не только публично, на словах и в печати, признавшего Брюллова за мирового гения и склонившего перед ним свою, не преклонявшуюся когда-то даже перед Рафаэлем, голову, но и раньше того доказавшего в своих произведениях, как мало в нем было, при всей его наблюдательности и знании жизни, несмотря на всю жизненность его таланта, определенных и выработанных взглядов, как легко прельщался он деларошевскими, мейерберовскими и Брюлловскими идеалами, как наввно мог он попасться на удочку мелодрамы, постановочной пьесы или исторического анекдота. И эта его слабость, зависевшая опять-таки от всеобщего, окружающего его равнодушия и — как следствие того — от невыработанности его собственных взглядов, отпечаталась не только в таких прямо неудачных вещах, как «Св. Николай», «Дон Жуан» или «Дуэль», но и в лучших его произведениях: в «Запорожцах», так досадливо эпизодических и анекдотических, в «Иоанне Грозном», сильно напоминающем испанские «крававые» и эпатажные картины, в «Софье», точно списанной с какой-нибудь героини «обстановочного» репертуара Александрики.

В «Брюллова» впадал и Ге («Петр», «Пушкин», «Екатерина II») в ту же злосчастную эпоху всеобщего перелома, в начале 70-х годов. Тогда он все более и более стал удаляться от непонятого им идеала Иванова, но еще не примкнул к учению Толстого и совершенно терял под ногами почву, а главарю и теоретику всего реалистического, шестидесятнического направления в живописи — Крамскому, та же неустойчивость и неясность идеала помешала создать хотя бы одну сильную и решительную вещь, несмотря на то, что он был очень талантливый человек и обладал огромной энергией.

Один художник так прямо погубил все свое большое дарование и почти ничего не сделал за всю жизнь, — настолько был спутан перекрестными толками и не знал, к кому пристать, вероятно вследствие того, что никто не говорил о себе ясно и убедительно: это Чистяков.

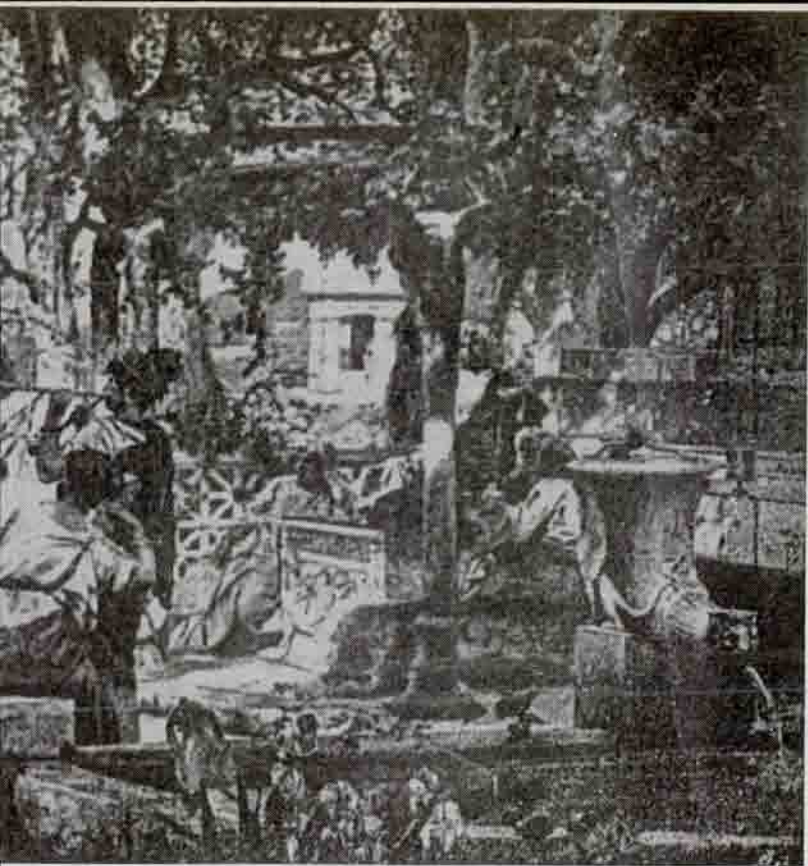
Чистяков, один из наших лучших техников живописи, единственный из русских художников, который был влюблен в рисунок и познал его тайны, подвергся, судя по его обеим академическим программам, Брюлловской отраве еще в юности и затем так и не оправился от нее. Сбитый с толку, несмотря на свой интересный и самобытный ум, он промаялся всю жизнь в каких-то полуакадемических, полуреальных замыслах и застрял над своей «Мессалиной» — огромной исторической картиной. Он не кончал и не бросал эту вещь, вероятно, по той же причине, по

Г. И. СЕМИРАДСКИЙ. Пляска среди мечей.



В. Е. МАКОВСКИЙ. В четыре руки.





П. П. ЧИСТЯКОВ. Старый боярин.



которой так долго не кончал и не бросал своей картины Иванов, а именно: вследствие отсутствия внутреннего убеждения в необходимости ее создания и застарелой привычки думать, что только такие громоздкие, сложные, с историческим содержанием композиции достойны истинного искусства.

Между тем Чистяков мог быть, как оно ни покажется странным, лучшим преемником венециановского принципа. Наталкивает на такое соображение его всем известная, страстная любовь к правде, внимательное и проникновенное отношение к жизни, так плодотворно проявившиеся в течение его долгой преподавательской деятельности. Талант Чистякова, к сожалению, слагался в те времена, когда нужно было сделать выбор между идеалами Брюллова и проповедью Чернышевского, и он, как многие другие, поклонявшиеся *in abstracto* красоте, предпочел первое только из страха, весьма основательного, перед вторым.

Еще одной жертвой академизма можно считать теперь почти забытого, но когда-то очень славившегося Якоби, начавшего очень удачно в перовском роде, однако после заграничной поездки вдруг бросившего это направление и принявшегося создавать свои мелочные и грубые иллюстрации к Лажечникову и Дюма-пэру. С каждой картиной зависимость его от брюлловской театральной напыщенности сказывалась в нем все в более чудовищном виде, как в балаганности композиции, так и в ужасном расцвечивании, как бы прямо предназначенном для ходких олеографий.

Любопытно, что Академия Искусств, отпраздновавшая с удивительным великолепием свою инаугурацию в 1764 г., наконец нашла в Якоби, спустя 100 с лишком лет, иллюстратора этого торжественного события, сулившего блестящую будущность юному еще тогда учреждению. Надо отдать справедливость, что этот художник оказался вполне на уровне того упадка, до которого Российская Знатнейших Искусств Академия дошла (и неминуемо должна была дойти) в течение первого же века своего существования, и, вероятно, в ознаменование столь печальных результатов радужная и очень скверная картина Якоби попала в музей нашего отечественного искусства, где и висит, на поучение всем потомствам и в предостережение им, на самом видном месте...

Сам Брюллов надавал немало спесивентов академического жанра, иначе говоря — таких иллюстраций жизни, которые носили на себе несомненные следы презрения к жизни. Брюллов и в этих вещах остался тем же академическим, мертвым мастером, как и в «Помпее» и в Исаакиевском соборе, проходившим с полным равнодушием мимо всего того, что должно было бы его встряхнуть, заронить в его душу восторг, раскрыть перед ним какие-нибудь тайны. В своих итальянских и восточных сценках Брюллову, по-видимому, было меньше всего дела до того, похожи ли эти сценки на ту жизнь, среди которой он жил, или вообще на жизнь. Писал он их, только соображаясь с меццанским вкусом любителей и дилетантов, с требованиями с их стороны миленького, сладенького, хорошенького рассказика. Как в «Помпее» он выставил вместо живых людей собрание восковых фигур с очень,

по-школьному красивыми, но мертвыми лицами, с очень, по-школьному, красивыми, но ложными жестами, так точно и в этих сценках он не воспроизвел ни одного живого человека, ни разу не обнаружил малейшего понимания итальянской или восточной жизни, хотя бы внешний, но искренний восторг перед природой. Он и в них повторял один лишь шаблон, пустой и бездушный, миловидный до сахарности, примешивая к нему дешевое остроумие, в сущности только остро-жеманное и даже пошловатое.

В этой области у него нашлось не меньше последователей, чем в *grand-art'e*, и эти последователи (Скотти, Деладвез, Орлов, Эпингер, Штернберг, Чернышев, впоследствии Бронников, академический Верецагин, Рицони, Реймерс и мн. др.) все были в своем роде так же похожи на великого *maestro*, как и Петровские и Раевы в своих исторических и церковных картинах на «монументального» Брюллова. И они, так же как он, игриво улыбались там, где другие были бы тронуты до слез, видели сладенькое, розовенькое, изредка и «нарядно-грустное» там, где другие, люди с темпераментом, были бы восхищены или потрясены скорбью. Разумеется, их игривое, подчас с умеренно-меланхолической позой, творчество приходилось совсем по вкусу той многочисленной толпе, которая только это и желала видеть в жизни, которая всякое искреннее слово считала за оскорбление, за отвратительную грубость. В наше время людей такого сорта еще достаточно, несмотря на дружный и долгий натиск литературы и искусства против мещанства взглядов, но тогда, в эпоху «*Juste Milieu*», их было несравненно больше и они, естественно, должны были поощрять в искусстве порождение той самой лжи, которой они были великолепнейшим цветом.

Созревание народного самосознания тем временем продолжалось и в литературе успело породить такие светила, как Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Однако в отношении к пластическому искусству, так мало значившему для русского общества, это созревание не выразилось тогда в покровительстве венециановской школе (которая, напротив того, в течение 30-х и 40-х годов окончательно поблекла и умерла), а в увлечении всяким розовым и миленьким вздором не только с обыкновенными западными сюжетами, но и с сюжетами из якобы русской простонародной действительности.

Венецианов сам подчинился этому вкусу современников, создал «Причашение умирающей», картинку, до странности для него, фальшивую и подслащенную, а Брюллов дал пример новой отечественной бытовой живописи в своей «Светлане» — гладкой, чистенько-вымытой и миловидной барышне, нарядившейся в кокошник, сарафан и бусы и усевшейся перед зеркалом как будто для гадания. После того и Моллер, создавший свой совершенно итальянский «Поцелуй», по возвращении в Россию принялся делать очень хорошеньких, но ничуть не русских «Татьян» и «Русалок». Михайлов заставил ту же брюлловскую «Светлану», в таком же сарафане, ставить с ханжеской ужимкой свечку перед образом, и даже Нефф вздумал испробовать свои силы в этой области, приподнеся, на объединение великосветских гурманов,

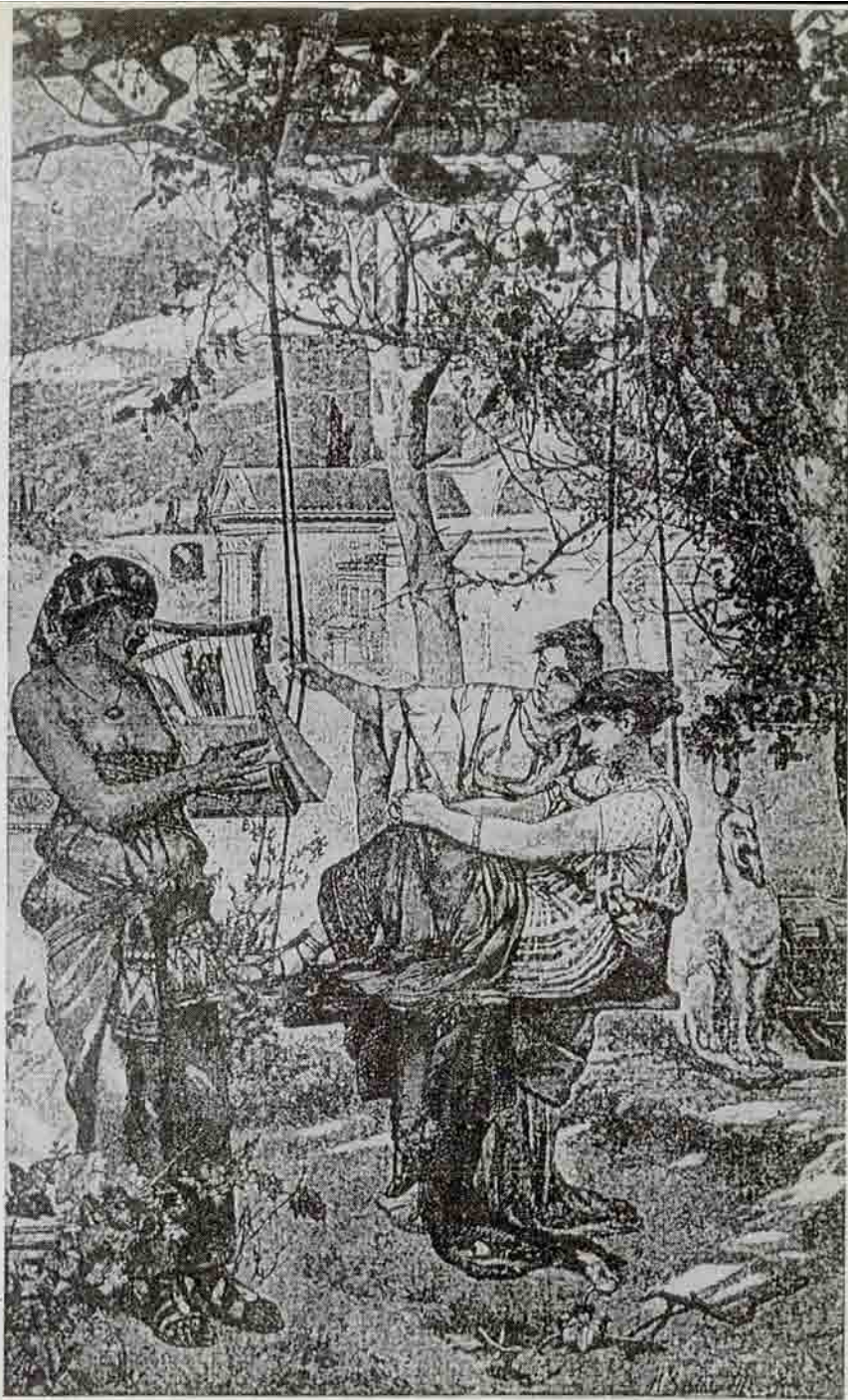
двух марципаных куколок, в новеньких эстонских нарядах, сидящих под деревьями из леденцов, среди сахарного пейзажа.

Несколько человек посвятили себя всецело бытовой живописи в такой салонно-академической окраске, и долгое время, пока не восторжествовало, в связи с развитием литературы, истинное знакомство с народом, это лживое искусство рядом с живым пользовалось почти всеобщим одобрением.

Самый известный в свое время из этих художников, подававший большие надежды, был Штернберг, очень рано скончавшийся, но успевший доказать, что его крупное дарование бесповоротно погибло на брюлловской дорожке, разменявшись на сладенькие пустячки, на смехотворные анекдотики, на вздор и привиранье. Если бы от всей гоголевской эпохи только и остались его а la Adam вкусненькие, ловко-зачерченные, но слабые, условные, французские рисуночки, то мы бы вовсе не знали, как выглядела на самом деле жизнь того времени. Какой-нибудь неотесанный, не очень даровитый Щедровский для нас дороже, так как он по крайней мере просто, как в зеркале, отразил свое время. Акварели, рисунки, литографии и масляные картины Штернберга, несмотря на то, что часть их сделана была в Каченовке, в драгоценном обществе такого великого поэта и истинно-русского человека, как Глинка, ничего ровно не отражают русского, ни внешнего, ни внутреннего. Эти вещицы не более, как «Pochades» в французском или бельгийском духе, умеренно приятные для глаз, но совсем немые для ума и сердца.

96 Штернберг, добрый, не глухой, начитанный, но неглубокий человек, наивно и слепо поверил другим, что в этом все искусство, и застрял на выглаженных дорожках суконного садика, не подозревая, что за его оградой рядом расстилается необъятный Божий мир. Попав затем в Италию, он там, естественно, не сумел стряхнуть с себя академическую рутину и взглянуть без розового стеклышка на окружающее. В Италии еще гремело имя недавно скончавшегося Леопольда Робера, породившего целую школу, которая шаблонно, наскоро, сотнями только и делала, что глупенькие и приторные сценки да лиловатые видики, и в Италии не подозревали в то время о чем-либо подобном появлению Менцеля в Германии, Милле во Франции или нашего Венецианова. Не в Италии мог Штернберг отказаться от аппетитного росчерка карандаша, презреть подмечиванье веселого вздора, бросить розовую гамму красок, взглянуть на живую заманчивую жизнь, клоковавшую вокруг него, — превратиться из занимательного, но мелкого иллюстратора в яркого, сильного художника. Он умер всего 27 лет от роду на чужбине, и по его последним словам можно предположить, что в нем происходил какой-то поворот к истинному искусству, однако вряд ли ему позволили бы совершить этот поворот вполне, так как всеобщим баловнем он был как раз за свою розовую и слащавую манерность.

Той же узкой, но благодарной дорожкой пошло немало художников. Среди них Чернышев и Тимм в 40-х и 50-х годах были ближайшими по времени и по направленности наследниками Штернберга, и оба они так же слащаво, как он, изображали ту якобы действительность, где все улыбалось, все шутили, где



Г. И. БУЛГАКОВ. ПИСЬМА К РАБОТНИКАМ.

вечно светило розовое солнце, где даже грязь и бедность имели чистенький и приличный вид. Как тот, так и другой делали это с одинаково отменным каллиграфическим умением, опрятненько вырисовывая и выписывая свои картинки, предназначенные для будуаров и гостиных, где они отлично дополняли нарядное безвкусице приторного стиля Луи Филиппа, вошедшего тогда в моду. Впрочем, Тимм был все же живее. Его военные и массовые сцены, появившиеся в «Художественном Листке» (просуществовавшем с 1852 по 1858 год), не только прельщают своей ловкостью, но останутся навсегда, если не слишком придирается к обязательным в то время парадности и шовинизму, драгоценными документами важнейших событий тех многозначительных в русской истории лет.

Штернберг и Чернышев посвятили немало сенок Малороссии, и как раз благодаря им имели наибольший успех, вполне естественный в эпоху всеобщего увлечения Шевченко. Вслед за ними явилось несколько художников, среди которых Трутовский и Ив. Соколов главные, которые уже совсем специализировались на этом жанре и всю жизнь не переставали писать жеманные пародии на нашу «русскую Италию», ничего другого не находя в ней, кроме пестрых, нарядных костюмов и сахарных хаток, сладко белеющих под тенью «Каламовских» деревьев. Вместо того, чтоб изучить интересное и прекрасное, совершенно своеобразное малороссийское лицо, которым другая — более художественная — эпоха воспользовалась бы для создания нового типа красоты, они ничего другого не создавали, кроме все тех же головок идеальных девчат, кокетливо разукрашенных веночками и монистами, а вместо того, чтобы передать прелесть чарующего, полного сонной истомы пейзажа, они вечно повторяли самый ординарный шаблон, отдающий хромофотографией.

Впрочем, Трутовский, образованный и умный человек, не мог удовольствоваться этим, всегда одним и тем же «пейзаным» родом и пробовал свои силы и в изображении быта захолустных помещиков, всевозможных сенок из окружавшей его — помещика — жизни. Утешительного в истинно-художественном смысле и эти сценки представляют мало, так как они исполнены в неряшливой, якомы щегольской, но в сущности, дилетантской манере, и в их ряду с настоящей наблюдательностью также слишком много «отсебятины». Однако все-таки некоторые из них не лишены для нас по крайней мере исторического интереса, так как в них немало курьезных старосветских типов и характерных эпизодов.

Особенно эта жанровая живопись фальшивого, бонбоньерочного типа, претендовавшая на бытописание, получила распространение и поощрение после того, как вошел у нас в моду венгерский художник Зичи, переселившийся в Россию в 1848 г. Зичи имел огромный успех в петербургском свете благодаря той истинно-фокуснической ловкости, с которой он справлялся с разнообразнейшими задачами, начиная с изображений парадов, спектаклей-гала, раутов и охот, кончая историческими анекдотами в духе Изабэ, или пикантными сценками во вкусе Барона, Бомона и Шаплэна. Однако эта ловкость его не того калибра, чтоб сохранить за его именем прежнюю славу и тот ореол, которым окружил его

Теофил Готье в своей книге о России, написанной, впрочем, спустя 30 лет после романтического воодушевления «Jeune France», когда бедный Тео уже опустился до официальной лести. Если Зичи по своему изумительному и разнообразному техническому умению и был среди русских рисовальщиков единственный, то тем печальнее, что все его творчество было исключительно направлено на забаву людей, стоящих вне жизни и в жизни мало смыслящих, все его искусство свелось к балагурству, в мелочном, пошловатом духе Оффенбаха и Второй империи.

Зичи художник не сам по себе. Он явился уже продуктом целого движения, возникшего на Западе, основанного на всеобщем огрубении и на погоне за пустым блеском. Ведь и во Франции рядом с творчеством Гюго, Берлиоза и Делакруа развилось в середине XIX века самое мелкое буржуазное искусство. Но для России главным проводником этого движения был именно Зичи. Впрочем, всевозможные художественные клубы, вечеринки, пирушки — напр. знаменитые «Пятницы» в Академии, которые вошли тогда в моду и на которых как раз поощрялось то легковесное импровизаторство, в котором больше всех отличался наш придворный хроникер, немало способствовали тому, чтоб это вздорное направление привилось к нашему искусству.

Влияние шикарной и бойкой манеры, главным представителем которой был Зичи, но которой щеголяли и все другие жанристы 40-х годов: Тимм, Чернышев, Ив. Соколов, отразилось на всей нашей живописной школе. Их фокусничеством, росчерком и «заливанием», их грубым изяществом заразились буквально все, даже те художники, которые презирали принципиально подобное великосветское жеманство, как Перов, Крамской, Владимир Маковский, В. Васнецов. С этой точки зрения было бы любопытно и поучительно взглянуть и на собрание рисунков русских художников за все XIX столетие, так как из этого осмотра выяснилось бы нечто весьма многозначительное. Рисунки старых мастеров: графа Толстого, Александра Иванова, Брюллова, Бруни и даже Федотова (первого периода), отличаются классической скромностью, драгоценной сжатостью штриха, проникновенным вниманием к предмету, или, в худших случаях, школьной твердостью выучки, в 40-х же и 50-х годах наступает резкий перелом, после которого все принимаются «шикарить», «мастерски набрасывать», ловко, «вкусно» расчеркивать, удовлетворяться манерными намеками и шаблонным щегольством. С того момента серьезность в русской живописной технике исчезает, и рука наших художников, даже первейших, отдающихся наиболее глубоким задачам, развращается. Не было ни одного русского художника в период между 50-ми и 90-ми годами, который умел бы представить красоту «заключенного», вываченного железной рукой из фантазии образа, владеть твердой и определенной линией, сжатой и ясной формой.

У Зичи было много непосредственных последователей. Эти декаденты кипсекного и официального искусства также принимались за все с большой развязностью, с каким-то гусарским шиком, треском и блеском и в то же время с безнадежной поверхностью и пустотой, но до европейского совершенства их

прототипа им было недостижимо далеко. Сюда относятся Шарлеман, Микешин, Бейдеман, Павел Соколов, позже Каразин, в наши дни Самокиш и мн. друг.

Из них единственно один Микешин, как человек с исключительным талантом, заслуживает большего внимания. Однако ж и ему его дарование не помешало опуститься до безобразных крайностей в погоне за нарядным блеском, в увлечении вусеньким карандашом и красками. Трудно разглядывать его иллюстрации к Гоголю и Шевченко, настолько они оскорбительны своим залихватским характером, якобы «гениальной» разбросанностью и неистовой утрировкой, но среди них можно иногда найти кое-какие поэтические замыслы и кое-какое понимание романтического ужаса, имеющие нечто общее с затеями Гюстава Доре. Если такие находки и не высокой пробы, то все же заслуживают некоторого внимания в русском искусстве, столь бедном фантазией, столь косном и робком.

Совершенно в стороне от этого направления стоит прямая ученица Зичи: госпожа Этлингер (по мужу княгиня Эристова, известная также под псевдонимами Магу и Казак). Портреты этой художницы, постоянно живущей и выставяющей в Париже, особенно прежних лет, не уступают по мастерству техники лучшим произведениям ее учителя.

Прежде чем покончить вообще с этим рядом художников, следует упомянуть еще о пяти живописцах, также относящихся к представителям гостиного и моденного искусства, но не имеющих точек соприкосновения ни с одним из выше названных мастеров, а именно: о Макарове, Гуне, полуфранцузах Харламове, Чумакове и Лемане. Они не играли никакой роли в истории нашего искусства, но у своих современников пользовались такой славой и таким поощрением, какие не выпадали на долю и первоклассным мастерам русской живописи. Впрочем из них Макаров за цветущую пору своей деятельности в 40-х и 50-х годах — пока он еще не был окончательно завален заказами икон и поработен модной слащавостью винтергальтеровского типа — заслуживает и теперь серьезного внимания. Его портреты и головки того времени хотя также отличаются несколько светской лощеностью и прикрасой, все же очень бодро и широко писаны и выдержаны в приятных (иногда слишком даже приятных), благородных и сочных тонах. Не будь на них подписи, их можно было бы смело считать за произведения хороших английских живописцев, наследников Лоренса и Дау — вроде Фрифа или Лэндсира.

Гуна можно считать последним достойным преемником (недостойных и посейчас много, благо этот товар еще идет на художественном рынке) штернберговского, наполовину немецкого, наполовину французского, салонного, опрятного и улыбающегося искусства. В свое время Гун, примкнув к передвижническому кружку, был очень восхваляем Стасовым, и в особенности за его чисто брюлловские, пустынькие и нарядные анекдотцы из Варфоломеевской ночи. Для нас же теперь если что сохраняет некоторый живописный интерес, то это его несколько сентиментальные сценки из жизни нормандских крестьян, неприятные по приторности и асфальтовой условности красок, но что касается тонкости

и мастерства письма, исполненные не без известного совершенства. Некоторые из этих вещей почти равняются живописи Лелё, Бриона и Вотье.

Три художника, прожившие всю жизнь в Париже: Харламов, Чумаков и Леман, специализировались на «головках», «дамочках» и тому подобных, ходко идущих сюжетах. Все три (особенно первый) не отставали от общего уровня салонного и магазинного парижского производства и тем заслужили род славы в 70-х и 80-х годах во Франции благодаря тому, что и там до распада Салонов, до того что художественная критика возвела в разряд классиков Милле, Моне и Дегаса, в сильнейшей степени властвовал упадочный вкус, порожденный всеобщей буржуазностью.

Здесь следовало бы еще сказать несколько слов о наших иллюстраторах и карикатуристах, потому *здесь*, что те немногие, которые были у нас, работали в том же веселеньком, жиденском и салонном роде. Впрочем, говорить о них не придется много, так как никогда они не играли той роли, которую играли великие «рисовальщики печати» на Западе в современных им обществах. Наша бедность в этом отношении зависела без сомнения от цензурных условий, также и от слабой постановки всего книжного дела, однако больше всего от ребяческого, до некоторой степени, состояния нашего художественного мира, препятствовавшего развитию смелых, гибких и подвижных талантов. Все же нельзя совсем без внимания пропустить несколько из ряда вон выходящих явлений. Например, грациозные, иногда и остроумные (но чаще банальные) виньетки Галактионова, уморительную повесть гоголевских времен в картинах о неудачнике музыканте Виольдамуре, рисованную Сапожниковым, чрезвычайно ловкие, не лишённые деликатного чувства иллюстрации Агина, весьма интересные по метким характеристикам и намекам на злобы дня карикатуры Неваховича и особенно Н. Степанова первого периода его деятельности (до того, что он стал подражать французам) и, наконец, манерные юмористические картинки вышеупомянутых Тимма и Чернышева. В позднейшие времена довольно милые, хотя несколько слащавые и кипсекные силуэты г-жи Бём, и наконец не Бог знает какие художественные юмористические издания, вроде «Стрекозы», «Осколков», «Будильника» и «Шута», в которых участвовали некоторые из только что названных художников, а также такие популярные рисовальщики, как Лебедев, Боклевский, Богданов и др., более или менее удачно подражавшие французским и немецким образцам и отчасти отражавшие, хотя бы в своем безвкуси, неприглядные стороны русской жизни.

За последнее время внимание публики обратил на себя Old Judge, работающий в «Шуте», и, действительно, его карикатуры наиболее талантливое явление в смехотворной журналистике за многие последние годы. Этот рисовальщик обладает большим даром подмечать смешное и характерное и возводить это в гротеск, а главное — известным вполне художественным и сильным стилем в рисунке и в раскраске.

Продолжение следует.

Плещаница, служившая почти два столетия, была темна от времени, тверда от натексов воска, с порванными нитями, болтавшейся канителью, отлетевшими куда-то трунцалами...

— Надо отреставрировать, — сказал отец Серафим.

Макарова рассматривала священное полотно с изображением оплакивания Христа, пытаясь представить, как выглядела когда-то эта хоругвь: сколько свечей отгорело над ней? Сколько губ целовали ее?

— Ну, как? — спросил монах. — Сумеете? Времени, правда, маловато: месяц до Великой Пятницы.

Великая Пятница

Шла третья неделя Великого Поста.

Да и год был великий — 1000-летие Крещения Руси. Закачивалась реставрация Свято-Данилова монастыря.

— Работать будете в Троицком соборе, — сказал отец Серафим.

Двое служителей отвели Макарову в подвальную келью, где стояли огромные пядьцы. Помогли растянуть плещаницу. Принесли реактивы, позлащенные нити, кусочки бархата... И исчезли.

Мастерица посидела, вслушиваясь в немую тишину. Затем начала готовить особый состав, чтобы очистить полотно от вековых наслоений. Размышляла о том, как оскудели церковные храмы. Ограбленные, превращенные в конюшни и склады, они с величайшим трудом обретали теперь прежнее достоинство и святость. Макарова бывала в церквях, где таинства творились среди почти голых стен. А за неимением плещаниц употреб-



ИСПЫТАНИЕ

ЛЕОНИД ЛЕРНЕР

ПЛАЩАНИЦЕЙ



Соты ИГОРЬ ПКОВЛЕВА

лялась черная ткань с начертанным крестом.

Даже Свято-Данилов монастырь не смог заказать к Пасхе новую плащаницу, а решил восстановить древнюю, много лет пролежавшую в гряде церковной рухляди.

Каждый день Макарова работала в соборной подклети по 12—14 часов.

Чтобы поддержать присутствие духа, шептала: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа...»

И вот настала Великая Пятница.

Утром сего дня плащаницу освятили и унесли в алтарь. А в два часа пополудни Макарова стояла в соборе среди прихожан. Мужской монастырский хор запел, и все взгляды устремились к алтарю. Оттуда выходила торжественная процессия: четыре священника несли плащаницу, держа ее за углы, впереди шел настоятель монастыря архимандрит Тихон — край полотна покоился на его голове.

Строгая и величественная, мерцающая золотым шитьем, плащаница плыла по воздуху, в живом коридоре верующих, направляясь к Гробу Господню.

...У выхода из храма стоял отец Серафим.

— Славно потрудились, — сказал он Макаровой. — Руки у вас золотые, потому что душа трепетна. С такой душой могли бы и свою плащаницу построить. Готовы ли на такой подвиг?

Обет

Я познакомился с Тамарой Ивановной Макаровой лет двадцать назад, когда мы жили по соседству, на Соколиной Горе, в краю мрачных, серых домов, лимитчиков и пивных ларьков. И для меня

было праздником встречать на этих улицах женщину в платьях, уносивших воображение в эпоху прекрасной старины. Эти наряды не были копиями музейных, но, созданные руками современного мастера, хранили истинно народные черты.

Секрет стал ясен, когда Макарова однажды показала мне коллекцию одежды славянских народов, из которой она и черпала многие приемы и детали своего искусства.

У нее был разнообразнейший круг знакомых: с одной стороны, космонавты, ракетчики, конструкторы — так сказать, «технари»; с другой — люди искусства: поэты, художники, музыканты. Знакомства удивительные для человека глубоко верующего, но вполне понятные для художницы, участвующей в бунтарских авангардистских выставках. Странные по тем временам, когда «наивная» живопись не стала еще даже предметом обсуждения, народные картины Макаровой категорически отвергались реалистами, но приглянулись авангардистам.

Впрочем, я заметил, что она все реже и реже садится за мольберт. И все чаще и глубже исследует книги по древнерусскому шитью. Ее вниманием завладела старинная вышивка, помыслами — религиозные сюжеты.

Затем началась перестройка. Многие из нас жили в состоянии эйфории, никто не знал, даже не думал, что приближаются тяжелейшие времена. Но Макарова вдруг сказала:

— Пришло время молиться во спасение России. И не только молиться...

Она показала мне альбом Маяковой, где собраны лучшие образцы древнерусского шитья. Венцом этих творений были плащаницы.

— Вот она, слава России. Сделаешь такое — можно и умирать спокойно.

— Неужели возьметесь? — удивился я.

— Я уже дала обет, — сказала Макарова.

...Как зеницу ока

В Толковом словаре Владимира Даля о плащаницах сказано коротко: «Изображение на полотне Положения во гроб Спасителя».

Поэтому добавим: по священным православным канонам на льняном полотне размером метр восемьдесят на полтора изображались два сюжета — Положение во гроб Иисуса Христа или Успение Божией Матери.

Труд этот был поистине велик. На вышивание плащаницы уходило несколько лет. Такое при всем желании не могли позволить себе люди, занятые обычным мирским трудом, озабоченные мыслью о собственном пропитании.

Так кто же брал на себя этот подвиг? Монахи? Но ведь святые сестры денно и нощно были заняты молитвенным бдением.

Церковные летописи открывают истину.

Почти все лучшие плащаницы являлись даром храмам знатнейших русских домов. С необычайным тщанием вышивались они в царских и великокняжеских светлицах. Самые высокородные дамы брали в руки иглу, но главный труд, конечно же, исполняли мастерицы рангом не ниже боярышень, которых с детства обучали кропотливейшему ремеслу. Самых даровитых и старательных приближали ко двору. От степени их мастерства и усердия подчас напрямую зависела и карьера мужей.

Жертвуемые в храмы плащаницы оплачивались сполна: на заут-

ренях, обеднях и всенощных молились за корону, государя, его семью.

Со временем, когда на Руси появились богатые купцы и промышленники, число дарителей увеличилось. Впрочем, предприниматели стали организовывать и специальные мастерские, в которых можно было приобрести плащаницу на заказ.

Как-то, беседуя с архиепископом Пензенским Серафимом, большим знатоком христианского искусства, который сетовал на полное отсутствие подлинных плащаниц во вновь возрождаемых храмах, я поинтересовался, сколько подобных изделий бывало в храмах дореволюционной Руси.

— По своему значению они приравнивались к главным иконам, — отвечал владыка, — и висели рядом с иконами. А по праздникам... В одной летописи сказано: «Яже вешали в две верви от Золотых ворот до Богородиче...». (То есть вышивки развешивались в два ряда...) Вот ведь какое было богатство! Тем не менее каждую плащаницу берегли как зеницу ока, за кражу этого священного изделия судили, как за убийство.

Душа мастера

— Мне было лет пять, когда приснился такой сон, — рассказывает Тамара Ивановна. — Я увидела огромную цветущую яблоню. И себя, в восторге бегущую к этой яблоне. И вот что удивительно: сон повторялся каждый год лет до тридцати. И как бы поддерживал, укреплял во мне ощущение красоты. То был образ, который, войдя раз и навсегда, стал моим символом жизни.

— Вы верите в символы?

— Конечно. Ведь это Господь подает нам свои знаки. Он подает

их всем. Только многие их не замечают или забывают. Я же не забывала никогда.

— Вы хотите сказать, что именно в памяти детства заключалось то, к чему вы пришли теперь?

— Безусловно. Помню и второй знак. Мне было лет восемь, когда я приехала к своей тетке в Истру на каникулы. Она работала в местном краеведческом музее. Там, на стенах, висело старинное золотое шитье, и оно притягивало меня как магнитом. Экскурсоводы говорили, что это рукотворные вещи. Но я отказывалась верить: была уверена — ангелы сделали или принесли с небес...

До семи лет Макарова росла в деревне, у бабушки, в истинно православной семье. Бабушка свято исполняла все обряды, занималась воспитанием внучки. Но к началу учебы в школе родители забрали ее в Москву.

— Как повлиял город на вашу веру?

— Был период, когда мной овладел соблазн, — вспоминает Тамара Ивановна. — Это случилось в 14 лет. Я прочла «Овод» Войнич, и меня вдруг охватил мятежный дух. Чуть ли не до восемнадцати — прости меня, Господи! — жила в грехе отрицания Бога. Так повлиял на меня вкупе со всем окружающим ложный романтизм этой книги. Потом как бы очнулась от тяжелого сна.

— Что же вернуло к Богу?

— Однажды летом поехала в деревню, к бабушке, и вновь окунулась в чистое святое детство. В сельской церкви исповедалась, причастилась. И на душе снова стало легко и ясно. Бабушке я обязана почти всем. Она научила меня трудиться, всерьез относиться к делу, дала первые уроки мастерства. С трех лет сажала около себя и заставляла наблюдать ее работу — вязание или вышивку.

Строго говорила: «Сиди и смотри». И не смей отвлекаться. И так каждый день.

— Когда вы научились работать самостоятельно?

— В семь лет, переехав в Москву, уже обслуживала своих подруг — не даром, за конфеты: шила платьица для кукол, вязала шапочки, носочки... Помню даже мальчика, который заказал берет для своего Буратино, но конфет у него не было, так он принес кусок студня.

— А когда почувствовали себя мастером?

— Как конфеты стала за работу получать, — смеется Макарова. — А вообще-то... Мастер — человек, который всю жизнь учится. Вот и я всю жизнь учусь, и нет для меня мелочей. Плетут сеточки — обязательно нос суну, чтобы и меня поучили, делают что-то из кожи — и я тут как тут. Я не гордая, для меня мастером был всякий, кто что-то по-своему мастерил.

— Ну а те, из прошлого? Которых вы когда-то с ангелами спутали? Как их величать?

— О тех людях разговор особый, — задумчиво говорит Макарова. — То были мастера Божьей милостью.

— Что самое трудное в работе над плащаницей?

— Если говорить о приемах самой вышивки, — отвечает Тамара Ивановна, — то, по существу, это всего два шва — тамбурный и стебельчатый. Но, чтобы добиться результата, нужно сделать миллион стежков. На это уходят три-четыре года. Взяться за такое невозможно без особого состояния души... Когда я взялась за плащаницу, работала как одержимая, с раскаленной головой — вся горела от какого-то непонятного счастья.

— Что это было — страсть?

— Не знаю... Но работа доста-

вляла удивительное блаженство. И я боялась оторваться, чтобы не потерять этого ощущения, без которого (теперь-то уж знаю!) плащаница просто не пойдет. И все время читаешь молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» Сбежать на кухню что-то быстро съесть — это еще полбеды. А вот сходить в магазин, выстоять очередь за продуктами — пиши пропало! Придешь домой, а голова уже холодная, и сердце у тебя пустое.

— Как же вернуться в «то» состояние?

— Очень трудно. Долго не приходит. И вот начинаешь, чуть не сутками: «Прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи...» — пока в ушах не зазвенит.

За семь последних лет из рук Макаровой вышло две плащаницы: одна пасхальная, другая с изображением Успения Божьей Матери. Обе стали экспонатами Всероссийской выставки христианского искусства.

Завещание

Она спит глубоким, пролетающим, как миг, сном, каким спят люди, дни которых наполнены счастливыми трудами. Просыпается на заре, открывает глаза и, ощутив свежую и ясную мысль, говорит: «Благодарю Тебя, Господи».

Зарядка. Холодный душ. Молитва. Чашка чаю, заваренного травами. В семь часов утра она уже за плащаницей.

Вышивая или рисуя (и то, и другое последнее время идут параллельно, эти переключения стали необходимостью, как бы потребностью выражать себя в двух измерениях), Макарова по привычке, выработанной годами, анализирует прошедший накануне день: что

было полезного — сохранить, ненужное — отбросить. Вчера на выставке народных ремесел встретила знакомого художника, он долго и нудно говорил о пустом — как ходил в больницу и вставлял plombu. Что греха таить, когда-то и сама празднословила. Теперь-то ясно, что каждая человеческая минута — на вес золота. Работать, работать... Душа и руки обязаны трудиться.

На полечении Макаровой еще и семилетняя внучка. Четыре раза в неделю водит ее в фольклорный ансамбль, где Ксюша изучает народные песни и танцы. Но главное дает сама: слово Божие, рукоделие, рисунок.

По утрам обе работают. Затем идут на прогулку, по Тверской — в Кремль. Там удивительный мир. Заходят в соборы. В Успенском — чудеса, из-под купола доносятся пение, тихие чарующие звуки. А ведь на клиросе никого, в соборе пусто. Может, кажется? Спрашивает внучку: «Ксюша, ты слышишь?» Отвечает: «Слышу, бабушка». — «Что слышишь?» — «Поют». И невольно думается, что это поет вся здешняя красота.

Перед обедом читают молитву: «Очи всех на Тебя, Господи, уповают. Ты даешь пищу во благовремение и отвергаешь щедрую руку свою».

Уложив внучку, Макарова открывает Гавриила Державина. Стихи певучие, пронизанные старым и добрым русским словом. Современная поэзия, по мнению Тамары Ивановны, слишком суетна, информативна. А старинная размышляет, дает простые, но вечные образы.

Затем садится за картину. На холсте старик и старушка. Сидят на бревнышке, укрытом пестрым половичком, возле своего дома. Он с балалайкой, она чулок вяжет. Рядом самовар, легкий парок

вьется. Закипит — чаевничать станут. А вокруг, сколько хватает глаз — чудо-деревья, избушечки расписные, лодочки по речке плывут, воздух прозрачный, козочки пасутся на изумрудной траве... Идиллия.

Я прихожу вечером и, глядя на картину, замечаю:

— А ведь в деревне нынче совсем не так...

— Знаю, — отвечает Тамара Ивановна. — А должно быть так. То, что вы видите, это их душа. Они сохранили свой мир, свой рай благодаря вере в Господа.

— Отчего вас так тянет к «наивной» живописи?

— Выше «наива» нет ничего, кроме икон. В этих картинах — тяга к лучшей, чистой жизни: народное мироощущение. Сколько его ни пытались из нас вытравить — все равно живет. Я думаю, что «наивная» живопись — это, наверное, цвет души. Это защита от мрака нашей жизни, противостояние натиску житейской «чернухи». Что толку скулить? Уныние — большой грех.

— Ваша главная заповедь?

— Не солги. Ни словом, ни делом. Бабушка говорила: бойся людей, которые врут или халтурят.

— А ваша мечта?

— Дать внучке то, что мне дала бабушка. Для этого и плащаницы «строю», и картины пишу. Самый лучший пример: слово и дело.

— Думаете ли о смерти?

— А как же!

— А какое завещание хотели бы оставить детям, внукам?

— Плащаницу. Пусть она будет для них, как покров Богородицы. А две другие передам в женские монастыри.

Посвящение

— Собираетесь ли продолжать этот труд?

— Уже сделала первые наброски Успения Божией Матери — по заказу Троице-Сергиевой лавры для Черниговского скита.

— За такую работу положено, вероятно, немалое вознаграждение? Я слышал, что вашу пасхальную плащаницу оценили в 20 тысяч долларов.

— Пока о деньгах не было и речи. Но они не помешали бы. Я ведь живу на пенсию, которой, сами знаете, едва хватает только в Великий Пост. Но главный смысл своего труда вижу в возрождении отечественного мастерства.

— Может ли возродиться Россия?


— Помните из Евангелия? Чтобы исцелить параличного отца, сыновья занесли его аж на крышу дома, где в это время, окруженный толпой народа, находился Христос. К дверям было не пробиться, так они разобрали крышу и сверху опустили отца к ногам Христа. Они верили в Господа, но пришлось и потрудиться. Нельзя только уповать на Господа. К упованию надо еще приложить и труд — с сердцем в придачу...



ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ
и АЛЬБЕРТА ЛЕХМУСА

ДУБНА:

ВАРИАНТ НА ВЫЖИВАНИЕ



От Москвы всего три часа на электричке — и попадаешь будто в иной мир...

Спокойный и уютный городок. Идеально выметенные улицы, отсутствие свалок и горящего мусора во дворах. Чисто даже у коммерческих киосков, аккуратно и неназойливо вписанных в городской пейзаж. Основной вид транспорта, по-моему, велосипед — ездят даже в мороз. У магазинов, учреждений — металлические

стойки для двухколесных машин. Вежливые люди охотно показывают, как куда пройти.

Когда после войны в одном московском кабинете обсуждалось, где разместить будущий центр ядерной физики, приволжская деревня Ивановское замыкала список кандидатов. Были в Подмосковье и другие варианты: Икша, Хлебниково. Но, подводя итоги совещания, Лаврентий Берия заявил:

— Итак, по общему мнению, выбираем Ивановское.

И привел четыре аргумента в пользу «общего» мнения. Рядом ГЭС — значит, нет проблем с энергией. Достаточно далеко от Москвы — научные сотрудники не смогут часто ездить развлекаться. Здесь проще обеспечить режим секретности. И, наконец, в избытке бесплатная рабочая сила — лагерь на берегу Волги.

Ивановское впоследствии объединили с другими окрестными селениями, дали статус города и назвали именем местной речки, притока Волги, Дубны.

В 1947 году академик Курчатов вызвал к себе молодого физика Венедикта Желелева и предупредил, что тому скоро придется уезжать.

— На восток? — спросил Желелев, зная, что там строятся атомные реакторы.

— Нет, поближе — в Подмосковье, — ответил Курчатов.

— И что я там буду делать?

— А вот этого я тебе сказать не могу — ты по этой линии еще не засекречен.

При второй встрече Курчатов набрал телефонный номер и сказал в трубку:

— Василий Алексеевич? Фамилия этого человека — Желелев. Звонил он генералу Махневу из бериевской конторы. Только те-

перь Желелев узнал, что придется ему участвовать в создании циклотрона — ускорителя ядерных частиц. Причем не имеющего аналогов в мире.

— Наряду с атомным оружием, — рассказывает почетный директор лаборатории ядерных проблем член-корреспондент РАН Венедикт Петрович Желелев, — Курчатов много занимался фундаментальной наукой — его хватало и на то, и на другое. Большинство физиков приехало в Дубну именно из его лаборатории.

Правительство дало указание запустить циклотрон в четвертом квартале 1949 года. Физики и строители быстро смекнули, чем обусловлен этот срок: 21 декабря исполнялось 70 лет вождю. Нужен был крупный подарок к юбилею...

Вспоминая тот период, Венедикт Петрович говорил еще, что дело — надо отдать должное — было организовано четко и эффективно. Параллельно с производственными корпусами строились дома, магазины, школы, гостиница. Оборудование создавалось на очень многих заводах, и ни один не подвел. Сроки исполнения были жесткие, но все заказы выполнялись в срок. Только ли из страха перед расправой?..

В разгар строительства едва не произошла катастрофа. В здании 40-метровой высоты заливали бетоном потолочные фермы. Постепенно одна из ферм начала прогибаться. Желелев видел совершенно побелевшее лицо консультанта по строительству — профессора Стрелецкого. Было от чего: лопни ферма под нагрузкой — много голов полетело бы.

После двухдневных раздумий Стрелецкий распорядился продолжать заливку бетона. Первая ферма прогнулась на 36 сантиметров, но выдержала. Однако риск оста-

вался: кто мог гарантировать, что все фермы не худшего качества? Кроме того, неприятность скрыли от московского начальства, что усугубляло вину.

Ни одна из ферм не подвела.

— Вот насколько ответственно изготовители подходили к важным заказам, — заключил Джелепов. — Сейчас я лично не рискнул бы продолжать заливку.

О сегодняшнем и завтрашнем днях Объединенного института ядерных исследований Джелепов говорил скупно и неохотно.

— О чем говорить? Унылый получится разговор. Час работы ускорителя обходится в 250 тысяч рублей. А ускорителей и реакторов у нас семь. Вот и задумываешься: то ли науку делать, то ли энергию экономить. Оборудование простаивает 3—4 месяца. И выхода в ближайшем будущем я не вижу...

Несколько лет назад знакомый математик рассказывал, как его институт добывает деньги на науку. Просто до смешного: запрашивают больше, чем нужно, втрое, чтобы получить вдвое. Теперь, конечно, не те времена, но, чтобы уникальный научный центр испытывал серьезные финансовые затруднения, как-то не верилось. Тем не менее...

Для справки. Объединенный институт ядерных исследований никакому ведомству не подчинен. Даже правительству. Это международная межправительственная организация, которую основали в 1956 году 11 соцстран. После распада СССР стран стало 18 — многие бывшие республики не захотели покидать мощный научный центр. Высший орган управления институтом — Комитет полномочных представителей, по одному от каждого государства.

Тесно сотрудничают с институтом и западные страны: США, Ан-

глия, ФРГ, Франция, Италия... Ученый секретарь Борис Старченко так объяснил интерес иностранцев к сотрудничеству:

— Их центры ведут исследования по узким направлениям. В нашем же институте — семь лабораторий, представляющих, по сути, целые НИИ. Нам совместная работа тоже выгодна — с Запада идет валюта на эксперименты, целевые проекты. Но положение все равно неблагоприятное...

Около половины взносов на содержание института — российская часть. А состояние бюджета России всем известно. К тому же процент ассигнований на науку снижается, да и те деньги выдаются с запозданием и съедаются инфляцией... Есть должники и среди других стран-участниц: в октябре прошлого года средняя зарплата в престижнейшем институте с мировой известностью составляла 36 тысяч рублей! Доктор наук получал 80. Кажется, московские уборщицы имели больше... Если же говорить о городе в целом, то тут самая низкая зарплата в области. А жизнь в Дубне, между прочим, дороже, чем в столице. Здесь нет пищевой промышленности, продукты везут из Москвы, прибавляются расходы на транспорт.

На встречу прошлой осенью с Егором Гайдаром директор Владимир Кадышевский захватил пачку заявлений об увольнении своих сотрудников. Обычно говорят об «утечке мозгов», но не меньше беспокоит дубнинцев «утечка рук» — из института уходят отличные рабочие, эксплуатационники. А без них, простите за тавтологию, как без рук. И это при том, что в Дубне избыток работающих составляет около пяти тысяч человек. Сокращение штатов сдерживается искусственно — нельзя же выставить на улицу такую армию

(в городе живет 62 тысячи человек) безработных.

В прошлом институт был довольно закрытой организацией. В сознании рядового обывателя он ассоциировался с атомным оружием и энергетикой. Теперь же, когда общество решительно настроилось против бомб и АЭС, кого взволнуют проблемы физиков?

...На спинку кресла небрежно брошен рабочий халат — в кабинете все так, как оставил его, уходя, первый директор лаборатории ядерных реакций академик Георгий Флеров... В кабинете никто не работает, он сохранен как музей.

У заместителя директора лаборатории профессора Юрия Пенионжкевича мы спросили:

— А зачем, собственно, разгонять ядра и сталкивать их «лбами»?

— Первое — фундаментальная часть. Мы ведь еще до конца не знаем, как устроен микромир, нет полного понимания процессов, происходящих в ядерной материи, свойств ядерного вещества. Очень важно выяснить все законы взаимодействия частиц при высоких энергиях, исследовать структуру ядер. Основная задача лаборатории — синтез новых элементов. Ускорители нужны для создания все более тяжелых ядер, не существующих в природе. А практический смысл — получение энергии сверхтяжелых ядер. Образно говоря, тогда мы сможем изготовить реактор, помещающийся в кармане и абсолютно безопасный. В лаборатории получено девять элементов, каких нет в таблице Менделеева. Некоторые живут миллисекунды, но мы успеваем сделать химический анализ. Когда добьемся, что они будут устойчивы, тогда и станут возможны мини-реакторы.

После Чернобыля пошла гулять шутка из серии черного юмора: «Мирный атом — в каждый дом». А ведь он и в самом деле может быть полезен в доме — в буквальном смысле. В хозмаге Дубны продаются фильтры для очистки воды — продукция ядерщиков. Их основа — так называемые ядерные мембраны. Полимерную пленку типа лавсановой «бомбардируют» на циклотроне тяжелыми ионами. Внешне пленка остается совершенно целой, но на самом деле в ней образуются отверстия, невидимые и под микроскопом. Через них не пройдет даже бактерия! Хотя из лужи бери да пропускай через фильтр — никакого вреда. Ну, из лужи мы не пробовали, а разница с водопроводной водой ощутимая. Причем это «живая», а не кипяченая или дистиллированная вода.

Важна такая пленка не только для бытовых нужд. Например, в микроэлектронике 70 процентов брака происходит из-за плохих фильтров: кристаллы микросхем промываются в недостаточно чистой воде. А ядерные мембраны позволяют добиться тонкой очистки воды, воздуха, газообразной технологической среды. Можно извлекать ценные компоненты из бедных растворов и отходов производства. Разделять компоненты крови для диагностики... (Информация для любителей вина и пива: пропуская эти напитки через мембраны, можно удалять ненужные бактерии, то есть приостанавливать процесс брожения и тем самым увеличивать срок годности продукта...)

Так вот, отчасти за счет продажи пленки лаборатория поддерживает свое материальное состояние: покупает кое-что из оборудования, пытается поддержать сотрудников. Хотя это, по правде говоря, мелочи — мало стало состоятель-

ных покупателей. А продукция-то нужна практически везде.

А знает ли кто-нибудь, что с каждым уколом в нашу кровь или мышцы попадает некоторое количество стекла? (Вспомните, как медсестра обламывает головку ампулы!) Есть фильтры и для медиков. Но опять та же проблема: мало заказчиков, способных платить.

Еще одно практическое применение ядерной физики — онкология. Лечить больного можно на ядерном ускорителе. Метод, разработанный в лаборатории Дзельепова, не так уж и нов — облучение. Но с одной существенной разницей. Обычно облучают гамма-лучами, которые поражают не только раковые, но и нормальные клетки на входе и выходе. Физики в Дубне облучают тяжелыми ядерными частицами — те действуют избирательно, воздействуя только на опухоль. Это, предупредили меня, не панацея, но все же шаг вперед в онкологии. Но дело идет очень медленно. Лечат 15—20 человек в год — негде разместить больных. Планируется стационар на 60 коек при медсанчасти, но когда он войдет в строй, трудно сказать. Не сороковые годы...

— Раньше проблем финансирования у «фундаментальщиков» не было, — говорил Пенионжкевич. — Сложился определенный стереотип — нам должны давать! Но если в самом деле бюджет страны трещит? Почему бы самим не заработать?

Так-то оно так... Но чем заработать? В городе науки среди семи сотен новых фирм — кооперативов, СП, ТОО, АО — единицы связаны с наукой. Часть предприятий зарегистрирована, но не работает. Значительная часть занимается куплей-продажей. Научно-произ-

водственный центр «Аспект» (учредители — институт и объединение «Изотоп») торгует не «Сникерсами» и водкой.

В штате здесь всего человек двадцать, но временами количество сотрудников достигает трехсот. Создание новых рабочих мест — таково было условие учредителей. Инженеры, рабочие института привлекаются на время для решения конкретных задач. Работа по профессии плюс заработок в свободное время.

Продукция фирмы — комплексы наукоемкой аппаратуры для контроля технологических процессов, радиационного контроля. Они используются также в атомной промышленности, энергетике, геологии, медицине, металлургии и так далее.

В «Аспекте» все делают сами — от проекта до сборки и настройки приборов. Этой аппаратурой заинтересовались и на Западе: не хуже чем у них, но дешевле. Заместитель директора Евгений Зайцев продемонстрировал действие одного из таких комплексов. Банка с пробой — будь то земля, вода, продукты, все что угодно, — закладывается в защитный свинцовый сосуд, и на дисплее компьютера появляются цифры, какие именно радионуклиды присутствуют в пробе и сколько их.

Два с половиной года назад они начинали с кредита в пять миллионов, взятых под честное слово. Покупателей было море, «Аспект» и выжил благодаря тому, что нашел свою производственную нишу: для гигантов индустрии делать подобную мелочевку было невыгодно.

И тут начался обвальный процесс обнищания потребителей. Фирма продолжает работать, но ее потенциальные возможности уже переросли возможности российского рынка. А выход на запад-

ный — вопрос не простой. Туда еще попробуй пробиться с наукоемкой продукцией. На приборах «Аспект» еще держится, но ведь это же мало! Нужно развиваться, расширяться, больше помогать институту. Да и заработки здесь несравнимы с кооператорскими. Вот почему и в «Аспекте» серьезно планируют заняться и чистой торговлей: нужны средства на развитие науки, иначе фирма и захиреть может.

Вообще наше время характерно тем, что многие вынуждены заниматься не совсем своим делом. Дубна — город не только науки, но и оборонной промышленности. Здешний машиностроительный завод с начала пятидесятих годов делал ракеты. Грянула конверсия... Попробовали делать микроволновые печи. Но тут началось повальное обнищание народа и печки стали не по карману. Пришлось свернуть производство. Сейчас завод, в числе прочего, делает металлические этажерки, полки, кресла-качалки, дачную мебель.

— Да, это не наш профиль, — согласился главный инженер Николай Удальцов. — Но это наш хлеб! Мы ведь ежедневно решаем одни и те же проблемы: где взять деньги на зарплату? Где достать материалы и комплектующие в условиях неплатежей? Как сделать, чтобы не отключили энергию?

Тем не менее производственникам живется получше, чем ученым. Так, завод освоил антенные системы спутникового телевидения и связи, видеопроекторы, машины-амфибии. А в декабре выпустил первый серийный спортивный самолет Су-29. Но, по словам заместителя главного инженера Владимира Костырева, годы принудительной конверсии не прошли даром — завод успел частично утратить школу авиационной

технологии. Ее теперь приходится возрождать на базе сохранившихся кадров...

А не захиреет ли вся наша наука на таком голодном пайке? Об этом мы говорили с вице-директором института Алексеем Сисакином.

— Фундаментальная наука финансируется, как и прежде, из госбюджета. А как в других странах? Наряду с федеральными существуют и иные источники финансов, причем они составляют до пятидесяти процентов всех средств. Но там есть экономический механизм, который позволяет привлечь деньги промышленников. Это прежде всего система налоговых льгот для тех, кто помогает науке. Там понимают: нет такого фундаментального открытия, которое не дало бы и практической отдачи. Понимают это и в нашем правительстве, но у них, видимо, масса более срочных забот... В странах «экономического чуда» — Японии, Корее, Сингапуре и так далее — успеха добились за счет двух факторов: связи промышленности с наукой и дешевой рабочей силы. Второй фактор и у нас имеется, а вот что до первого... Его нет, поскольку очень долго не было государственной политики в области научно-технического прогресса... Могут быть разные источники финансирования науки. Например, региональные бюджеты.

— А если зарабатывать самим?

— Разумеется. Но не спекулировать, а торговать новыми технологиями, научными разработками. Так, есть проект экологического электронного ускорителя для очистки газовых выбросов из заводских труб. Над этим проектом работаем вместе с Болгарией. Но надо понять, что положение в науке не улучшится, пока не будет стабилизирована экономика и не

найдена формула экономической поддержки науки. Наука, наверное, сейчас — проблема не самая срочная, но самая важная!

— Как же вы живете и работаете, если основное оборудование — ускорители — часто бездействует?

— Лет полтораста назад премьер-министр Англии посетил Фарадея и спросил: какая польза будет от вашего открытия? Тот ответил: не могу сказать, но то, что правительство обложит его налогом — это точно. И в самом деле, когда появились электролампочки, сразу ввели плату за свет. Я это вот к чему... При базовом месячном бюджете в 360 миллионов рублей мы должны платить за электричество 600 миллионов. Живем в долг. Только сейчас в правительстве разрабатывается постановление о льготах для науки.

— Что вас поддерживает на плаву в наше трудное время?

— Взносы стран-участниц. От них же идет часть научного оборудования. Некоторые эксперименты, ведущиеся иностранцами у нас, теперь не бесплатные. При институте создан учебно-научный центр — в перспективе он вырастет в Международный университет. Это и дополнительные рабочие места для преподавателей, и валюта — иностранцы будут платить за обучение. Мы можем поднять и уровень наших бизнесменов, обучая компьютерному методу в практической экономике, моделированию процессов на ЭВМ.

А вообще-то, я считаю, самые трудные годы мы пережили. Институт строился как бы в противовес Западу, но за эти годы мы создали такую мощную науку, которая намного переросла политические цели. Смотрите, очень быстро распались СЭВ, Варшавский блок, СССР. Наш союз сохранился — наука объединяет людей

крепче политики. Правда, в составе учредителей теперь нет ГДР, но и страны такой нет. А с немцами мы сотрудничаем очень плотно. Ну, еще Венгрия ушла — там причины чисто экономические. Представители Армении и Азербайджана сидят за одним столом и спокойно обсуждают проблемы физики... В верхах же политические амбиции взяли верх над здравым смыслом. Думаю, наука — наиболее чистое поприще человеческой деятельности. Мы сохраняем и расширяем общее интеллектуальное пространство.

СИГИЗМУНД ЛИБРОВИЧ

Рисунки
ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА

Между двумя этими историями — более века, но действуют в них люди одной крови — поляки, волею судеб оказавшиеся отнюдь не второстепенными персонажами русской истории. Именно это и позволяет объединить обе истории и их героев в некий парный портрет или, если угодно, литературный диптих, тем более что оба очерка принадлежат перу одного автора, постоянному читателю нашей рубрики уже знакомому.

СИГИЗМУНД
ЛИБРОВИЧ

116

— Мы не признаем Михаила Федоровича Романова царем Московским. На престол избран боярами другой царь, ему присягнул московский народ, и ему царствовать на Руси, а не Романову!

Так говорили поляки в 1613 году, когда узнали о призвании на царство юного Михаила Романова, сына находившегося в польском плену Филарета Никитича. При этом они указывали на королевича польского Владислава Сигизмундовича как на единственного, по их мнению, законного и признанного «царя всея Руси».

И никакие доводы и возражения бояр не могли убедить поляков: они ссылались на подписанные боярами договоры, на их присягу, на целый ряд событий, которые происходили в 1610 году частью в самой Москве, частью под Смоленском, частью в разных городах Московского государства, признавших Владислава царем.

— Вы сами хотели иметь королевича Владислава своим царем, — говорили поляки боярам, — вы сами звали его на царство, сами просили, чтобы король наш отпустил к вам сына своего, королевича. И пока жив Владислав — вы не имели права выбирать нового царя.

Двадцать лет не переставали твердить поляки, что Владислав Сигизмундович имеет право на Московский престол, тщетно, огнем и мечом, добиваясь признания за ним титула Московского царя. И во всю первую половину царствования Михаила Федоровича постоянно грозил Москве призрак его соперника, который



вот-вот проникнет со своим войском в русскую столицу и захватит власть в свои руки.

Поляки не могли забыть дня 17 августа 1610 года, когда Москва торжественно «крест целовала», то есть присягала королевичу Владиславу, и не хотели принять во внимание изменившегося с тех пор положения Московского государства.

Тяжелое время пережила Русь в эпоху междоусобицы, наступившего после того, как царь Василий Иванович Шуйский был свергнут с престола и насильно пострижен в монахи. С одной стороны, угрожали литовские и польские войска, приближавшиеся к столице, с другой — засевший в 12 верстах от Москвы, в Тушине, выдававший себя за убитого царевича Димитрия безвестный бродяга, второй самозванец, к которому примкнула не только московская чернь, но и многие видные бояре, польстившиеся на обещания и щедро раздаваемые обманщиком отличия. Всюду, далеко вокруг Москвы, шли грабежи, разбои, пожары, разорения сел и деревень. И некому было взять власть в свои руки, водворить спокойствие и порядок в стране и энергично выступить против ее врагов — внешних и внутренних.

Временно, «пока Бог даст государя», стала править государством Боярская Дума, или совет из семи знатных вельмож, во главе которых стал князь Мстиславский.

Заседавшие в Думе бояре сознавали, что медлить с избранием нового царя нельзя. Но кого же выбрать? Если кого-либо из московских бояр, то опять начнутся раздоры, зависть, вражда, козни. Тем временем поляки завладеют столицей, а затем и всем государством и пожелают силою утвердить в нем латинскую, католическую веру вместо православной. А то тушинский царек при помощи тех же поляков, как в свое время Лжедмитрий I, захватит царский венец в свои руки, и начнутся тогда преследования, казни, ссылки всех его противников.

Единственным средством и против разорения страны врагами, поляками и литовцами, и против внутренних крамольников Боярская Дума признала избрание на царство молодого польского королевича Владислава Сигизмундовича. У кого впервые явилась мысль об избрании польского королевича, кто первый его предложил — осталось неизвестным. Называют князя Мстиславского, называют Салтыкова и Валуева, надеявшихся получить за это разные милости от нового царя, занять при нем выгодные должности и забрать власть в свои руки. Предводитель же польских и литовских войск, стоявших в Можайске, гетман Жолкевский приписывал себе мысль посадить на Московский престол польского королевича и этим сблизить и сдружить два враждовавших государства. С этой целью он вошел в переговоры с некоторыми из бояр, рассылая в то же время грамоты с указанием, какие выгоды получают бояре от сближения с Польшею.

Впрочем, мысль о призвании королевича Владислава на царство еще раньше, нежели в Москве, возникла в Тушине среди тех бояр, которые примкнули ко второму самозванцу, к Тушинскому вору, а затем его покинули. В январе 1610 года, когда еще царствовал Василий Шуйский, послы от этих бояр отправились к королю Сигизмунду под Смоленск звать королевича на цар-

ство. В составе этого посольства были князь Михаил Салтыков и сын его Иван, князь Василий Рубец-Масальский, Юрий Хворостинин, князь Федор Мещерский, дьяк Иван Грамотин и другие дворяне — всего сорок два человека. Заявив, что в Московском государстве «все желают иметь царем королевича Владислава», посольство поставило лишь условием, чтобы король сохранил неприкосновенною святыю православную веру, которую столько веков исповедовали московские люди. Присутствовавшие при этом польские сенаторы, выслушав послов, заявили, что вопрос о разрешении королевичу принять московский престол решить без согласия всех чинов польского государства нельзя. Но и сенаторы, и в особенности сам король отнеслись очень сочувственно к предложению бояр. И, хотя окончательное признание Владислава было тогда отложено, дело считалось уже решенным. И тушинские послы уехали 20 февраля, дав присягу до прибытия Владислава в Москву повиноваться королю и подписать соответственный договор.

Королевич Владислав, которому в то время шел 15-й год (он родился в 1595 году), жил тогда в столице Литвы, в Вильне, и еще ничего не знал о том, что ему предлагают занять Московский престол и что жители нескольких русских городов, как Можайск, Ржев и других, уже присягнули ему на верность как новому царю.

Тем временем Тушинский вор, вынужденный покинуть Тушино, направился в Калугу, а большинство примкнувших к нему русских вернулось с повинной в Москву, где Захарий Ляпунов поднял народ против царя Василия Шуйского, который и был свергнут с престола.

Весть о присяге Можайска и Ржева между тем успела проникнуть в Москву, и таким образом почва для приглашения Владислава от лица Боярской Думы и «всей Москвы» была достаточно подготовлена.

Члены Боярской Думы и большинство других бояр отнеслись к этой мысли сочувственно, а другие одобряли ее, не находя другого исхода одновременно для предотвращения разгрома Москвы поляками и для устранения Тушинского вора, за которого стояла московская чернь. Но духовенство, в особенности патриарх Гермоген, не разделяло этого взгляда и не одобряло предложения избрать «иноземного царевича», опасаясь, что это избрание угрожает Руси введением «латинской веры». А когда патриарх Гермоген продолжал настаивать на избрании русского православного царя, то, как говорит современник, «люди, закрыв уши чувственные и разумные, посмеялись над увещанием патриарха и разошлись». Не подействовали также и слова митрополита Филарета, который говорил с Лобного места: «Не прельщайтесь; мне самому подлинно известно королевское злоумышление над Московским государством; хочет он с сыном им завладеть и нашу истинную христианскую веру разорить, а свою латинскую утвердить».

Впоследствии Гермоген, видя общее желание, скрепя сердце, готов был согласиться на избрание королевича, но под неременным условием, чтобы королевич принял православную веру.

В пользу королевича склонялся одно время и митрополит Филарет, о чем свидетельствуют сохранившиеся его грамоты.

Из русских кандидатов на престол некоторые бояре хотели иметь царем князя Василия Голицына, представителя знатного и именитого рода, но он не имел достаточной поддержки, и в конце концов вопрос об избрании Владислава был решен.

И вот от имени и по поручению бояр князь Мстиславский, Голицын и Мезецкий с думскими дьяками Телешневым и Луговским начали переговоры с начальником польских войск Жолкевским относительно условий, на которых королевич Владислав должен был занять Московский престол.

В переговорах по поводу избрания представителя Боярской Думы нарочно подчеркивали, что Москва «по доброй воле» сама пришла к мысли о Владиславе, и утверждали, что Владислав избран «всем государством». «Все Московское государство только и желает, чтобы иметь государем королевича Владислава», — говорили представители Думы и прибавляли: «все надеются, что под его правлением снова наступит золотое время для Московского края... но с тем, чтобы королевич принял православную веру». Поляки отвечали, что вопрос о перемене веры нужно предоставить самому королевичу; невозможно насильем заставить его отречься от римско-католической веры, и что, во всяком случае, дело это может решить только король.

На основании предварительных переговоров был выработан особый договор, который был подписан 17 августа 1610 года обеими сторонами, то есть уполномоченными Боярской Думы — с одной и гетманом Жолкевским и другими польскими военачальниками, находившимися при гетмане, — с другой. В договоре было постановлено, что русские отправят к королю Сигизмунду, осаждавшему Смоленск, посольство просить его сына себе в цари и разрешения принять последнему православие. Само избрание королевича на Московский престол считалось делом окончательно решенным. По заключении договора в двух шатрах, поставленных на Девичьем поле, происходила торжественная присяга новоизбранному царю. Вслед за тем во все города были посланы гонцы с известием об избрании нового царя, и там стали собирать жителей и заставляли их целовать крест на верность Владиславу.

В один день в Москве присягнуло 10 000 человек, а общее число присягнувших в столице, по словам одного современника, достигло 300 000.

Основываясь на этой присяге, поляки стали чеканить медали на избрание королевича, печатали его портреты с надписью «Владислав, принц польский, королевич московский», отливали монеты с надписью «Великий князь Владислав Зигмондович». В самой Москве имя новоизбранного царя поминалось даже в церквах и печаталось в церковных книгах.

Московское посольство тем временем сделало все приготовления, чтобы исполнить возложенное на него поручение, и в числе 1000 человек, представителей всех сословий, с огромной свитой и охранным польским отрядом выехало из Москвы 11 сентября в осаждавший Смоленск польский лагерь.

Во главе посольства были поставлены князь Василий Голицы и Филарет Никитич Романов, к которым в качестве товарищей были приставлены: князь Мезецкий, думный дворянин Сукин, дьяки Луговский и Сыдавной, новоспасский архимандрит Евфимий, троицкий келарь Авраамий Палицын, угрешский игумен Иона и вознесенский протопоп Кирилл.

Согласно полученному наказу посольство должно было требовать, чтобы Владислав немедленно принял православную веру, крестился у ростовского митрополита Филарета и смоленского архиепископа Сергия и в Москву прибыл уже православным, а когда Владиславу придет время жениться, то выбрать ему супругу в самой Москве православной веры; затем, чтобы король привел с собою только необходимую свиту из поляков и литовцев, и т. д.

Король принял посольство, но из ответа, который от имени короля давал канцлер Сапега, послы вынесли убеждение, что король не хочет дать в цари своего сына, ссылаясь на его молодость, и требует присяги на свое имя.

Известие об этом, полученное в Москве в начале декабря, возмутило многих русских людей, а в особенности патриарха Гермогена: в ответе Сигизмунда они усмотрели замысел короля завладеть Русью, подчинить себе все Московское государство, ввести в нем католическую веру, объединить под одной короной Польшу, Литву и Москву. Москва заволновалась. Смелые воззвания Гермогена, убеждавшего стоять за православную веру и твердо придерживавшегося своего прежнего решения, что царем Московским он признает королевича лишь в том только случае, если последний примет православие, привели к открытому восстанию против поляков. И, хотя часть находившихся под Смоленском послов и других знатных лиц, обольщенная королевскими наградами и щедро раздававшимися им поместьями и денежными окладами, готова была присягнуть королю Сигизмунду, вопрос о царствовании Владислава был окончательно отклонен.

В это время Тушинский самозванец из мести был убит в Калуге одним татаринном. Смерть его развязала руки тем, кто раньше из страха перед самозванцем присягал королевичу Владиславу. Со смертью Тушинского вора и в Москве, и в других городах стали соединяться для отпора полякам. Душой восстания против поляков стал патриарх Гермоген, который начал рассылать грамоты по городам, поднимая народ. Ни угрозы со стороны польского военачальника Гонсевского, заменившего Жолкевского, ни заточение в темницу не в состоянии были изменить решения патриарха. Наступили знаменитое восстание против поляков, стычки с поляками на улицах Москвы, пожар столицы, сдача поляков и, наконец, изгнание их земским ополчением с князем Пожарским и Мининым во главе.

А затем — съезд выборных от всей земли людей для избрания царя, причем прежде всего решено было «литовского и свийского короля и их детей, за их многие неправды и иных некоторых земель людей (т. е. иностранных принцев) на Московское государство не обирать».

Кандидатов на престол из числа бояр оказалось довольно много. В числе их был намечен и князь Пожарский, который, однако, отклонил честь избрания, считая себя недостойным стать царем. К тому же многие находили, что избрать его в цари нельзя, так как он происходил из захудалого рода; князь Федор Иванович Мстиславский, другой кандидат, был очень стар да, кроме того, его обвиняли в том, что он слишком сочувствует полякам; князь Иван Михайлович Воротынский был свояк Василия Шуйского, и его имя было связано с минувшими печальными событиями; князь Василий Васильевич Голицын, имя которого указывалось многими, находился в плену у поляков; князь Димитрий Трубецкой запятнал себя службою второму самозванцу. В конце концов выбор остановился на Михаиле Федоровиче Романове, который принадлежал и к знатному роду, находившемуся в родстве с прежними царями, и не был замешан в событиях, связанных со смутою, и, наконец, был сыном всеми уважаемого митрополита Филарета, пострадавшего при Борисе Годунове.

Королевич Владислав и польская знать видели в избрании Михаила только измену со стороны бояр. На самом, однако, деле причины, почему Москва отреклась от Владислава, были гораздо глубже. Поляки думали, что достаточно склонить бояр на свою сторону — и дело будет сделано. О народе они, как замечает один из историков, совсем забыли и вовсе не ожидали отпора с его стороны. Не подумали поляки и о том, что была на Руси могучая сила, способная вызвать народ на смертную борьбу. Эта сила была православная вера, которой грозила опасность со стороны поляков. И народ не мог стоять на стороне Владислава, желал иметь настоящего русского православного царя. И только такой царь мог считаться в глазах русского народа законным, Божиим промыслом намеченным.

Тем не менее королевич Владислав Сигизмундович не отказался от мысли стать русским царем и пытался возратить себе Московский престол, хотя в Польше далеко не все одобряли затею своего короля, считали ее опасной и находили, что для поляков от того, что королевич Владислав станет Московским царем, особенно пользы не будет. Но были и сторонники затеи Владислава. И, когда собравшимся на сейм знатым польским вельможам был предложен вопрос, согласны ли они, чтобы королевич отправился с войском добывать себе Московскую корону, большинство ответило «да», поставив лишь условием, чтобы поход продолжался не больше года. И вот в 1617 году королевич Владислав с большою армией, во главе которой стоял гетман Ходкевич, выступил в поход на Москву.

Польский сейм, ассигнуя средства на этот поход, избрал из среды магнатов восемь советников. Им указаны были условия, на которых Владислав может заключить мир с Московским государством и принять, в случае успеха похода, Московский престол. Часть русских земель, в том числе Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский и др., должна была отойти к Польше, торговые пошлины между обоими государствами должны были быть уничтожены, и торговля между ними свободна. Москва должна

была отречься от притязаний на Эстонию и Ливонию, и т. п.

На торжественных проводах королевича в поход глава католической церкви в Польше, архиепископ-примас, произнес длинную речь, в которой, обращаясь к будущему «царю Московии», сказал:

«Рукой вашего высочества руководит Всевышний и повелевает вам привести московов к алтарю католичества, извлечь их из мрака к свету, сделать их последователями истинной, а не искаженной веры. За такое намерение вы получите славу ваших предков Ягеллы и Мстислава, а потому мы уповаем, что вы будете действовать не опрометчиво, а с осторожностью и благоразумием; соглашаясь с волей вашего родителя, будете стремиться к соединению обоих государств в одно целое и возвратите вашему отечеству принадлежавшие ему земли; достигнув же Московского престола, будете защищать вашу родину и способствовать ее процветанию. Мы же будем возносить усердные моления о даровании вам побед и славы».

Владислав отвечал, что он исполнит все, о чем упоминал примас, «для славы Божией и св. католической веры, для расширения своего отечества и завоевания северного государства».

Добравшись с войском до Вязьмы, королевич отправил в Москву грамоты, в которых предлагал москвичам выдать своего государя и примкнуть к сторонникам королевича. С этими грамотами были посланы в Москву Ададуrow и смоленский дворянин Zubow, но в Москве их схватили и, наказав плетьми, отправили в Сибирь.

Когда поляки, двигаясь дальше, подошли к Москве, Михаил Федорович 9 сентября 1618 года на Соборе обратился с таким словом:

«С Божьей помощью хочу я постоять за православную веру против врага нашего и против его латинской веры. Доколе от Господа станет нам силы, будем в Москве в осаде сидеть и от врагов отбиваться... и вы бы, митрополиты, бояре и всяких чинов люди, за нашу православную веру постояли и со мною в осаде сидели бы; а на королевичеву сторону и ни на какую прелесть латинскую не поддавались бы»...

Все московские люди, от митрополита до простого жильца, от мала до велика, как свидетельствует летопись, поклялись крепко стоять за государя, за православную веру и за Москву.

От имени Собора были отправлены грамоты в другие города. В этих грамотах все население приглашалось «помощь учинить» против угрожавших столице поляков: служилые люди должны быть готовы к походу, а торговые и посадские — дать займы денег на военные расходы.

Королевич Владислав надеялся, что, когда он подойдет с войском к Москве, к нему опять примкнут многие бояре и, как раньше, пожелают видеть его царем. Но он ошибся. Были, правда, отдельные перебежчики, но почти все знатные бояре и весь народ твердо стояли за Михаила Федоровича, «всей землей избранного царя».

Убедившись, что осада не приведет к желаемой цели, королевич решил штурмом взять Москву. Штурм оказался, однако,

неудачным. Это заставило Владислава начать переговоры о мире. Они начались 20 октября на речке Пресне, но не привели к соглашению. Наконец, 1 декабря 1618 года в деревне Деулине (в 5 верстах от Троице-Сергиевской лавры) был заключен мир на 14 лет и 6 месяцев. По этому миру Михаил Федорович отказался от титула князя Смоленского и Польше были уступлены Смоленск и Северские земли.

Во время переговоров, предшествовавших этому миру, когда уполномоченные королевича указывали на незаконное будто бы, по их мнению, избрание Михаила Федоровича, представители Московского правительства отвечали: «Не дали вы нам королевича тогда, когда мы все его хотели и долго ждали, и мы другого государя себе выбрали».

Хотя по Деулинскому миру Владислав и признал законность царя Михаила Федоровича, он все-таки не отказался от своих притязаний на Московский престол. Вступив после смерти короля Сигизмунда в 1632 г. на польский престол, королевич — в то время уже король Владислав IV — вновь стал готовиться к походу на Москву. Но Московское правительство его предупредило и, собрав многочисленное войско, выслало его навстречу полякам и начало осаду Смоленска в 1633 году. В это время король получил весть, что турки собираются напасть на Польшу. Это обстоятельство в связи с отсутствием денежных средств, необходимых для ведения продолжительной войны, заставило Владислава поспешно заключить с Москвой мир на речке Полянковке, близ Вязьмы. По этому Полянскому договору Владислав окончательно отказался от своих притязаний на Московский престол и признал Михаила Федоровича царем и братом. А вслед за тем, 23 апреля 1634 года, король Владислав с шестью сенаторами, в присутствии московского посла, присягнул в костеле в Варшаве на хранение договора.

Загадочный

ФЕВРАЛЬ

В первых числах марта 1726 года, то есть в начале второго года царствования императрицы Екатерины I, у князя Александра Даниловича Меншикова в его роскошном петербургском доме-дворце на Васильевском острове был большой прием. По случаю приезда в столицу великого гетмана литовского Сапеги Меншиков пригласил к себе всех членов недавно перед тем учрежденного Верховного Тайного Совета, весь генералитет, всех сановников и вельмож с женами и дочерьми. Обещала прибыть на торжество и сама императрица.

В ожидании приезда государыни гости любовались дорогим убранством дворцовых покоев — штофными и гобеленовыми обоями, люстрами из цветного хрустала с золотыми и серебряными ветвями, большими венецианскими зеркалами, персидскими коврами, дивной работы диванами и креслами, на высоких спинках которых изображен был герб хозяина с княжескою короною, столами на вызолоченных ножках с мозаикой из разноцветного дерева, представлявшей зверей и птиц, и другими диковинками, которыми Меншиков щедро украсил свой дворец.

Когда уже все гости были в сборе, с другого берега Невы отошла раззолоченная снаружи большая императорская лодка, в которой сидела Екатерина I с дочерьми и герцогом Голштинским. Лодка причалила к разукрашенной знаменами и флагами набережной против дворца князя.

На пристани императрицу поджидал Меншиков вместе со своим гостем Сапегою, одетым в атласный польский кунтуш с дорогим турецким поясом, к которому была прикреплена боль-

шая сабля, украшенная драгоценными камнями редкой красоты.

— Здравствуйте, пан гетман! Рада видеть вас в моей столице, — произнесла государыня, подавая гостю руку, которую тот, низко кланяясь, поцеловал и выразил свою радость по поводу того, что на его долю выпало счастье побывать в славном городе «Петерсбурхе», о котором рассказывают столько чудесного, и еще большую радость, которую ему доставляет случай повидать императрицу, знаменитую супругу «могущественного царя всея России...»

Поддерживаемая с одной стороны гетманом, а с другой — князем, Екатерина медленно поднялась по лестнице, через шпалеры расставленных по ступеням разодетых лакеев и гайдуков, и направилась ко дворцу, где у подъезда ее встретила княгиня Меншикова с двумя юными дочерьми.

Поздоровавшись с собравшимися гостями, Екатерина подозвала к себе Сапегу и удалилась с ним в одну из ближайших комнат, где удостоила гетмана продолжительного разговора наедине.

Важный гость, в честь приезда которого был устроен у князя Меншикова торжественный прием, великий гетман литовский, староста бобруйский и генеральный великопольский, Ян-Казимир Сапега принадлежал к числу знатнейших и богатейших польских магнатов. Он владел огромными родовыми именьями в Литве, обширными поместьями в Великой Польше и несметными богатствами.

Гетман гордился, однако, не только своим богатством, но и древним происхождением: Сапеги считали себя прямыми потомками Гедимины.

В судьбах России видную роль играли Лев Сапега (1557—1633), которому некоторые историки приписывают план посадить на московский престол самозванца с целью присоединить затем Московское государство к Польше, и Ян-Петр (1611—1659), поддержавший второго самозванца, Тушинского вора, и прославившийся осадой Троицкого монастыря.

Сапега, приехавший в Петербург в качестве гостя князя Меншикова, был сыном Францишка — конюшего, то есть шталмейстера при дворе короля Яна Собеского. Он принадлежал к богатейшим представителям рода Сапег. В юности провел пять лет за границей, отправленный туда в 1672 г. овдовевшей матерью, старавшейся дать сыну возможность пополнить домашнее образование, а главное — усовершенствоваться в военном деле. Вскоре по возвращении из-за границы молодой Сапега пожалован был гетманской булавой. Чин великого гетмана считался самым высоким в польско-литовском войске.

Появление Яна-Казимира Сапег на арене истории совпало с печальной эпохой Польши, эпохой бескорольевья, подготовившей падение Речи Посполитой, когда за смертью короля Яна Собеского (1696 г.) на освободившийся польский престол заявили свои притязания сразу десять претендентов. Среди них были: сын покойного короля Яков Собеский, поддерживаемый Австри-



ей; принц Людовик де-Конти, ставленник короля французского Людовика XIV; саксонский курфюрст Фридрих-Август, у которого явился покровитель в лице Петра Великого; познанский воевода Станислав Лещинский, за которого стоял Карл XII; баварский курфюрст Максимилиан-Эммануил, зять умершего короля, которого хотела посадить на престол королева-вдова, и другие.

Каждый из претендентов старался привлечь на свою сторону польскую шляхту деньгами и обещаниями. Это было время самых беззастенчивых подкупов и интриг, когда польский престол, по выражению одного историка, «продавался с аукциона», когда знатные сановники и вельможи готовы были вручить благополучие своей родины не достойнейшему, а тому, кто больше платил и больше обещал...

Сапега в этом отношении был не лучше и не хуже других польских магнатов конца XVII и начала XVIII века: он принимал деятельное участие в торгах за престол. Сначала он поддерживал вместе с другими Сапегами партию принца де-Конти, но, когда у последнего опустела казна, он на съезде польской шляхты 1697 г. подал свой голос за другого кандидата — Станислава Лещинского. Когда же избранным оказался наиболее щедрый из претендентов — саксонский курфюрст, предусмотрительно перешедший из лютеранства в католическую веру, Сапега, как и все другие члены его рода, поспешил примириться и с этим избранным.

Сапеги в то время занимали очень важное место среди польской знати в Литве. Но, имея в своих руках и в руках своих сородичей все высшие должности, они стали притеснять мелкую шляхту самым непопустительным образом. Грабежи, взятки, лишение свободы вольных граждан, наезды — все это было в обычае у Сапег. Государственный казначей, собирая подати, глумился над теми, которые не принадлежали к сторонникам Сапег, а гетман выжатые подати самовольно распределял в войске, уплачивая жалованье тем, кто относился к нему сочувственно, и отказывая противникам. Кроме того, он набирал полки из венгерцев и литовских татар и приказывал им преследовать тех, которые к нему не хотели пристать. Все это делалось для того, чтобы страхом принудить Литву при предстоявших новых выборах короля подать голос за одного из Сапег.

Долго терпела литовская шляхта притеснения, наконец не выдержала и взбунтовалась. Образовав под начальством витебского каштеляна Коцела вооруженный союз — конфедерацию, — шляхта напала на войско Сапег под Олькениками, разбила его, а одного из Сапег, конюшего Михаила, убили. После этой победы олькеницкая конфедерация учредила суд над Сапегами и, обвинив их в государственной измене, приговорила как самих Сапег, так и всех их сторонников к устранению от должностей, потере чести и имений и изгнанию. Между прочим, Сапегам ставили тогда в вину, что они хотели будто бы оторвать Литву от Польши, сделать ее самостоятельным государством, к чему-де подговаривал их будто бы австрийский император.

Сапеги поспешили укрыться в Пруссию и оттуда отправили послов к королю Августу с просьбой о помощи. Но Август, играя

двойственную роль, с одной стороны как будто старался примирить враждующих, с другой же — поддерживал взбунтовавшуюся шляхту, радуясь поражению зазнавшихся властолюбивых магнатов, ограничивших его собственную власть.

Находившийся в числе приговоренных к изгнанию Ян-Казимир Сапега, мстя Августу, обратился к Карлу XII и убедил шведов направить войска в Польшу, обещая содействовать свержению с польского престола курфюрста. После поражения, нанесенного Карлом XII саксонским войскам Августа, последний, желая переманить на свою сторону Сапег, отправил к ним особую миссию с предложением примирить их со шляхтою, но цели своей не достиг.

Между тем Карл XII, преследуя войска Августа, двигался в глубь Польши и разбил курфюрста под Клишовом (между Варшавою и Краковом) и занял Краков.

Вскоре после этого Август на сейме в Люблине потребовал отобрания у Сапег, как сторонников Швеции, их поместий и должностей. Сейм, состоявший преимущественно из лиц, расположенных к Августу, это требование утвердил. Но вслед за тем часть поляков, недовольная решениями сейма, отказалась повиноваться Августу, объявила его в 1704 г. лишенным польского престола, провозгласила бескоролье и выставила в кандидаты на престол поддерживаемого Сапегами королевича Якова Собеского. Когда же Август изменнически захватил последнего в дороге и заключил в замок Плейссенбург, на польский трон был посажен ставленник Карла XII, воевода познанский Станислав Лещинский, родственник жены Яна-Казимира Сапег, человек молодой, неопытный, про которого русский посланник в Польше, князь Долгорукий, выразился: «Это не Krol, а krolik» (это не король, а кролик).

Август и поддерживавшая его шляхта обратились за помощью к Петру Великому, предлагая заключить союз для общей борьбы со шведами, Петр, имея, конечно, в виду исключительно интересы своего государства, охотно принял предложение и двинул свои войска в Литву против шведов. Начались жестокие, разоряющие край битвы и передвижения то шведских, то русских, то саксонских, то польских войск.

Ян-Казимир Сапега, во главе снаряженного им на личный счет войска, сражался на стороне Карла XII и, между прочим, в 1707 г. одержал победу над армиею Петра Великого. Эти победы, в связи с удачным походом Карла против Августа сначала в Польшу, а затем в Саксонию, привели к миру, заключенному в замке Альт-Ранштадт, под Лейпцигом, отречению Августа II от польского престола и провозглашению королем Лещинского, который назначил Сапегу в награду за поражение, нанесенное армии Петра, «великопольским генеральным старостою».

В 1708 году отдельные отряды Яна-Казимира Сапег имели несколько стычек в Польше с русскими войсками, находившимися под начальством генерала Гольца (немца, служившего сначала в Бранденбургских полках, затем в Голландии, потом в Польше и перешедшего в 1707 году на русскую службу в чине гене-

рал-фельдмаршал-лейтенанта). Одна из этих стычек, при Лудухове, чуть не окончилась гибелью Сапеги; он потерял до 2500 человек; под самым Сапегою была убита лошадь, девять знамен войска Сапеги и бунчук самого гетмана попали в виде трофеев к русским. Но вслед за этим Сапега под Наквашею нанес неожиданно поражение своему противнику и, подкрепленный вновь набранным войском, преследовал русские отряды.

Продолжая служить шведам, Сапега во время предпринятого Карлом XII похода в глубь России «очищал дорогу Карлу XII», как значится в современной польской реляции.

После нанесенного русской армией шведам под Полтавой поражения, Сапега, считая дело Карла XII окончательно проигранным, перешел со всем своим войском на сторону Августа. Тот принял с распростертыми объятиями знатного гетмана и предложил ему участвовать в свидании с Петром Великим в Торуне (Торне).

Во время устроенного по этому случаю обеда Сапега сидел за одним столом с царем и королем.

За обедом Петр, обращаясь к сидевшему напротив Сапеге, заметил:

— Вы, пан гетман, одержали над моим войском две победы.

— Не две, а четыре, — поправил Сапега.

— Как четыре? — вспыхнул Петр, ударяя кулаком по столу.

— Я каждую победу над таким стойким и храбрым войском, как войско Вашего Царского Величества, считаю за две победы, — ответил Сапега.

После обеда Петр обратил внимание на роскошную саблю Сапеги и просил подарить ему ее. Сапега, подавая царю саблю, сказал:

— Саблю дарю, но не руку, ибо ее для отечества храню.

Эти слова гетмана записаны Сапегами в историю их рода.

Во время свидания в Торне король Август предложил гетману графский титул. Гордый своим богатством и знатностью рода, Сапега отклонил эту честь.

— Мне графского титула не надо, — сказал он, — я — Сапега.

После свидания с Петром и Августом имя Яна Сапеги исчезает со страниц истории того времени. Гетман покидает военную деятельность и удаляется в поместье своей жены в Великой Польше.

Прошло немного времени, и Сапега, узнав о намерении Карла XII объявить с помощью турок новую войну Польше и России, снова пытался поднять восстание против Августа. Существует предположение, что он сам мечтал воспользоваться неурядицей в Польше, чтобы стать польским королем. Восстание не удалось, но Сапега не расстался со своими честолюбивыми надеждами, предполагая, что если не при помощи Карла XII, то при содействии Петра Великого ему удастся достигнуть намеченных замыслов. С этой целью он задумал женить своего сына Петра на старшей дочери Меншикова, в расчете, что Меншиков уговорит Петра поддержать кандидатуру Сапеги и своим влиянием, и своим войском. И вот, в 1720 году Сапега отправляет Меншикову

в Петербург старосту равского Груздинского с письмом, в котором излагает свой проект и просит Меншикова обсудить его и взвесить.

«Светлейший Римского и Российского государств князь», «герцог Ижорский», «рейхсмаршал», «над войском командующий генерал-фельдмаршал», «действительный тайный советник», «генерал-губернатор С.-Петербургский» и т. д. и т. д. — Меншиков отнесся весьма благосклонно к проекту брака своей дочери с молодым Сапегой, стольником великого княжества Литовского.

Помимо того, что гордому князю очень улыбалась мысль видеть со временем свою дочь польской королевой, у Меншикова были и другие соображения.

Человек простого происхождения, по выражению князя Куракина, «породы самой низкой, ниже шляхетства», сын не то московского мещанина, не то приволжского крестьянина, служившего капралом в потешной роте, торговавший в детстве пирогами на улицах Москвы, а затем служивший денщиком у Лефорта, Меншиков очень тяготился тем, что окружавшие его представители родовитой московской боярской знати кичились своими предками, между тем как он сам не мог назвать какого-нибудь знатного сородича. Услужливые геральдики помогли князю: они придумали Меншикову знатного предка в лице какого-то литовского дворянина «Меншика», который будто бы переселился в Москву и стал родоначальником рода Меншиковых. По желанию Меншикова, эта мифическая родословная была внесена в грамоту на княжеское достоинство, полученную любимцем Петра, но это ничуть не изменило взгляда русской аристократии на Меншикова, как на человека незнатного происхождения.

Выдачей дочери замуж за польско-литовского вельможу, принадлежавшего к одному из виднейших и старейших литовско-польских родов, князь Меншиков надеялся «увеличить» свою «родовитость» и возвысить свое положение среди русских вельмож, втихомолку глумившихся над его низким происхождением.

И хотя княжне Марии Александровне Меншиковой шел тогда еще только девятый год, а Петру Сапеге девятнадцатый, проект женитьбы был окончательно решен.

По приглашению Меншикова юный Петр Сапега приехал со свитой в Петербург, поселился в доме будущего тестя, стал товарищем игр юной княжны и 5 сентября 1721 года состоялся торжественный сговор юной пары.

После этого Петр Сапега остался жить в Петербурге, а ближайший опекун его, староста Груздинский, был принят на русскую службу полковником с высоким по тому времени жалованьем 444 червонца в год.

Отправляя Груздинского в Петербург, Сапега преследовал еще и другую цель: он хотел выгодно закончить многолетнюю тяжбу с Меншиковым из-за имения Сапег в Опшмянском уезде.

Меншиков, как известно, в целях обогащения не пренебрегал средствами. Недаром Ключевский называет его «первым казнокрадом в государстве». В числе не совсем чистых дел Меншикова было приобретение за бесценок громадных дубровицких име-

ний, принадлежащих роду Сапег и оцениваемых в несколько миллионов польских золотых.

Пользуясь неурядицей, царствовавшей в Польше в начале XVIII века, и изгнанием Сапег, Меншиков купил упомянутые поместья. Вернувшись в Литву, Сапега стал оспаривать законность покупки и подал жалобу в суд. Возник длинный процесс. Опасаясь неприятных разоблачений, Меншиков предложил Сапеге прислать в Петербург своих уполномоченных для личных переговоров. Исполняя желание Меншикова, Сапега в 1716 году прислал в Петербург двух уполномоченных, Красовского и Зеленацкого. Но они обманули своего доверителя и, подкупленные Меншиковым, согласились принять от него денежные обязательства на сравнительно незначительную сумму. Вследствие этого процесс был опять возобновлен.

Дело касалось суммы 2 493 000 польских золотых и окончилось присуждением в 1719 году Сапегам с Меншикова суммы в 250 000 талеров.

Примирившись с решением суда, Сапега все-таки мечтал о том, чтобы вернуть роду Сапег огромные дубровицкие имения. Брак Петра Сапег с дочерью Меншикова явился удобным для этого средством.

Брак молодого Сапег с княжной Марией Меншиковой считался делом решенным и был отложен лишь из-за молодости невесты. Но затем наступило охлаждение Петра к его «Алексашке» из-за злоупотреблений, в которых он был уличен, лишение Меншикова звания президента военной коллегии, опасение полной царской опалы и затем смерть Петра I — и свадьба княжны была отложена на неопределенное время.

Вступление на престол Екатерины I и связанное с этим событием возвышение Меншикова вновь оживили забытый одно время проект брака Сапег с княжной.

132
Между тем положение в Польше сильно изменилось. Король Август прочно засел на престоле, и надежды на то, что Сапеге удастся стать польским королем, а княжне Меншиковой польской королевой, рухнули. Но у Меншикова явился другой проект: чтобы упрочить свое положение, он решил добиться с помощью русских штыков избрания на вакантный тогда престол Курляндского герцогства. Меншикову нужна была для этого поддержка Сапег и их партии, так как Курляндия находилась в ленной зависимости от Польши. И Меншиков стал торопить с обручением и с этой целью пригласил Сапегу в марте 1726 года в Петербург.

Сапега принял приглашение и с огромной свитой, как подобает знатному вельможе, в сопровождении вооруженных всадников, многочисленной челяди отправился в гости к всемогущему князю «рейсхмаршалу», устроившему в честь приезда гостя торжественный прием.

На следующий день после приема Меншиков повез своего гостя к императрице Екатерине I во дворец.

Императрица приняла Литовского гетмана милостиво и удостоила его опять продолжительным разговором наедине.

После этого Сапега получил приглашение посещать императрицу каждый вечер. А 10 марта 1726 года, то есть за два дня до объявленного обручения юного Сапеги с дочерью Меншикова, Екатерина пожаловала литовскому воеводе чин генерал-фельдмаршала русской армии и вручила ему украшенную дорогими камнями фельдмаршальскую булаву.

Чин генерал-фельдмаршала был тогда в России еще новым, недавно введенным. Ввел его Петр в 1699 году как высший чин в войске, по примеру Швеции, взамен прежнего московского сана «воеводы большого полка» (то есть армии). Первым, удостоившимся получить должность фельдмаршала, был граф Головин, за которым последовали при Петре же: герцог Крон, граф Шереметев, князь Меншиков, князь Репнин, — и при Екатерине I: князь Голицын и граф Брюс. Все это были люди, служившие в русской армии, отличившиеся на поле брани с врагами России, и своим высоким званием они обязаны были тем военным заслугам, которыми они умножили воинскую славу России.

Не то Сапега — по счету седьмой генерал-фельдмаршал русской армии, — у него этого рода заслуг не было. Он был человек совершенно чуждый русской армии, никогда в этой армии не служивший. Поэтому честь, выпавшая на долю Сапеги, вызвала большое недоумение и в военных кругах, и в придворных сферах. Многие вспоминали, что Сапега в юные годы стоял во главе войск, сражавшихся с русскими. И хотя с тех пор прошло почти 20 лет и Сапега из противника России и русских стал ее сторонником, все же военные заслуги его казались слишком ничтожными для получения столь высокого военного звания. И современники ломали головы, стараясь проникнуть в тайну императрицы и разгадать причины выпавшей на долю гетмана чести.

Среди многочисленных догадок по этому поводу была особенно выдвинута одна: Сапега оказал будто бы императрице большую личную услугу при разыскании в Литве родственников императрицы — Скавронских.

Хотя вопрос о происхождении императрицы Екатерины I является спорным и не вполне объясненным, однако наиболее вероятным, согласно исследованиям историков, представляется, что Екатерина была дочь литовского крестьянина Скавронского. Вступив после известных перипетий на российский престол, императрица вспомнила о своих родственниках, оставшихся в Литве, приказала их разыскать и решила приблизить к себе. И вот, в 1726 году Скавронские были привезены в Петербург из деревень Догабень, Кегемь и др., где одни из них жили в качестве крепостных, другие нанимались в качестве ямщиков между Ригой и Петербургом. Между прочим, существует легенда, будто Сапеге однажды во время проезда по направлению к Риге загородил дорогу какой-то ямщик. Вспыльчивый гетман обругал ямщика. Тогда тот, оскорбленный, намекнул на то, что он родственник императрицы. Сапега заинтересовался личностью ямщика, стал расспрашивать его и будто бы первый подал повод к розыску семьи Скавронских. Рассказ этот, однако, маловероятен. Но предположение, будто Сапега оказал какую-то «незаме-

нимую услугу» императрице розыском ее родственников, признается многими современниками.

Существует предположение, будто Сапега получил достоинство русского фельдмаршала исключительно благодаря покровительству Меншикова, который этим путем надеялся склонить литовского гетмана оказать ему, Меншикову, содействие к достижению Курляндского престола.

Наконец, высказывалось предположение, что Меншиков имел в самом деле в виду поставить Сапегу как преданного себе человека во главе русской армии, так как гордый князь имел основание не доверять русским военачальникам и опасался, что они могут воспользоваться случаем, чтобы поднять против него армию...

Как бы то ни было, факт пожалования Сапеге фельдмаршальского чина представляет собой явление из ряда вон выходящее, тем более что это был первый случай, когда фельдмаршальский русский жезл вручался иноземцу... Правда, герцог Крон, который значился фельдмаршалом при Петре I, был тоже иностранец, но он состоял на русской военной службе и перешел на эту службу уже имея чин фельдмаршала, пожалованный ему саксонским курфюрстом Фридрихом-Августом. Сапега же был возведен в этот чин Екатериной.

Двенадцатого марта в хоромы Меншикова опять собрались гости. В этот раз — на обручение молодого Петра Сапегы с княжной Марией Александровной Меншиковой.

134

На празднество пожаловала императрица с императорской фамилией и собственноручно вручила жениху и невесте два драгоценных перстня, которыми они тогда же обменялись.

Обручение совершал архиепископ Феофан Прокопович и по этому случаю произнес одну из своих витиеватых речей.

После обряда состоялся роскошный обед, во время которого Меншиков щегольнул своим знаменитым золотым сервизом.

За обеденным столом находились: императрица Екатерина I, герцог и герцогиня Голштинские, царевна Елизавета Петровна и герцогиня Мекленбургская. Празднество затянулось далеко за полночь. Вечером дом Меншикова осветился разноцветными огнями, прозрачными аллегорическими надписями, гербами хозяина и Сапег. После ужина начались танцы, в которых особенно выделился эlegantный и стройный молодой Сапега, одетый впервые в модный тогда французский костюм, украшенный дорогими камнями. Этот костюм поднес ему его будущий тесть.

Во главе обеда Меншиков объявил, что дает в приданое за дочерью семьсот тысяч золотых (что составляло тогда около 85 000 рублей). Императрица же пожаловала невесте сто тысяч рублей и несколько деревень в России и Лифляндии, а жениху — чин действительного камергера своего двора.

Юный Петр Сапега, родившийся 25 января 1701 г., отличался, по отзыву современников, замечательной красотой. Кроме того, воспитанный французскими гувернерами и проведенный юные годы среди польской знати, он отличался теми утонченными манерами, которые были еще чужды тогда русской молодежи.

Юная княжна без ума влюбилась в своего друга детства, в то время как он относился к своей невесте равнодушно.

После обручения сына новый фельдмаршал оставался в Петербурге еще дней десять, а затем собрался в Литву, частью, чтобы устроить там свои дела, частью, чтобы предпринять необходимые шаги в целях обеспечения кандидатуры Меншикова на курляндский престол и вербовки сторонников этой кандидатуры.

Во все эти десять дней Сапега постоянно устаивался приглашения ко двору и проводил почти все вечера в комнате императрицы.

Перед отъездом фельдмаршала императрица оказала Сапеге новый знак своего благоволения, возложив на него (22 марта) орден Андрея Первозванного — опять-таки неизвестно за какие заслуги.

Хлопоты Сапеге относительно Меншикова не увенчались успехом: курляндцы решительно объявили, что не могут иметь Меншикова герцогом, ибо он «не немец и не лютеранского исповедания».

Эта неудача повлекла за собою охлаждение между Меншиковым и Сапегой, но императрица продолжала оказывать гетману свое расположение, а когда гетман вернулся опять в Петербург, он стал близким лицом при дворе, завсегдатаем устраиваемых императрицей вечеринок. Несмотря на свою болезненность и излишнюю полноту, императрица засиживалась до пяти часов утра на пирушках среди близких людей. В числе их Сапега занимал видное место.

Брак молодого Сапеге с княжной Меншиковой считался в это время уже решенным, и в первой четверти 1727 года предполагалась свадьба, как вдруг неожиданно дело расстроилось, или, вернее, было расстроено самой государыней, решившей выдать замуж за Петра Сапегу свою племянницу графиню Софью Скавронскую.

Последняя была дочерью Карла Самуиловича Скавронского, по одним сведениям, родного брата, по другим — близкого родственника Екатерины I, возведенного вместе с другими Скавронскими 5 января 1727 года в графское достоинство.

Странное и внезапное решение императрицы, отменившей предполагаемый брак Сапеге с княжной Меншиковой, явилось совершенно неожиданным для всех. Что побудило Екатерину I переменить первоначальное решение и выбрать в женихи племяннице юного Сапегу, осталось такой же тайной, как и пожалование Сапеге-отцу чина фельдмаршала.

В приданое за Софьей Скавронской Екатерина решила дать семьдесят тысяч рублей деньгами и несколько деревень в России близ Новгорода и в Лифляндии.

«Назначенная» невеста была молодая, необразованная, вырванная из крестьянской среды девушка, которую приглашенные для детей Карла Скавронского учителя еще не успели снабдить необходимым светским лоском. Будущий же тесть Сапеге был по своему происхождению незнатного рода, простой крепостной, притом грубый, неотесанный. Но... он приходился близким род-

ственником императрице, и это вполне заменяло блестящую родословную. Кроме того, благодаря щедротам Екатерины Карл Скавронский становился одним из богатейших людей в России. Между прочим, Екатерина подарила ему в Петербурге большой дом, выходявший одним фасадом на Миллионную, другим — на набережную Невы, с роскошной мебелировкой, несколько поместий, несколько тысяч душ крепостных и пр.

Взвесив все это, гетман не только одобрил проект брака, но уже стал вычислять, какие из этого брака можно бы извлечь выгоды для рода Сапег...

Брак юного Сапеги с графиней Софьей Карловной Скавронской был задуман императрицей тайком от Меншикова, который, естественно, был поражен, когда узнал о нем.

Но светлейший не растерялся; как вознаграждение за поруганную честь дочери он потребовал у Екатерины большую награду, а именно: согласие на женитьбу наследника престола цесаревича Петра Алексеевича с княжной Марией Меншиковой.

Чтобы расположить императрицу в пользу этого брачного проекта, Меншиков заплатил гофмейстерше Екатерины Анне Крамер 30 000 дукатов и заручился содействием влиятельного князя Дмитрия Голицына. Екатерина, сохранившая уважение и привязанность к Меншикову, которому она была так много обязана, дала свое согласие, несмотря на протесты и слезы цесаревен Анны и Елизаветы и неудовольствие знатных вельмож.

136 Несчастливая княжна Меншикова, скрепя сердце, должна была подчиниться воле императрицы и отца, хотя, по сохранившимся сведениям, она была сильно влюблена в своего жениха и предпочла бы стать женой стольника Сапеги, чем «нареченной невестой» будущего императора.

Цесаревны Анна и Елизавета, узнав о согласии, данном Екатериной на брак княжны Меншиковой с цесаревичем, бросились на колени перед матерью, просили отменить ее решение, представляя, какая горькая участь ожидает их обеих, если Меншиков будет тестем государя. Но Екатерина не отменила своего решения, успокоив дочерей, что вопрос о том, будет ли цесаревич Петр наследником, еще ею не решен и что Меншиков так заботится о ней и ее семействе, что отказать она ему в его просьбе не может.

И оба брака стали делом решенным: Сапега оказался женихом государевой племянницы, а его первая невеста «благовернейшею государынею невестою» с титулом «императорского высочества».

Обручение княжны с будущим императором не состоялось при жизни Екатерины вследствие последовавшей вскоре болезни и смерти государыни (17 мая 1727 г.). Но в завещании Екатерины было сказано, что государыня дает свое благословение на супружество между великим князем Петром Алексеевичем и княжной Меншиковой. Основываясь на этом завещании, Меншиков, спустя неделю после кончины Екатерины, 25 мая настоял на совершении торжественного обручения своей дочери с юным императором Петром II. И с того же дня княжну Менши-

кову стали поминать в церквах великой княжной и нареченной невестой государя.

Впоследствии подлинность завещания императрицы Екатерины оспаривалась. Утверждали, что оно было составлено голштинским министром Бассевичем, а подписано за императрицу цесаревной Елизаветой.

Спросили по этому поводу гетмана Сапегу, так как он не отходил от постели умирающей императрицы и должен был видеть, подписывала ли она в последнее время завещание, которое, по имевшимся сведениям, было составлено в последний день жизни Екатерины. Но Сапега ответил уклончиво, что ничего не видал и не слышал.

Со смертью императрицы оба Сапегы, отец и сын, лишились покровительницы и благодетельницы. Но, очевидно, гетман сумел упрочить свое положение. Об этом свидетельствует, между прочим, следующий факт. Когда 7 мая, на следующий день после смерти Екатерины, в Зимнем дворце для выслушивания завещания покойной собрались Царская Фамилия, члены Верховного Совета, Синода, Сената, генералитет и начальствующие лица, Сапега был в числе немногих сановников, «почтенных стулами», и сидел по правую руку тут же присутствовавшего юного императора. Затем он присутствовал на торжественном обручении юного императора Петра II с княжной Марией Александровной Меншиковой, нареченной невестой императора; он же первый поздравил Меншикова по случаю пожалования ему звания генералиссимуса и т. д.

Но гетман не сочувствовал честолюбивым замыслам Меншикова, решившего захватить власть в свои руки и отстранить юного императора под предлогом его неопытности и молодости. Не порывая со светлейшим, Сапега поспешил все-таки примкнуть к враждебной Меншикову партии Долгоруких, Трубецких, Голицыных, Репниных, Нарышкиных, которые только и ждали удобного момента, чтобы свергнуть «рейхсмаршала». Долгорукие и другие представители старой русской знати охотно приняли в свою среду Сапегу, и гетман стал видным членом в кружке лиц, близких к Петру II. Он сумел при этом сблизиться с первым любимцем юного царя, Иваном Алексеевичем Долгоруким. Этому сближению много способствовало то обстоятельство, что Долгорукий воспитывался в Польше, когда его дед был там посланником императора Петра I, и сохранил известные симпатии для поляков. Сапега знал все планы, которые лелеял юный, смелый Долгорукий, и, между прочим, был одним из немногих лиц, приглашенных к обеду 7 сентября 1727 года в Летний дворец (куда накануне переселился юный царь из дома Меншикова, уже решивший порвать все сношения со светлейшим), — к тому историческому обеду, во время которого поставлено было «сбросить иго Меншикова», арестовать светлейшего и удалить его в Раненбург (построенный самим Меншиковым в Рязанской губ.), а от княжны Марии Меншиковой потребовать возврата императору обручального кольца, стоившего около двадцати тысяч рублей, и считать состоявшееся обручение недействительным.

Этому историческому обеду предшествовали разрыв юного государя с Меншиковым и знаменательные слова юного царя: «Я покажу, кто из нас император — я или Меншиков!» — и изданное за подписью Петра приказание перевезти все вещи Меншикова в Петергофский дворец. А тотчас после обеда приказано было публиковать указ не слушать ни в чем Меншикова и повиноваться исключительно его, императора, повелениям. С этого же момента Меншиков уже не был допущен к императору.

Разжалованная невеста императора Петра II Мария Меншикова отправилась из Петербурга в Раненбург с отцом и всем семейством в богатом экипаже в сопровождении многочисленных слуг. Но уже в Твери экипаж был отобран у Меншикова, и всю семью посадили в кибитки, а в Раненбург, почти одновременно с Меншиковым, прибыл действительный статский советник Плещеев, командированный для производства следствия и допроса.

Первоначальное решение относительно поселения семьи Меншикова в поместье Раненбург было вслед за тем изменено: Меншиков был отдан под суд Тайного Совета, который обвинил его в целом ряде преступлений (до секретной переписки с шведским сенатом во время болезни императрицы Екатерины I включительно) и приговорил его к ссылке со всем семейством в отдаленный город Сибири Березов, Тобольской губернии, отобрав в казну все накопленные богатства и лишив всех чинов, орденов и пр.

В Березов Меншиковы были отправлены под конвоем 20 отставных солдат Преображенского батальона, состоявших под начальством поручика гвардии Сергея Крюковского. На содержание семьи Меншикова и десяти дворовых людей, которых ему разрешено было взять с собою, определено было правительством по пяти рублей в день.

Сапега должен был благодарить судьбу, что он не породнился со светлейшим князем: ведь он, несомненно, подвергся бы тоже ссылке и опале...

Судьба несчастной первой невесты юного Сапеги, Марии Меншиковой, известна: сосланная вместе с отцом в Березов, бывшая «государыня-невеста» должна была заниматься стиранием белья... в то время как ее сестра стирала белье...

Петр II за десять дней до своей смерти вспомнил о своей невесте и 9 января 1730 года отдал приказание Верховному Тайному Совету «освободить из ссылки детей Меншикова, с позволением жить, не въезжая в Москву, в деревне дяди их, Василья Арсеньева, и дать им на прокормление сто дворов, прислав из нижегородских Меншиковских деревень». Княжна Мария не дождала до этого «освобождения»: она скончалась в Березове 26 декабря 1729 года, спустя полтора месяца после кончины отца, похороненного на берегу реки Сосьви близ алтара построенной им церкви.

В это время бывший жених княжны Петр Сапега женился на Софье Скавронской: свадьба его состоялась 19 ноября 1727 года, причем в качестве приданого жених, кроме обещанных покой-

ной императрицей денег, получил еще громадные поместья.

В том же ноябре Сапега-отец был назначен или, вернее, наименован С.-Петербургским генерал-губернатором, то есть занял ту должность, которую раньше занимал князь Меншиков.

Но занимал он эту должность всего год: вследствие расстроенного здоровья он вынужден был оставить столицу и удалился в свое имение Равич в Великой Польше и уже не присутствовал на обручении Петра II с княжной Екатериной Долгорукой, которая заменила первую невесту императора (30 ноября 1729 г.).

Прожил фельдмаршал после этого недолго: он умер 22 февраля 1730 г., то есть вскоре после смерти четырнадцатилетнего Петра II. Похоронили его в церкви в Радимине рядом с умершею раньше женою.

Оставшийся в Петрограде сын Сапеги, не считая со вступлением на престол Анны Иоановны прочным свое положение и опасаясь, что его и его супругу при первом удобном случае может постигнуть судьба многих русских вельмож, принадлежащих к партиям Екатерины I и Петра II, решил покинуть Россию и вернуться в Литву. Он продал все пожалованные ему или полученные в приданое имения и, выручив от продажи огромную сумму — около двух миллионов тогдашних рублей, покинул Петербург.

Софья Карловна Сапега прожила недолго: она умерла в одном из великопольских имений Сапег и там похоронена. Вырванная из крестьянской среды, выросшая в деревне, бедная Софья Карловна не могла привыкнуть к роскошной, но скучной жизни аристократки и зачахла... Спустя несколько лет после ее смерти Петр Сапега женился вторично на Сулковской и дожил до глубокой старости: он скончался в 1771 году, на 70-м году жизни, совершенно порвав связь с Россией и своими родственниками по первой жене...

Прошло без малого двести лет с тех пор, как поляк Сапега занимал в русской армии высший чин, числился ее фельдмаршалом. За эти двести лет русская история обогатилась большим числом ценных исследований, осветивших многие события данной эпохи. Но личности и деяний гетмана Яна-Казимира Сапеги эти исследования не коснулись. Специального труда, посвященного Сапеге, в русской исторической литературе не существует. Нет подобного труда и на польском языке. И все то, что сообщено мною об этом поляке-фельдмаршале русской армии, собрано в виде клочков из разных источников, начиная с общей истории рода Сапег, изданной самими Сапегами на польском языке.

За четыре года пребывания на посту русского фельдмаршала, 1726—1730 гг., Сапега не проявил своей деятельности ничем. Между тем если даже допустить, что Сапеге был дан чин фельдмаршала только в качестве почетной награды, то, будь на его месте другой человек, более способный и даровитый, при том положении, которое занимал Сапега при дворе Екатерины I, он, несомненно, сумел бы выделиться, сумел бы сыграть более или менее видную роль. Сапега же, как фельдмаршал русской армии, сошел с исторической сцены, не записав своего имени

никаким деянием, которое сохранило бы его имя для потомства и заслужило бы быть занесенным на страницы истории.

Но как бы, однако, ни было, выпавшая на долю Сапеги странная судьба сделала его участником исторических событий, разыгравшихся в кратковременное царствование Екатерины I и в начале царствования Петра II. Фельдмаршалу-поляку и его сыну, быть может, помимо их воли и желания, суждено было в истории этого времени повлиять на ход событий. Не появившись Сапега в России, весьма вероятно, совершенно иначе сложились бы все меншиковские затеи, быть может, даже не состоялось бы вступление на престол Петра II и вся история России второй четверти XVIII века приняла бы другое направление.

Публикация АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.

ИРИНА ШВЕДОВА:

**«У МОИХ
ЗРИТЕЛЕЙ
ДОБРЫЕ
ГЛАЗА»**

Если верить Ириной маме, первый раз она запела еще в коляске. Это были «Подмосковные вечера», которые изо дня в день пиликал на аккордеоне сосед-самоучка. Однажды, когда он в очередной раз споткнулся, малышка, совсем как героиня Любови Орловой в «Веселых ребятах», не выдержала и допела за него конец фразы... Теперь у Ирины Шведовой свой репертуар, к выбору которого она подходит весьма придирчиво,



и свой зритель, вниманием и любовью которого она очень дорожит.

— Ирина, карьера много значит для вас?

— Карьера? Скорее это возможность заниматься любимым делом... Ради нее я фактически отказалась от личной жизни, да и с друзьями не могу часто общаться. Но считаю: сцена стоит всех этих жертв!

— Сейчас в шоу-бизнесе и на эстраде появилось много деловых людей. Как вы думаете, у вас есть деловая хватка?

— Наверное. Я круто поменяла свою судьбу. Ушла из драматического театра на эстраду. Рискнула бросить родной город и приехать в Москву, чтобы «завоевать» ее.

— А мне казалось, что у вас довольно гладкая дорога. Вы часто появляетесь в разных телепередачах, много гастролируете, о вас хорошо отзываются наши эстрадные мэтры...

— Может, со стороны все так и выглядит, но на самом деле я постоянно что-то преодолеваю, с чем-то борюсь. В детстве я постоянно конфликтовала со своим отцом. Он был очень требователен ко мне, боролся с моим отвратительным характером. Но тогда я этого еще не понимала. Позже, в театральном институте, появился человек, который ненавидел меня все четыре года, и это был... руководитель нашего курса. Ненавидел за то, что я была внучкой известных в Киеве актеров, и считал, что я попала в институт по блату. Хотя на самом деле это было не так. Чтобы спастись от его постоянных придирок, я работала вдвое, втрое больше, чем мои сокурсники. Потом оказалась в тени другого известного имени — Игоря Демарина, и опять

пришлось доказывать, что я не рядом с кем-то, а сама по себе...

Как видите, то, что кому-то удается с легкостью, без напряжения и усилий, у меня идет через преодоление препятствий, обстоятельств... Но не исключено, что я сама их и создаю... Или же просто пытаюсь опередить события — и в этом моя ошибка. Постепенно прихожу к мысли, что не надо пытаться обогнать время — все придет само...

— Вы часто ошибаетесь в людях?

— А я и не жду от них ничего сверхъестественного. Наоборот, то, что мне дают, с благодарностью принимаю... Могу понять и полюбить даже плохого человека, если увижу в нем что-то хорошее. В жизни я чаще руководствуюсь эмоциями и редко просчитываю ситуацию наперед. А это плохо! Вообще я человек настроения. Если скажу себе, что его нужно преодолеть, то преодолю, если же оказываюсь застигнутой врасплох, тогда с ним справиться труднее.

— Что вам больше всего мешает в вашем характере?

— Моя открытость. Должен оставаться «запас мощности» в самом себе, не надо отдавать всю энергию, а она у меня нередко уходит вся... Излишняя открытость — это все-таки определенная незащищенность, поэтому я пытаюсь бороться с ней.

— А как вы относитесь к паузам в своем творчестве?

— Положительно! Я их люблю. Паузы — вещь полезная. Ведь еще Экзюпери сказал, что слова мешают понимать друг друга. Они имеют огромное значение лишь на сцене — вокруг них строится все остальное. А в жизни я не придаю им большого значения. Суть кроется гораздо глубже...

— Чему бы вы еще хотели научиться в жизни?

— Многому! Особенно — в профессиональном плане.

— У вас есть специальное вокальное образование?

— Да. В театральном институте из меня, будущей драматической актрисы, упорно пытались сделать колоратурное сопрано, а у меня оказалось меццо...

— И до какой ноты вы дошли?

— О! Это было си второй октавы! Следующий этап — филармония, коллектив Юрия Богатикова. Потом — совместная работа с Игорем Демариным. Он очень многое мне дал, указывал на мои промахи, помогал исправлять недостатки. Кроме того, я имела возможность наблюдать за его творчеством (а он очень профессионален как певец) и заимствовать кое-какие приемы.

— Как вам кажется, в чем ваш «конек»?

— Во-первых, в актерском исполнении. А во-вторых, Господь наградил меня таким, «неуклюжим» тембром голоса, который ни с чем не спутаешь, и я благодарна Ему за это.

— Вы много времени проводите у зеркала?

— В каком смысле? Краситься я не люблю, но приходится...

— Я имею в виду другое: ищете свой неповторимый образ, отрабатываете мимику, свою замечательную улыбку?..

— Нет. У меня все происходит само собой... Когда впервые увидела себя на экране, сразу отметила все свои ошибки. Я не боюсь быть некрасивой, если того требует внутреннее состояние песни, мой образ. Главное — отразить многообразные грани человеческой души, характера. Но пока я появляюсь на экране только

с драматическими песнями, написанными для меня Игорем Демариным. Я их очень люблю. Это «Америка-разлучница», «Бес в ребро», «Любовь к морю». Если у меня больше не будет таких хороших песен, я лучше сделаю паузу. Не признаю «золотой» середины, всегда стремлюсь к лучшему.

— Вас не задевает, что ваше имя редко упоминается в «светской хронике»?

— Не задевает. И вообще я не люблю «тусовок». Воспринимаю их лишь как часть моей работы: надо общаться, быть на виду, поддерживать деловые контакты... А вот отдыхать предпочитаю иначе — в уединении, тишине, с друзьями и без показухи...

— У каждого исполнителя есть свой зритель. А вы своего знаете?

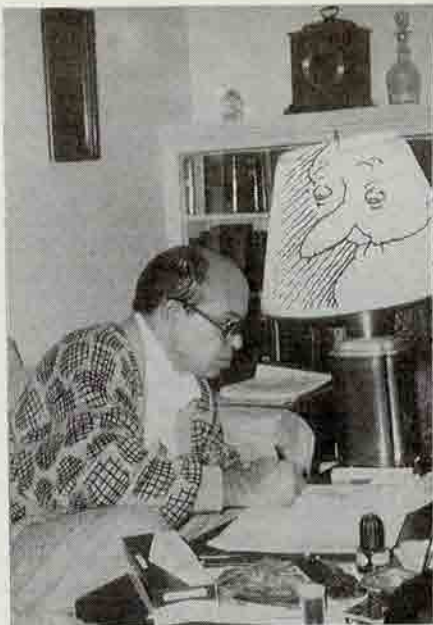
— Конечно! У этих людей, как правило, очень добрые глаза. Я встречаю их везде, где бы ни выступала. Мне кажется, что между нами происходит как бы энергетический обмен: чем больше отдаешь, тем больше возвращается к тебе... В прошлом году, 15 февраля, на концерте в Лужниках я исполнила песню «Белый вальс», связанную с афганскими событиями, и, когда зазвучали первые ее аккорды, весь зал встал, а у меня буквально перехватило горло... Такое трудно забыть. Так какая же все-таки моя публика? Я бы хотела, чтобы мои песни были близки и понятны всем.

**Беседу вела
ЕЛЕНА ЦЫГАНКОВА.**

**Фото
на 4-й обложке
ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА**

Ну, очень смешные сцены

из жизни героев
СЕРГЕЯ ТЮНИНА



144

...Вернее, из нашей с вами жизни, читатель. Замороченной, трудной и все же замечательной, если относиться к ней с должной долей самоиронии, в коей художнику С. Тюнину никак не откажешь.

Итак, представляем: Сергей Петрович Тюнин, 52 года, женат. Мужчина молодой и обаятельный (см. фото!). Закончил давным-давно Московский текстильный институт. Рисовал, как сам говорит, всегда и на всем, что подвернется под руку. В том числе и на тканях. Лауреат множества престижных международных и союзно-российских премий. (Премия журнала «Смена» в их ряду...) Дизайнер, мультипликатор, театральный художник... (Сейчас, кстати, с режиссером Марком Розовским готовит постановку по М. Салтыкову-Щедрину в «образцовском» Театре кукол.)

Своего героя — веселого чело-

вечка — придумал в 1968 году. И вот уже более четверти века герой этот (и др.), не старея и не унывая, попадает во всякие смешные (и не очень!) ситуации.

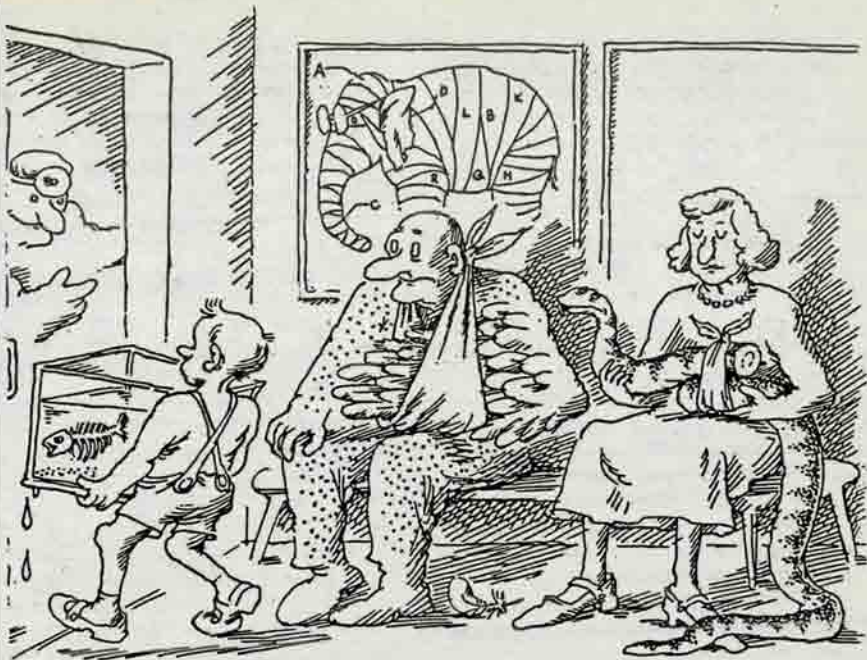
Работы С. Тюнина, как он опять-таки утверждает, а каталоги подтверждают, выставлялись чуть ли не во всех странах мира, что, впрочем, не стало для Сергея Петровича поводом к «звездной» болезни.

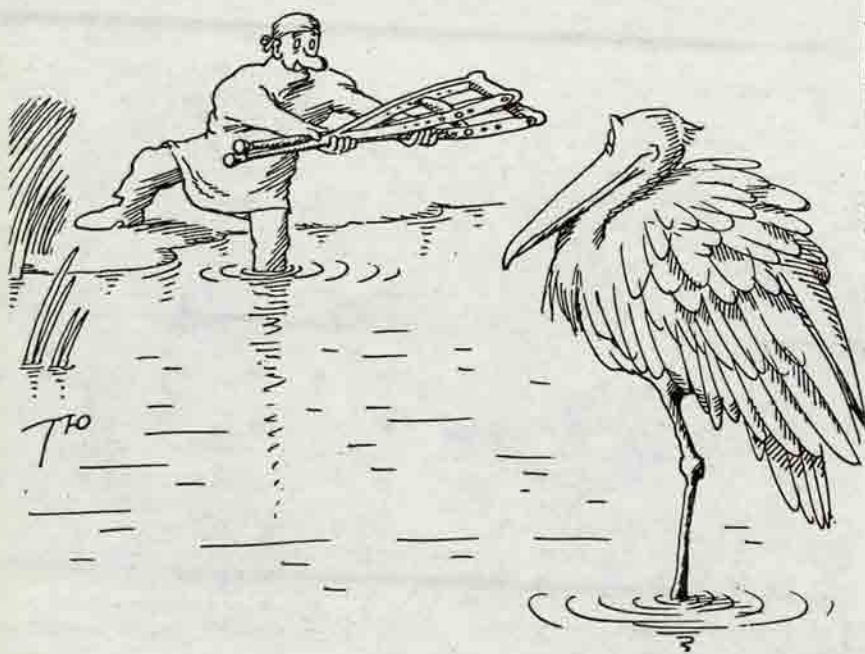
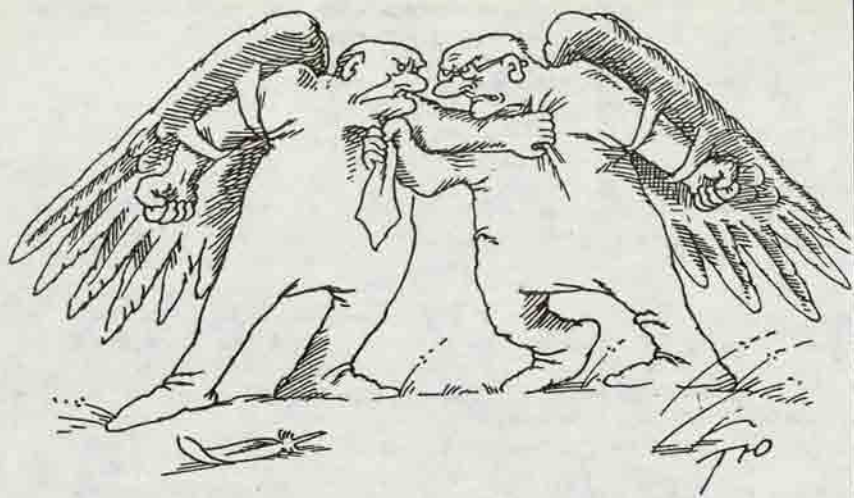
И еще: Сергей Тюнин прекрасный иллюстратор Чехова, Гоголя, Козьмы Пруткова. Принесите с базара (книжного) именно этих авторов с рисунками именно С. Тюнина — убедитесь!

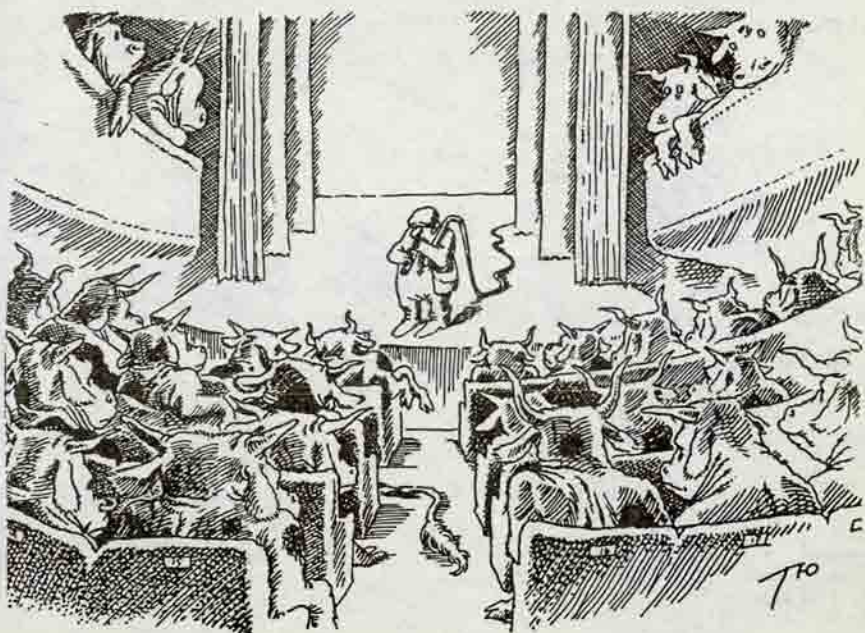
И последнее: журнал «Остроумный мир» (США) назвал Сергея Петровича человеком года.

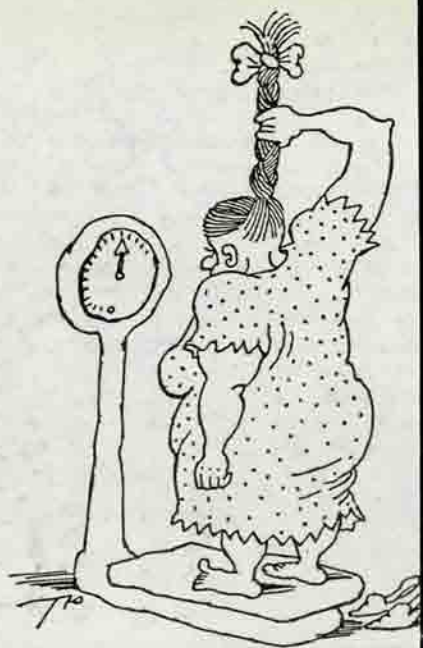
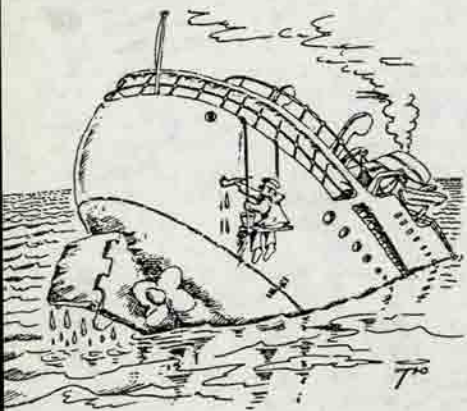
И это вполне серьезно. Что и подтверждает нынешний вернисаж в «Смене».

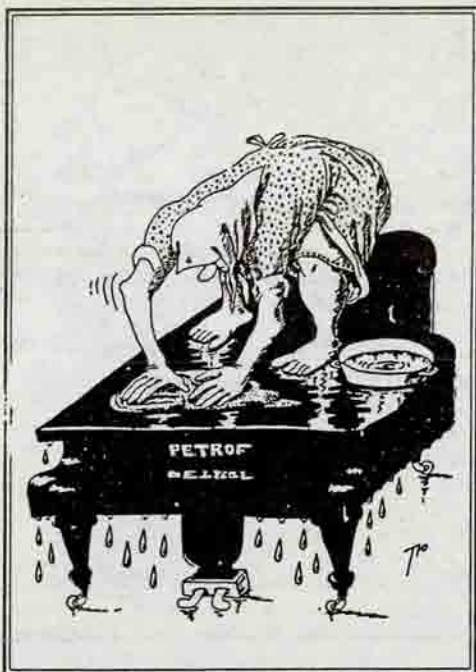
В. ГУРИНОВИЧ

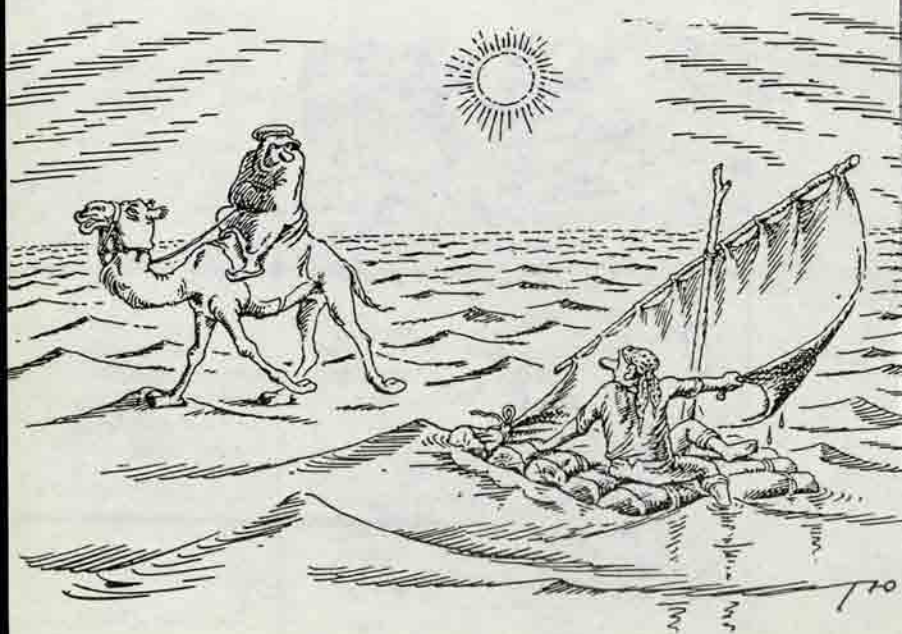




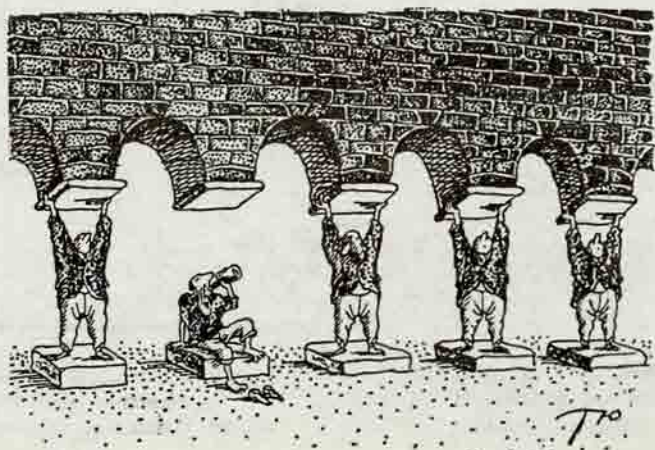
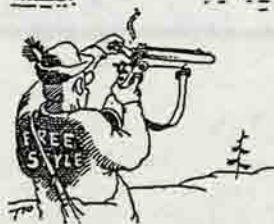
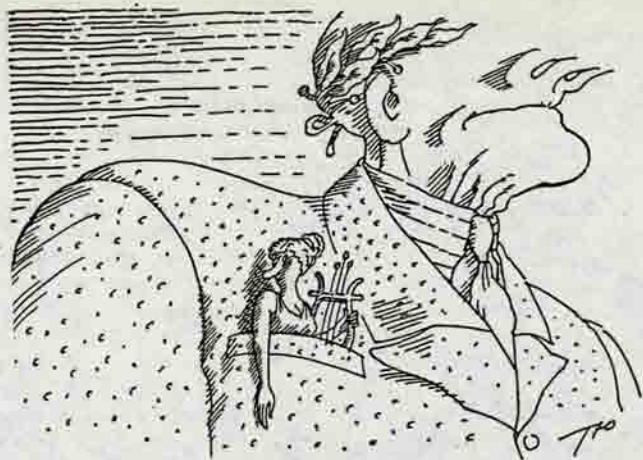










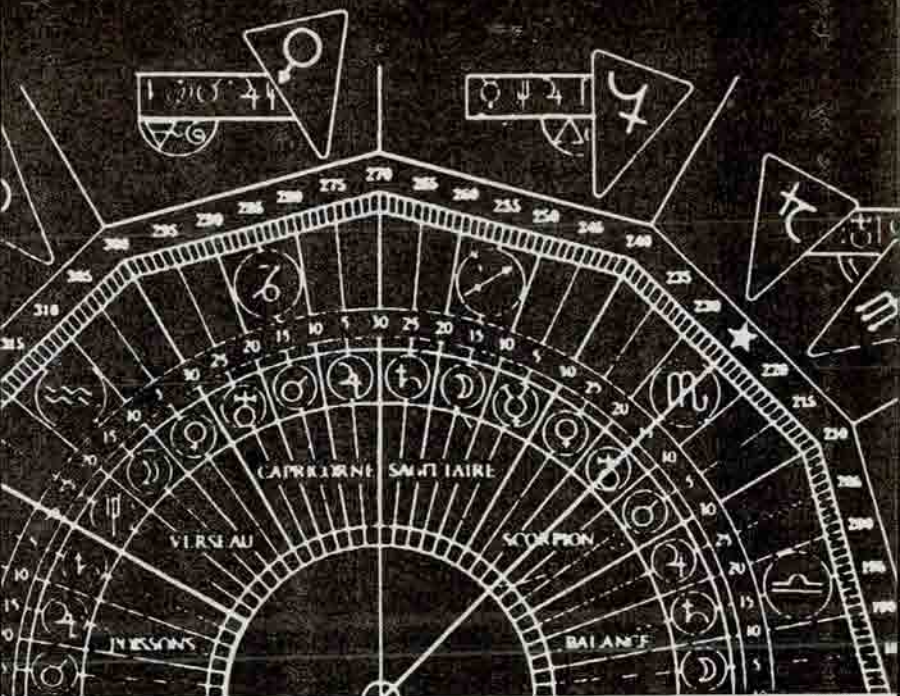






ЛЕВ КАНЕВСКИЙ

НОСТРАДАМУС



ГЛАВА I

Очень серьезный мальчик

В четверг 14 декабря 1503 года выдался прекрасный денек. Стужа миновала. Солнце взошло в золотисто-лазурных облаках, что предвещало хорошую погоду до самых рождественских праздников. Неожиданно потеплело, и казалось, что весна вернулась в эти южные края, и все вокруг готовились не к Рождеству, а к Пасхе.

Взгляд редких прохожих в Сент-Реми приковала к себе странная старуха, острыми концами башмаков подгонявшая ленивого осла. На ней были черное платье и черный меховой жакет. Голова плотно закутана темным платком, из-под которого поблескивал пронзительный взгляд голубых глаз. На впалой груди болтался тяжелый литой крест на золотой цепочке.

Старухе, по-видимому, хорошо был знаком маршрут. Никуда не сворачивая и не озираясь, она решительно направила своего осла к каменному дому Нострадамов на улице Вигье.

В доме Нострадамов царил переполох. Повсюду сновали озабоченные женщины с большими кувшинами теплой воды и аккуратно свернутыми пачками постельного белья, остро пахнувшего лавандой. Они исчезали за широкими дверями комнаты роженицы, которая криками оповещала всех, что счастливое семейное событие не за горами.

Мужчины, чтобы не создавать излишней сутолоки, выбрали для уединения достойное место — террасу «Таверны травяного рынка», расположенную в нескольких шагах от дома. Их было трое — будущий отец Жак, его отец Пьер и отец роженицы Жан де Сент-Реми.

Троица уютно расположилась за столиком и, заказав кувшин местного вина, принялась ожидать, кто принесет им радостную весть о благополучном разрешении от бремени.

Из переулка выехала на осле таинственная старуха и направилась к ним. С большим трудом она спешила и, опираясь на суковатую палку, которую отвязала от седла, прихромала к трем мужчинам.

— Не нальете ли бокальчик этой кислятины? — попросила она.

Будущий отец расшаркался перед гостьей.

— Добро пожаловать, старая добрая волшебница... Сегодня трудный, но радостный для меня день. Вот-вот должен родиться наследник...

Старуха одним залпом осушила бокал. Затем, перевернув его, начала считать красноватые, падающие на пол капли.

— Одна... две... три... четыре...

Двенадцатая оказалась последней. Поставив бокал на стол, старуха произнесла, обращаясь к Жаку:

— Если твой сын... а это будет непременно сын... родится с двенадцатым ударом часов ровно в полдень, то он станет светилом науки и одним из вселенских учителей...

В это время большие бронзовые часы на башне монастыря Святого Павла начали отсчитывать полдень. Когда прозвучал последний, двенадцатый удар, из каменного дома послышались вопли женщины и резкий крик новорожденного.

Мишель Нострадам — знаменитый Нострадамус — появился на свет с двенадцатым ударом часов ровно в полдень!

Отец Мишеля, Жак де Нострадам, долгое время занимался торговлей зерном. Но, будучи человеком тщеславным, не был удовлетворен столь низким для него ремеслом и ожидал только удобного случая, чтобы изменить свою постыдную жизнь. Его мать — Рене — была тихой, спокойной, погруженной в мистику женщиной. Она увлекалась черной и белой магией под влиянием своей бабки Марты, колесованной когда-то за колдовство.

Знаменитого деда Мишеля по отцовской линии звали Пьер де Нострадам. Такое имя он получил потому, что долгое время проживал в квартале Нотре-Дам и приехал во Францию из итальянского городка Нострадонна. Он служил лейб-медиком у герцога Жана Калабрийского и его отца короля Рене Доброго. Благодаря стараниям Пьера глава королевской семьи дожил до весьма почтенного возраста — 71 года, случай в те времена довольно редкий. Но у короля был и другой лейб-медик — Жан де Сент-Реми. Наличие двух эскулапов при одном короле не вылилось в соперничество между ними. Напротив, они сдружились и после смерти своего патрона решили поселиться в одном городе и поженить своих детей. Так были выбраны родители будущего великого предсказателя.

Семья Нострадамов и семейство Сент-Реми исповедовали еврейскую религию, причем Нострадамы вели свою родословную от еврейского племени Иссахара, о котором в книге Иеремии говорится: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные». Кроме того, как утверждается в Библии, это племя обладало даром прорицательства.

В 1488 году, когда государственная казна изрядно оскудела, король Карл II, чтобы ее пополнить, издал эдикт, по которому все евреи, проживавшие в Провансе, должны были либо перейти в католическую веру, либо отправиться в добровольное изгнание — в противном случае их имущество подлежало конфискации. Наиболее богатые евреи довольно быстро переменяли веру отцов. Среди них оказались Пьер Нострадам и Жан де Сент-Реми. (Кстати, всех новообращенных тут же обложили тяжкими налогами.) Перед новыми христианами открывалась широкая дорога, их гражданские права существенно расширились. Именно в это время Пьер Нострадам приобрел для своего тщеславного сына должность нотариуса в Сент-Реми. Наконец-то Жак покончил со своим непрестижным ремеслом и рьяно приступил к новой деятельности, специализируясь на возвращении долгов владельцам различного рода поручительств и доверенностей. Вскоре Жак стал грозой всех неплательщиков в округе. У нотариуса не хватало времени, чтобы заняться воспитанием и образованием своего ребенка, и родительскую миссию с удовольствием исполнил оба деда. Пьер Нострадам и Жан де Сент-Реми отдавали почти все время маленькому вундеркинду.

Мальчика тяготила мрачная обстановка в доме — агрессивность и алчность отца, затаенный мистицизм неразговорчивой матери. Он был серьезным и замкнутым, никогда не участвовал в веселых играх сверстников. Часто по ночам уходил куда-нибудь подальше от дома, чтобы в одиночестве полюбоваться таинственным ландшафтом, залитым мертвенным лунным светом. Мог часами неподвижно сидеть, опершись спиной на толстый ствол дерева, и рассматривать звезды и небесные созвездия, которые манили его своей неразгаданной тайной.

Иногда Мишель отправлялся на древние развалины, громоздившиеся неподалеку от Сент-Реми. Ему нравилось гладить рукой отполированные временем, нагретые за день солнцем камни — свидетели древней галльско-римской эпохи. Этот древний город в 408 году до основания разрушили вандалы, и перед глазами мальчика часто проходили живые сцены из истории родного Прованса.

Теплым июльским вечером семилетний Мишель сидел на каменной скамье с дедом Жаном в тени их летнего домика в Гарантане. Они любовались закатом. Солнце только что скрылось за горизонтом, но все еще оставались кроваво-красные его следы. Старый медик разглядывал быстро сереющее небо и объяснял внуку движение звезд.

Жан де Сент-Реми передавал жадному до знаний Мишелю свой богатый жизненный опыт, увлекал замечательными волшебными историями, развивая тем самым вкус к искусствам и наукам, запрещенным католической церковью.

Старик Жан пристрастил Мишеля к медицине, научил собственноручно готовить всевозможные лекарства и снадобья. Обучил мальчика латинскому, греческому, еврейскому языкам, математике, физике и алхимии, ботанике, классической литературе, а также астрономии и астрологии, которые сам познал в совершенстве.

Ученый дед рассказывал, как образуются внутри небесных туманностей звезды... Вдруг Мишель задумался. Он уже не смотрел на небо, его интерес к метеоритам пропал.

— Дедушка, — перебил он деда, — нужно набрать плодов фиговых деревьев и отнести домой. Завтра их здесь не будет...

Жан де Сент-Реми с удивлением посмотрел на внука. Мальчик выглядел чрезвычайно серьезным и сосредоточенным.

— Ну что же, — согласился дед, — наберем пару корзин.

На следующее утро заинтригованный старик, вернувшись в летний домик, с удивлением увидел, что четыре фиговых деревца лежали, вырванные с корнем, на грядке виноградника, словно жертвы свирепого урагана...

Жан де Сент-Реми, став свидетелем необычайного дара прорицательства у внука, решил познакомить его с философией в ее самом разнообразном аспекте — от древних мыслителей до мистиков и колдунов.

Штудии начали с «Пира» Платона, которого Мишель довольно легко одолел в оригинале. Затем перешли к Плотину, основателю неоплатонизма, еще более усилившего мистическое содержание философии своего предшественника. Мишелю понравилась его мысль о том, что знание — бегство от одного одиночества к другому. Очень скоро он на собственном опыте убедится в правоте слов философа. Особенно заинтересовал Мишеля Гераклит — мистик и нонконформист, провозвестник скрытой гармонии противоположностей. Его все больше привлекала геометрическая мистика Гераклита, утверждавшего, что Бог — это постоянная игра света и тени, смена мира и войны и что возобновляемые циклы нашего существования не имеют ни начала, ни конца.

— Все отмечено печатью божественного, — бормотал Мишель, — и вверху, и внизу...

Его влекла к себе мистика, сочинения Гермеса Тримегиста, этого *трижды* величайшего бога древних египтян, трактаты которого были посвящены оккультным наукам, алхимии, магии и астрологии.

— И все вокруг тайна, — часто вырывалось у него.

У мальчика разгоралось желание раскрыть то, что Бог не пожелал открыть людям. В Библии говорилось, что Бог не открывает тайны Вселенной не потому, что Он — эгоист, как о том твердит Сатана. Просто не доверяет ненадежному, подточенному злом сердцу человека. Только посмотрите, какие условия жизни создал для себя человек! Живет в постоянном страхе, питает недобрые помышления, могущие привести к вселенской беде. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до век, чтобы им исполняли его слова закона сего», — повторял Мишель слова из Второзакония. Но,

внутренне смирясь, он хотел познать эту тайну, вырвать ее из холодных космических глубин.

Во времена Нострадамуса никто не сомневался в том, что звезды влияют на все дела рода человеческого, на ход истории и определяют все действия и поведение людей, удерживая их под своим жестким контролем.

Часто под влиянием бесед со своими дедами, Мишель поднимал глаза к небу, пытаясь понять тайный притягательный блеск далеких мерцающих звезд. Разве не рассказывал ему Жан де Сент-Реми, что, по учению древних вавилонян, душа умершего человека отправляется на небо и там завладевает одной из звезд, превращая ее в собственный дом? Древние римляне и греки верили, что небеса заполнены глазами умерших людей — звездами. У бога Аргуса было несколько сотен глаз. Эти небесные глаза можно видеть и на земле, на перьях павлина, считавшегося у вавилонян священной птицей.

Сколько же тайн может раскрыть астрология? Почему, например, некоторые люди пекут пирожки в виде пятиконечных звезд? Он вспомнил слова деда о том, что число 5, или пентаграмма, в астрологии означает живой мир природы — воздух, огонь, воду, землю и дух Божий, который использует эти стихии для создания Вселенной. Но ведь это и пять чувств человека — вкус, зрение, слух, осязание, обоняние. Почему же тогда в белой магии пентаграмма, если один из ее концов повернуть кверху, воспринимается как человек с распростертыми руками и ногами, как символ доминирования Божиего духа? Этот магический инструмент вызывает добрые силы и удерживает на низком уровне злых духов. Но стоит ее перевернуть так, что наверху окажутся два острия, и пентаграмма становится символом черной магии, отождествляя рога Дьявола.

В астрологии все подчиняется Зодиаку. Но ведь и у него есть свои боги, эманации Солнца, каждый из которых обладает священным числом. Возьмем единицу. Неспроста существуют первый день месяца, первый день года, первенец-сын, первый урожай, первые фрукты и первый приплод. Все они считались священными. А число два, например, в астрологии — символ Матери-Богини. Почему же тогда оно приносит зло? Почему в древнееврейском и халдейском языках в корне слова «зло» присутствует корень «Ева» — имя прародительницы человечества?

А тайна, заключенная в числе шесть? Если вспомнить, человек со всеми живыми тварями был создан на «шестой день». Слово «шесть» в большинстве языков начинается с шипящей буквы «S», а это — древнее пиктографическое изображение кобры, которая, выпрямляясь, занимает позицию для атаки. Слово «Сатана» тоже начинается с этой буквы. Ну а что означает мистическое сочетание из трех шестерок — 666, звериное число, которое встречается в Откровении Иоанна?

Число семь? Ведь еще в древнем Вавилоне оно являлось символом гигантского небесного змея, семь голов которого, в свою очередь, символизировали семь планет, прокладывающих змеевидный путь через Зодиак в их астрологической системе.

Может, именно поэтому Иоанн выбрал в качестве символа для Сатаны семиглавого Змея-Дракона, нападающего на женщину?

Все эти вопросы не давали Мишелью покоя. Он не знал ответов на них и за разъяснениями, как обычно, отправлялся к деду — Жану де Сент-Реми. Тот был поражен предрасположенностью ребенка к небесной науке, которую сам когда-то основательно изучил. На занятиях дед сообщил Мишелью, что ежегодно по небу пролетает более девяти миллиардов метеоритов, видимых невооруженным глазом. Без иронии, с самым серьезным видом внук заявил:

— Нужно их всех изучить.— Заметив недоуменный взгляд учителя, добавил: — Я это сделаю. Во всяком случае, постараюсь.

Автор анонимного сочинения «Завещание Нострадамуса», который, по всей видимости, старательно проштудировал старинные провансальские хроники о его юных годах, рассказывает, что Мишелью часто поучал своих сверстников, подробно объясняя им различные небесные и земные непонятные явления, с удовольствием разглагольствовал о метеоритах и звездах и в результате заработал кличку «юный астролог». Но он поучал не только сверстников.

Как-то Жана де Сент-Реми вызвали ко двору короля Рене Доброго в Экс-ан-Прованс, к постели заболевшего сына, герцога Калабрийского. Жан взял с собой смышленного внука, чтобы показать ему высший свет.

Добрый король был очарован юным вундеркиндом, который свободно изъяснялся на греческом, еврейском и итальянском языках, а также, как заправский астроном, уверенно рассуждал о маршрутах звезд. В один прекрасный день, когда монарх любовался красотой восходящего солнца, стоявший рядом с ним и дедом Мишелью заметил:

— Если следовать достоверным утверждениям Коперника, нужно признать, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца!

— Ты отдаешь себе отчет, о чем говоришь? — возразил ему изумленный сюзерен Прованса.

— Но ведь об этом говорю вам я, сир,— ответил с апломбом дерзкий астролог.

Разгневанный мальчишеской выходкой внука, Жан де Сент-Реми отшлепал будущего предсказателя по мягким частям.

Во время экзекуции, захлебываясь слезами, Мишелью кричал:

— Да, земля вращается вокруг солнца... А не наоборот. И через сто лет один ученый из Тосканы это всем докажет!

...И точно. Ровно сто лет спустя, в 1617 году, знаменитый физик и астроном Галилео Галилей, родившийся в Пизе, провинции Тоскана в Италии, основываясь на разработанной Коперником системе, опубликовал научные доказательства того, что земля вращается вокруг солнца.

Когда Жан Сент-Реми рассказал о досадном инциденте при дворе короля отцу Мишелью, Жак пришел в ярость.

— Этот маленький негодяй никогда не будет ни астрономом, ни астрологом! — гремел разъяренный отец.— Пусть займется

медициной и попытается добиться в ней таких же высот, как и его два деда!

Приговор Мишелю был вынесен.

Выполняя отцовскую волю, Мишель явился с повинной к лейб-медику королевского двора. Для начала его там высекали, а затем мальчик принялся прилежно изучать медицину. Вскоре Мишель так увлекся этой наукой, что позабыл все обиды.

Астрология — неразгаданная тайна звезд, а живой организм человека — тоже тайна, и ключ к разгадке дает медицина. Дед щедро раскрывал перед ним секреты древних медиков.

— Сегодня мы поговорим о персидском враче Разесе, который жил в девятом веке... Этот мужественный, разбитый параличом человек верхом на осле разъезжал по городам и деревням, жители которых страдали от страшной болезни — оспы. Долго странствовал, пока не обосновался на берегу Каспийского моря. Он первым подробно описал симптомы этой болезни и профилактические меры борьбы с ней.

Заметив, что внук проявляет большой интерес к восточной медицине, Жан заставил его проштудировать «каноны» знаменитого ученого и философа Авиценны, которого многие называли первым медиком-астрологом в истории человечества.

Больше всего Нострадама поражали необычные, а подчас просто удивительные методы, применяемые восточными учеными-мудрецами на практике.

Он никак не мог удовлетворить своего ненасытного любопытства и проглатывал один медицинский трактат за другим. Из них, например, узнал, что зеленая лягушка помогает при лихорадке, а употребление внутрь вшей, мокриц — самое надежное средство при несварении желудка; мозг зайца помогает тем, кто по ночам не может сдерживать мочеиспускание. Для него стало откровением, что помет восточного козла быстро затягивает раны, незабудка лечит от укуса скорпиона, шафран ликвидирует последствия «морской болезни», огуречный сок действует успокаивающе на буйнопомешанных...

В книгах древних медиков Персии, Ирака, Курдистана, которыми его снабжал Пьер Нострадам — второй дед, — он находил описание того, как ученые для изучения симптомов неизлечимых болезней совершали поистине нечеловеческие подвиги: проглатывали мокроту больных туберкулезом, высасывали язвы на теле зачумленных и надевали на себя рубашки зараженных холерой людей.

Мишелю было всего четырнадцать лет, а он воображал себя знаменитым врачом. Ему не терпелось применить на практике полученные знания. Случай вскоре представился.

Его сосед по дому мучился страшными резами в желудке. Осмотрев больного, полный решимости излечить приятеля от мук, Мишель выписал довольно странное лекарство. Он велел ему проглотить немного ртути и заесть ее... пулями для мушкета. Затем приказал положить страдальца на пол старой кареты и погнал коней во весь опор по избитой, ухабистой дороге. Передав вожжи другому мальчику, он, вооружившись перенос-

ными кузнечными мехами, начал вдвухать воздух в анальное отверстие больного.

Если верить Жану де Карделанду, одному из самых признанных биографов Нострадамуса, разработанное Мишелем лекарственное средство оказалось настолько эффективным, что ужасные колики прекратились, и через несколько часов уже никто не мог признать прежнего страдальца в веселом и здоровом мальчугане.

Однажды вечером в комнату Мишеля вошел дед Пьер и положил на стол объемистый том в потемневшем от времени кожаном переплете.

— Думаю, ты заинтересуешься этой древней книгой, — сказал он. — Мне известно, что, несмотря на запрет отца, у тебя под подушкой можно найти книжку по астрологии.

Мальчик испуганно посмотрел на деда.

— Не бойся, все останется между нами. Но с этой книгой ты лучше на глаза отцу не показывайся!

Книга была написана на древнееврейском языке и называлась «Зогар». Кажется, это означает «сияние», подумал Мишель. Он прочитал, что она составлена испанским евреем по имени Моисей де Леон в тринадцатом веке, и рассеянно пробежал глазами несколько страниц. Его внимание остановила фраза: «Мироздание зиждется на 10 цифрах и 22 буквах еврейского алфавита». Он еще не знал, что у него в руках — каббалистская Библия, в которой излагалось средневековое мистическое учение, пронизанное магией.

Когда иудеи, забыв об истинной вере, совершили измену и увлеклись языческими богами, Господь отправил их в Вавилонский плен. Там некоторые иудейские священники занялись подробным изучением древневавилонского колдовства, так называемых мистерий. В результате они создали свою философию, которую назвали Каббала, что по-еврейски означает «предание».

Продолжая читать, Мишель все больше осознавал, что книга отвечает его сокровенным желаниям, его стремлениям узнать побольше о Боге, о Вселенной. Ведь он уже давно размышлял: можно ли раскрыть неведомое и объяснить людям то, что Господь не желал им открывать. Он хотел заглянуть в будущее. Разве его желание не отзвук того, что когда-то прозвучало в Эдемском саду, — «Будете как Боги» (Быт. 3:5). Значит, как учит Каббала, человек способен достичь величия всемогущего Бога, стать вровень с ним? Но ведь эти слова в Раю произнес Сатана! Как же все это уразуметь? Вот и каббалисты говорят, что в Библии есть важные символы, которые, если их правильно истолковать, могут раскрыть тайны Вселенной. Значит, таинственное сочетание слов и символов при определенной методе обращения с ними приводит к достижению магических результатов?

Мишель был убежден, что если он подробнее изучит эту книгу, то прикнет к тем немногим избранникам, которым были доступны все откровения Каббалы.

Мишель любил бывать на кухне, где возле печки обычно хлопотала мать. Иногда сам готовил что-нибудь по собственному

кулинарному рецепту. Даже изобрел какую-то субстанцию, позволяющую сохранять в течение всех зимних и весенних месяцев варенья. Для этого он на глазах у изумленной матери бросил в медный чан несколько щепоток корицы и толченой гвоздики. Варенье сохранило свой первозданный вкус и запах до следующего лета; а прежде приходилось выбрасывать чуть ли не половину запасов. Многим казалось, что это — очередная блажь Нострадама. Но он не зря занимался вареньем. В конечном итоге разработал антисептик, который впоследствии использовал в борьбе с эпидемией чумы, охватившей почти весь юг Франции.

В один из майских дней 1517 года Мишель, по своему обыкновению, заглянул на кухню. Его любимый дед Жан де Сент-Реми накануне отправился по своим делам в Авиньон.

Мать жарила на большой сковородке сочные куски говядины в винном соусе. Не отрывая глаз от стряпни, Рене попросила сына сходить в виноградник и нарвать там особого, душистого розмарина.

— Твой дедушка — такой гурман. Сегодня вечером, когда он вернется, будет очень доволен нашим ароматным блюдом.

Нострадам даже не сдвинулся с места.

— Я не пойду рвать траву, — твердо произнес он. — Это бесполезно. Дедушка уже не вернется. Два часа назад у городских ворот Авиньона жизнь его оборвалась...

Через несколько часов они получили сообщение — Жан де Сент-Реми скоропостижно скончался от разрыва сердца при выходе из городских ворот...

Почти весь год Мишель Нострадам приводил в порядок многочисленные труды, оставленные ему в наследство дедом Жаном; совершенствовал иностранные языки; учился делать разноцветные витражи у местного мастера-стеклодува, даже смастерил подозрную трубку из картона, которую оснастил собственноручно отлитыми линзами.

ГЛАВА II

Скитания на юге Франции

Весной 1518 года Мишель Нострадам вошел в величественные городские ворота Авиньона, главного города Воклюзского департамента в Провансе, столицу Венсенского графства, расположенного на левом берегу живописной Роны.

...Мишель Нострадам был поражен звуками этого, по выражению Франсуа Рабле, «звнящего города». Звон разливался по округе от колоколов множества церквей, а также храмов при 20 мужских и 15 женских монастырях.

Мишель остановился в красивом домике младшей сестры отца Маргариты, расположенном на улице Малиторн, всего в нескольких шагах от колледжа на площади Блаженных, где ему предстояло познавать тайны наук. В средневековье университет обычно делился на четыре факультета — богословский, юриди-

ческий, медицинский и артистический. Артистический считался самым низшим из всех, на нем изучались семь свободных искусств: грамматика, диалектика, риторика, геометрия, арифметика, астрономия, музыка.

Мишель решил остановить свой выбор на грамматике, риторике и астрономии, изучать философию он отправится позже, через четыре года, в другой, более знаменитый, университет — в Монпелье...

Тетушка Маргарита оказалась дородной и красивой дамой с пышной грудью, которую охотно демонстрировала окружающим с помощью тщательно подобранных нарядов.

Она была замужем за Пьером Иоганнисом, красильщиком по профессии. Дом кокетливой Маргариты часто посещали знатные дамы города, в сопровождении щегольски разодетых хлыщей.

Мишель, несмотря на свою провинциальность, очень быстро понял, что его тетушка занимается сводничеством.

Часто гости, собравшись в большой гостиной, вели долгие разговоры о всякой всячине, а также о... политике.

Именно здесь, в тетушкином салоне, Мишель услышал поразительную новость — какой-то немецкий монах-августинец по имени Мартин Лютер дерзко прибил к дверям Виттенбергского замка свои 95 тезисов, провозгласив в них начало новой эпохи в истории религии — эпохи Реформации.

Лютеранская реформация, по сути дела, отвергала всякую узурпацию со стороны католической церкви, ставила под сомнение ее право оставаться единственной посредницей между человеком и Богом. Лютер выступал против церковной иерархии католичества, выдвигал учение о равенстве всех верующих перед Богом... Проповедовал, что истинная вера основывается на личной связи человека с Богом — ведь каждый человек обязан своим существованием на земле Богу, а посему сам должен нести личную ответственность перед Ним. Вера — это дар Божий. Разум человеческий может только подготовить веру, взрыхлить почву для ее произрастания, но открыть человеку Бога могут только сам Бог и Священное писание.

Тогда Мишель Нострадам еще не мог осознать, что учение Лютера — важнейшее событие эпохи Возрождения. И знаменовало собой освобождение людей от духовной диктатуры — церкви, религиозного догматизма, авторитарной заданности мышления.

Все это он поймет позже, когда приступит к изучению религиозной философии в университете в Монпелье, и на всю жизнь останется страстным приверженцем немецкого монаха.

...Мишель был лучшим студентом. Он поражал учителей мощью своего ума, особенно невероятной памятью. Юноша мог, прочитав раз несколько страниц из любой книги, воспроизвести весь текст, не пропустив ни единого слова.

Он восхищал своих однокашников глубокими познаниями астрономии, физики, истории. Они с уважением называли его «юным астрологом».

Не забывал Мишель и о медицине. Большую часть свободного времени проводил в городских аптеках. Как и дел, он был

уверен, что составление и приготовление лекарств — важная часть ремесла медика, и ее необходимо познать также глубоко, как «бакалейщик знает свой товар».

Мишелю Нострадаму, как самому блистательному ученику на факультете, разрешили выступать в главной аудитории университета. Послушать юное дарование приходили не только студенты, но и преподаватели. Мишель так увлекательно и правдоподобно рассказывал им о далеких звездах, что казалось, будто он только что вернулся с них на землю. А та быстрота, с которой Мишель точно называл расстояние до той или иной звезды от нашей планеты, повергало всех в изумление.

После очередной шумной встречи, на которой Нострадам блистательно подтвердил правоту выдвинутых Коперником тезисов о двойном движении планет вокруг своей оси и вокруг солнца, к нему подошел какой-то господин лет сорока.

— Молодой человек, — сказал он. — Вам следует проявлять осторожность, чаще оглядываться по сторонам. Ваши открытия, поразительные выводы, несомненно, вызовут гнев у монахов и церковников, которые видят в ученых еретиков...

Эти предостережения не были напрасными, тем более, что юный ученый ум неоднократно на собственном теле познал, чего стоят ложные обвинения. В Авиньонском университете Мишелю Нострадаму приходилось часто снимать портки и получать розги за строптивость, упрямство, сомнение и пристрастие к прорицательству и ясновидению.

Однажды его товарищ Белау Мора попросил привести хотя бы один пример проявления его дара ясновидца.

Улыбнувшись, Нострадам зашептал ему на ухо:

— В воскресенье я сидел под оливковым деревом на опушке леса. Я был погружен в чтение романа «Эвриал и Лукреция». И вдруг, оторвав глаза от страницы, я увидел девушку, которая, вероятно, направлялась за хвостом в лес. Я вежливо сказал, обращаясь к ней: «Здравствуйте, мадемуазель». Когда она час спустя выходила из лесной чащи, я ее вновь поприветствовал с улыбкой на устах: «Добрый вечер, мадам...» Плутовка, покраснев до корней волос, убежала прочь. Через несколько минут я получил доказательство своего пророчества. На лесной поляне появился лесник, который застегивал штаны...

Мишель завершал свое образование в Авиньоне, и его взоры устремились к крупнейшему во Франции университету в городе Монпелье. Мишель знал, что в университетской библиотеке собрано большинство трудов великих ученых-медиков — Авиценны, Аверроэса, Галена и Гиппократа.

ГЛАВА III

Университет в Монпелье

В октябре 1521 года Мишель Нострадам поступил на медицинский факультет университета в Монпелье.

Прежде всего, как тогда требовали правила, он нанес визит

«прокуратору» — так называли студенческого старосту. На этот пост избирался студент, имеющий первую академическую степень бакалавра. Он являлся официальным представителем студентов перед деканом, улаживал возникавшие споры между студентами и администрацией. В его обязанности входили прием новичков и соблюдение всех положенных формальностей. После предварительного знакомства он отводил первокурсников к «канцелярису», или канцлеру, профессору, пожизненно избираемому коллегами на этот пост.

Перед канцлером Мишель Нострадам подтвердил свое совершеннолетие и то, что рожден в законном браке, предъявил диплом, заверил, что исповедует католическую религию и что никогда в жизни не занимался физическим трудом. (В те времена считалось недопустимым для медика лечить каким-либо иным способом, кроме устного выслушивания жалоб и выписывания соответствующего рецепта. Если, например, возникала необходимость в проведении операции, то ее обычно выполнял либо костоправ, либо брадобрей. Медикам дозволялось только давать устные указания. Ему запрещалось даже дотрагиваться до скальпеля или зашивающей иглы.)

Чтобы иметь право на медицинскую практику, студенту предстояло получить три академические степени: бакалавра, лиценциата и магистра (то есть доктора). Степень бакалавра позволяла только преподавать. Достижение же высших степеней, как правило, было связано с большими расходами (промоциями) на подарки профессорам, угощение товарищей и т. д.

166 Занятия в университете обычно начинались в шесть утра и состояли из двух периодов. В течение первого регент (преподаватель) в пурпурной мантии, с квадратной сатиновой шапочкой на голове зачитывал латинский перевод глав из Гиппократа, Галена или Авиценны. Второй период посвящался обсуждению избранной темы и комментариям на том же языке.

В университете был лишь один скелет, у которого не хватало многих костей. Что касалось вскрытий, то официально разрешалось проводить лишь одно в год. (По действовавшему с 1376 года уложению герцога Анжуйского, университет мог потребовать труп преданного казни человека один раз в году!)

В Монпелье Мишель Нострадам изменил свое имя на латинский лад и стал Нострадамусом. Язык, на котором разговаривал Цицерон, был единственным средством общения как на факультете, так и в быту между студентами.

Кроме медицины, Нострадамус изучал философию, лекарственные травы, фармакологию и анатомию. В своей каморке со сводчатым потолком он устроил настоящую лабораторию, заставив ее перегонными аппаратами, колбами, ретортами, ступками. Здесь он пытался на практике проверить оккультные открытия двух величайших алхимиков истории, врачей-естествоиспытателей, своих современников — Парацельса (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) и Корнелия Агриппы.

Мишель в ту пору не делал различия между медициной и алхимией. И то, и другое для него были связаны между собой. Вооружившись потемневшим от времени трактатом Альберто

Магнуса «О природе и целительной силе Вселенной», он предпринимал попытки отыскать способ, позволивший бы одновременно лечить и тело, и душу человека.

Разве не утверждал Парацельс, что и опаснейшая болезнь, и исцеление происходят из духа человека. Не существует ли тесной связи между внешним миром, Вселенной и отдельными частями тела человека? Как сказано в Библии: «Я Господь (Бог твой), целитель твой» (Исх. 15:18). Действительно, кому больше известно о теле человека, как не Богу, Тому, кто создал его от начала? Кто знаком с его способностями к восстановлению? Понимает таинственные процессы, благодаря которым срстаются разбитые ноги, затягиваются уродливые раны, исчезают кровоподтеки и синяки, рассасываются кровяные закупорки в сосудах? Все эти чудеса свидетельствуют о великой, бесконечной мудрости Создателя.

Устав после занятий в университете и изнурительных опытов в домашней лаборатории, Нострадамус любил по ночам гулять по берегу реки Лез, где находился скалистый, уединенный анклав, носивший название «Рокайль сострадания» (Рокайль — арх. сооружение в виде раковины. Однажды на песчаном берегу он увидел табор цыган в ярких нарядах, которые, сидя у костра, жарили на вертеле кур. Главным у них был цыган по имени Иштван. Он возглавлял банду из отпетых бродяг и грабителей, явившихся сюда, на юг Франции, с Пиренеев. Это были бестрашные, взбалмошные люди, вольные дети природы, смелые и агрессивные, им не было знакомо чувство страха. Днем они занимались грабежами, а по вечерам, сидя у костра, распевали песни.

Молодому Нострадамусу понравились эти беззаботные, веселые люди. Да и он приглянулся «королю» цыган. Нострадамус часто приходил к ним в табор, сидел у костра, слушал заунывные, щемящие душу песни, любовался искрометными танцами.

Как-то в полночь из лесной чащи высыпала группа всадников и, обнажив сабли, устремилась к цыганам. Они действовали по приказу главного судьи, приказавшего покончить с «ведьмами, колдунами, бесовскими духами и посланцами самого Дявола». Девятнадцатилетний Мишель не растерялся. Выхватив из костра горящую головешку, он бросился в гущу схватки и стал ею тыкать в морды хрипящих лошадей. Испугавшись огня, они отпрянули назад, сбросив на землю седоков. Нападавшие смешались и, повернув назад, исчезли в темноте. После стычки Нострадамус, как завзятый медик, стал оказывать помощь раненым, исцеляя их с помощью мазей и настоек собственного изобретения.

Растроганный Иштван в знак благодарности повесил на шею отважному герою тяжелую золотую цепь. Все цыгане восхищались его мужеством и медицинским искусством.

На следующий день Нострадамус, как обычно, пришел к берегу Лезы, но цыган там не оказалось. Он подошел поближе к реке, посмотрел на небо. Ему показалось, что звезды как-то странно себя ведут, отчаянно подмигивают, словно пыгаются заговорить с ним. Он не спускал глаз с далеких таинственных светил. Долго

смотрел вверх, пока не затек затылок. Вдруг почувствовал, что все тело охватила странная дрожь. Мелкие судороги, пробежавшие от головы к ногам, лишили его свободы движения. Хотел крикнуть, позвать на помощь, но гортань вдруг онемела, отказываясь подчиняться. Надвинулась темнота, окутав все тело. Он захрипел, почувствовал, как губы влажнит слюна, и... потерял сознание.

Мишель не помнил, как долго находился в таком состоянии. Очнувшись, увидел, что лежит на земле. Судорожно задышал, голова задергалась. Учащенно бился пульс. Все мускулы онемели, правую часть тела вообще не чувствовал, словно ее и не было. Во рту едва помещался распухший, сильно прокушенный зубами язык. Он долго не мог расцепить непослушные челюсти. Все тело ныло, словно кто-то палкой пересчитал ему ребра. Вдруг он почувствовал — к мышцам возвращается прежняя эластичность, они наполняются силой, мозг светлеет, а сам он переходит в неведомое до сих пор странное состояние. С трудом приподняв голову, Мишель огляделся, вдруг его охватила сонливость, и он погрузился в глубокий сон. Когда он проснулся, то почувствовал себя здоровым, как и прежде, словно ничего странного с ним не происходило. Только легкая усталость.

Объяснялось это происшествие просто — Нострадамус впервые испытал приступ эпилепсии, болезни, которая будет преследовать его всю жизнь. Как утверждают биографы, после одного из приступов падучей он впервые почувствовал тягу к предсказаниям. Ну а самые точные и известные откровения были сделаны им после сильнейших припадков.

Осенним вечером 1522 года самая юная из двенадцати жен «короля» цыган Иштвана осмелилась вопреки запретам войти в город. Там ее и арестовали шики главного судьи. Без судебного разбирательства ее приговорили к сожжению на костре. Цыганку доставили к месту, где обычно сжигали еретиков. Это был круг диаметром восемь метров. В центре стоял столб высотой в два с половиной метра, вокруг которого, чуть ли не до его макушки, возвышались вязанки сухого хвороста. Палачи привязали жертву к столбу. Все цыгане Иштвана, переодетые в платья ремесленников, толпились за строгим рядом лучников и беспомощно глазели на несчастную женщину, жить которой оставалось считанные минуты. Принесли факел. Палач поднес его к вязанке, и языки пламени, с треском вспыхнув, начали подбираться к голым ступням Малены. Нострадамус, сжав руку Иштвана, глядел, не отрываясь, на небо.

— Послушай меня, король... — чуть слышно прошептал он. — Сегодня тебя не посетит несчастье!

«Король» с удивлением уставился на юного друга-астролога. Внезапно с гор подул сильный ветер. Резкие порывы его за несколько секунд разметали горящие ветви к стоявшим в строю лучникам. Их одежды запылали. Все дружно бросились врассыпную. Иштвану с друзьями потребовалось совсем немного времени, чтобы отвязать прекрасную Малену и скрыться из виду.

Так появились первые легенды о Мишеле Нострадамусе как о великом маге, чарошее и предсказателе.

...Рождественские каникулы Мишель провел в родном доме в Сент-Реми-ан-Прованс. В это время у них гостил странный человек, приехавший из Северной Италии. У него был высокий голос с мелодичным распевным акцентом, и когда он говорил, то подтверждал сказанное выразительными жестами.

Пьетро Паоло да Сан Чирико приехал в Сент-Реми, чтобы попросить друга Жана помочь ему перевести свой труд. Книга рассказывала об одном способе игры в гадальные карты, разработанным в древности монахами из долины реки Таро.

В этой странной карточной игре были изображены портреты: дурак, фигляр, папесса, императрица и император, папа, влюбленный, колесница, правосудие, отшельник, сила, смерть, повешенный, дьявол, дом Божий, звезды, луна, солнце, приговор, колесо фортуны.

Итальянец увлеченно объяснял Мишелю значение главных таинств «тарроков». Нострадамус внимательно его слушал, думая совершенно о другом. Вдруг в его взгляде проскочило что-то вроде озарения. Он изучил гадательную книгу и пришел к выводу, что «тарроки» построены в соответствии с той же моделью, что и мозг человека, математически создающий нашу реальность, на свой лад интерпретируют частоты, поступающие из какого-то иного измерения. Следовательно, для познания сути требовалось постижение тайн божественной реальности. Все снова замыкалось на агностицизме...

Разглядывая книгу Пьетро Паоло, Нострадамус обратил внимание, что масти изображений были тусклыми, бесцветными. Ему пришла идея раскрасить символику персонажей, придать им яркие, сочные, полные скрытого значения тона.

Красный цвет означал огонь и кровь.

Темно-синий — цвет глубин.

Зеленый — буйной растительности.

Желтый — заставлял думать о солнце.

К этим четырем цветовым тонам он добавил еще два, которые могли служить и фоном для вышеуказанных.

Черный — цвет всего скрытого от глаз, окутанного тайной.

Белый — указывающий на редкость, диковинность, непрочность, хрупкость.

Цвета мастей, придуманные в начале XVI века Мишелем Нострадамусом, используются в гадальных картах во всем мире и по сей день.

Словоохотливый Пьетро Паоло, заметив интерес, который проявлял молодой ученый к Италии, сообщил ему кучу свежих новостей.

Он рассказал, что французский король Франциск I разбит в битве при Павии, захвачен в плен войсками императора и отправлен в Испанию. Однако такое важное известие не произвело на Нострадамуса впечатления: итальянец удивился безразличию к судьбе несчастного короля, ведь тому предстояло провести Бог знает сколько лет на чужбине, в императорской темнице.

Перехватив его недоуменный взгляд, Нострадамус воскликнул:

— Меня не волнует его пленение! Я знаю, королю недолго там находиться. А поражения в Италии не имеют значения для страны. После плена Франциск проживет еще двадцать лет и сумеет прославить Францию не только силой оружия, но и успехами в области литературы и изящных искусств...

Все так и произошло. Через год после подписания Мадридского договора в 1526 году Франциск I возвратился на родину и возобновил войну с императором Карлом. Он умер, как и предсказывал Нострадамус, через двадцать лет, в 1547 году, как утверждают, от сифилиса.

И действительно, король привлек во Францию со всего мира многих знаменитых поэтов, музыкантов, артистов и художников, прославивших страну Франциска I. Он лично направил приглашение пожить во Франции гениальному художнику, архитектору и ученому-изобретателю Леонардо да Винчи. Леонардо совершил переход через Альпы на старой лошадке и привез в подарок французскому королю несколько своих картин, среди которых находилась и бесценная «Джюоконда».

В начале 1525 года после рождественских каникул Нострадамус возвратился в Монпелье, чтобы продолжить изучение медицины в университете. Пришло время получать первую ученую степень бакалавра медицины.

170 Экзамены носили публичный характер, на них могли присутствовать все желающие. Четыре часа подряд, с восьми утра до полудня, Мишель отвечал на бесконечные, подчас каверзные, вопросы, которыми засыпали его регенты. Но кандидат в бакалавры умело обходил расставленные ловушки. Встав наконец со своего места, председатель жюри торжественно объявил по-латыни: «*Indues purpuram, evuscende, ceethedram, ef grafis a gis geibus debes!*» («Надень пурпурную мантию, займи место среди нас и поблагодари всех, кому обязан этим!»)

После получения диплома бакалавра медицины новоиспеченному врачу приходилось каждую среду читать лекцию студентам по теме, выбранной деканом, в присутствии своего регента. Еще Мишелю предстояло сопровождать учителей-медиков при посещениях пациентов. Теперь он на практике учился распознавать симптомы заболевания, выписывать рецепты для лечения.

После завершения практики он обратился к декану с просьбой о сдаче экзаменов на степень лиценциата. Ему было предложено сдать четыре экзамена по собственному выбору.

Испытания продолжались четыре дня подряд, причем каждый день его экзаменовал новый преподаватель. Чтобы ответить на все заданные накануне вопросы, он имел в своем распоряжении всего двадцать четыре часа. Мишель успешно справился с экзаменом, получив самые высокие оценки. Епископ Монпелье вручил ему диплом лиценциата медицины...

Медицинский факультет университета в Монпелье был в то время, как говорят, «кузницей» выдающихся ученых. Там Нострадамус познакомился с Гийомом Ронделем, Антуаном Са-

порта, Балтазаром Нойером, Оноре Кастильяном и Франсуа Рабле, ставшим его близким другом.

Франсуа Рабле, будущий Ювенал Франции, родился в 1494 году в Шиноне, расположенном на живописном берегу реки Вьенны в провинции Турен, которую называли «садом Франции». Еще в семилетнем возрасте он принял свой первый постриг и отправился в монастырь Семейн. Вначале был францисканцем, затем бенедиктинцем, и всю свою жизнь, вплоть до назначения священником в Бедин, близ Парижа, не расставался с монашеским одеянием.

Они быстро сошлись — Рабле и Нострадамус, — ведь оба боролись за возрождение античной мысли, философских идеалов и нравственности. К тому же Рабле обладал неистощимым юмором, а Нострадамус был просто очарован литературным талантом автора «Гаргантюа и Пантагрюэля», книги, запрещенной ученым советом Сорбонны.

Франсуа часто бывал у Мишеля в его домашней лаборатории, где, сидя за налитым в реторту прекрасным вином, они предавались размышлениям о жизни, счастье, будущей судьбе. Рабле, большой озорник и весельчак, постоянно исполнял свои любимые куплеты:

*Беда с утра чуть свет вставать —
С утра полезней выпивать!*

Рабле понравилась идея Нострадамуса, предложившего создать отрывной календарь на каждый день с астрологическими предсказаниями. Такие календари вскоре появились и пользовались громадным спросом у читателей. Именно тогда в голову Рабле пришла мысль выпустить «Альманах Пантагрюэля». До наших дней, увы, сохранились лишь название, отрывки и несколько смешных сборников «Пантагрюэлевы предсказания».

Первый номер «Альманаха», который Рабле подписал анаграммой Алькофрибас Назир, он посвятил своему другу Мишелю Нострадамусу.

*Мэтру Нострадамусу
Посвящаются эти хроники Пантагрюэля,
Короля пьяниц и обжор,
Восстановленные со всеми его фантастическими
И невероятными проделками,
Составленные стараниями
Мэтра Алькофрибаса,
Извлекателем квинтэссенции.*

Что касается сборников «Пантагрюэлевы предсказания», то это были издевательские пародии на обычные метеорологические и астрономические предсказания, массовыми тиражами издававшиеся в то время любителями легкой наживы.

В третьем номере «Предсказаний» Франсуа Рабле не упустил случая вдоволь поиздеваться над ясновидящим и пророческим даром своего друга.

*Изучив звезды с помощью заржавевшей астролябии
Ученого мэтра астрологов Нострадамуса,
Первейшего бакалавра
Достойнейшего медицинского факультета в Монпелье,*

Могу без страха возражений утверждать, что:
В этом году слепые не увидят больше, чем прежде,
Глухие не будут слышать,
А немые говорить.

Богатым будет легче жить, чем бедным,
Здоровые будут чувствовать себя гораздо лучше,
Чем больные.

Изучив положение одних звезд по отношению к другим,
Мы в равной степени можем выяснить,
Что в этом году так и не удастся
Излечить старость, по причине прожитых ею
До сего времени годов...

Мишель Нострадамус тут же откликнулся, прибыв к большой доске объявлений у входа в университет плакат со следующими предсказаниями:

«Я, Мишель Нострадамус, выдающийся ученый и астролог высшей квалификации, этой ночью изучал цикл самых порочных звезд, чтобы сделать точные пророчества о будущем большого шутника по имени Франсуа Рабле.

Положение экваториальных созвездий и соединение с ними мощи остальных планет указывают на следующее:

Солнце, находящееся в созвездии Стрельца, и Меркурий, находящийся в созвездии Козерога, нас заверяют, что в скором будущем, без всяких сомнений, мэтр Рабле лишится языка, а затем на долгие годы ноги его закроет монашеская ряса».

Шутка однако обернулась истиной. На самом деле в 1534 году, в год своего сорокалетия, Рабле из-за заболевания связок временно лишился дара речи, а рясу монаха он проносил чуть ли не до конца жизни, когда был наконец назначен на пост священника в Медоне...

...Спустя триста лет еще один выдающийся француз, народный поэт Пьер-Жан Беранже (1780—1857) опубликует пародию на предсказания Нострадамуса. Вот она:

«Предсказания Нострадамуса на 2000 год»

Свидетель Генриха Четвертого рожденья,
Великий Нострадам, ученый астролог,
Однажды предсказал: «Большие превращенья
В двухтысячном году покажет людям рок».
В Париже в этот год средь Луврского чертога
Раздастся жалкий стон средь радостных людей:
«Французы добрые, подайте ради Бога,
Подайте правнуку французских королей...»
И скажет гражданин: «Иди, бедняк, за мною,
Жилища моего переступи порог.
Мы больше королей не чтим своей враждою
Останки их родов лежат у наших ног.
Покуда наш сенат в торжественном собранье
Решение судьбы произнесет твоей,
Я, внук цареубийц, не откажу в даянье,
Тебе, последнему потомку королей!

Действительно ли Нострадамус написал такое пророчество, или же оно плод воображения гениального поэта? В его «Центу-

риях», нужно признать, так много всего, что нельзя исключить и такой возможности. Здесь важно подчеркнуть незлобивый характер французов, которые не держат зла на королей и готовы подать им на старость пару луидоров.

Вскоре Рабле отправился в Лион работать поочередно то священнослужителем, то врачом, а Нострадамусу в Монпелье еще предстояло выдержать экзамены на получение степени доктора медицинских наук, так называемые «тридуанус» (трехдневные).

В назначенный день он явился в храм Святого Мишеля, где получил из рук ректора университета и декана список, состоявший из названий шести болезней. В течение трех дней, утром и вечером, он вел научную дискуссию по указанным темам с преподавателями и отвечал на вопросы. На его экзаменах присутствовал один из самых знаменитых медиков XVI века, Антонио Ремье. Наконец шестой экзамен позади. Мишель Нострадамус становится доктором медицины.

На следующее утро началась торжественная церемония посвящения нового ученого. Весь факультет в сопровождении музыкантов и толпы зевак отправился к дому Нострадамуса, чтобы препроводить его к храму Святого Фирмена. Звон его колоколов разносился далеко окрест. Нострадамус был сильно взволнован. Вдруг воцарилась мертвая тишина. Регент, взобравшись на кафедру, произнес по-латыни речь, одобренную нравственными предписаниями. Затем он увенчал голову соискателя четырехугольной черной шапочкой с красной помпушкой. На талии Нострадамуса он замкнул позолоченный пояс, на палец нанизал золотой перстень, а затем с великой торжественностью вручил ему книгу Гиппократа. На этом церемония завершилась.

В эту памятную ночь Нострадамусу пришлось отметить почти во всех трактирах города, хотя к такому обильному возлиянию он еще не привык.

С докторской степенью в кармане Нострадамуса больше ничто не удерживало в Монпелье. Иштван со своими цыганами отправился в вольные странствия по Европе. Рабле уехал в Лион. Вскоре в Монпелье с юга Франции стали поступать тревожные известия. По всей территории Лангедока свирепствовала эпидемия чумы. Еще во время учебы в университете Нострадамус проявлял повышенный интерес к эпидемическим заболеваниям и тщательно проштудировал труд Гиппократа «Об эпидемиях». Часто во время обучения Мишелю приходилось выступать в роли специалиста-консультанта, выезжать к больным чумой.

Когда эпидемия на юге приняла угрожающие масштабы, молодой ученый решил противопоставить бубонной чуме свое, пусть слабое, но искреннее оружие — желание помочь несчастным людям.

ГЛАВА IV

Борьба с чумой

Оседлав верного мула, сунув в седельную суму астрологию, свои труды по астрологии, учебники по медицине, докторский

диплом, привязав к седлу сумки с редкими растениями, Мишель Нострадамус отправился на юг, в провинцию Лангедок, которая считалась самой зачумленной во всей Франции.

Он хотел на практике испытать разработанные им способы борьбы со страшной болезнью. Тем более что теперь он был волен делать что хотел, не чувствуя за спиной подозрительные взгляды наставников, не слыша за плечами неодобрительный шепот завистливых коллег.

В Монпелье почти все студенты выразили готовность последовать примеру отважного Нострадамуса, и очень скоро аудитории университета опустели. Преподавать было некому, учебный процесс приостановился, а двери факультета закрылись. Они откроются вновь только через три года, и Мишель Нострадамус одним из первых вернется в университет, чтобы усовершенствовать там полученные на практике знания и получить звание профессора...

Объясняя цель своего поступка, Мишель писал в письме к отцу:

«Потратив большую часть своей молодости на изучение фармакологии, вооружившись мудрыми знаниями своих почтенных дедов, проявляя искреннее желание понять происхождение животельной силы целебных трав, я теперь уверен, что, наконец, смог оказаться полезным для людей».

В те времена считалось, что чуму вызывает особое расположение звезд. Такого мнения придерживались не только астрологи, но и медики, — отсюда полная безнадежность при попытках противостоять этой болезни. Люди искали убежища в церквах, главным образом посвященных Святому Рошу, всю свою жизнь облегчавшему страдания зачумленных.

Мишель, конечно, разделял всеобщее мнение, но был убежден, что эпидемию можно приостановить и даже победить, но только не способом протирания рук к священным статуям. Он понимал, что для успешной борьбы с чумой нужны новые, неизвестные пока медицинские средства, совершенно иной подход к исцелению больных, и не терял времени даром.

Испытал несколько снадобий и в конечном итоге составил лекарство, спасшее жизнь нескольким обреченным. Слава о нем как о великом исцелителе покатила по югу Франции, достигнув самых далеких уголков Лангедока.

На заре, с первыми лучами солнца, Нострадамус отправлялся в поле и охавками срывал ветви цветущего шиповника, основу противочумного средства. Вернувшись домой, он высушивал цветы, а затем толоч их в мраморной ступке. Превратив их в порошок, приступал к составлению особой смеси, куда в качестве ингредиентов входили опилки кипарисового дерева, флорентийский ирис, толченая гвоздика, болотная лилия, веточки алоэ, пахучий анр. Долго и тщательно растирал всю эту массу. Потом высушивал и нарезал маленькими ромбиками, называя их «розовые пилюли».

Мишель раздавал свое «изобретение» пациентам и рекомендовал держать их под языком как можно дольше. В отличие от

своих коллег он не прибегал при лечении к самому распространенному в то время средству — обильному кровопусканию. Приучал пациентов пить только кипяченую воду, рекомендовал при первой возможности уехать из города в сельскую местность и дышать там свежим воздухом, убеждал спать в чистой постели. Особое внимание уделял постной пище и продолжительным пешим прогулкам.

Метод его лечения имел феноменальный успех. По свидетельству очевидцев, это во многом объяснялось двумя факторами. Во-первых, Нострадамус проявлял необычайную уверенность в себе и невероятное мужество перед лицом опасных болезней, а во-вторых, его собственное средство для лечения оказывало на больного не только медицинское, но и чисто психологическое воздействие.

Но эпидемия не сдавалась и вскоре достигла Авиньона, Нарбонны, Тулузы и Каркассона. Нострадамус упрямо шел по ее следам. Повсюду, где свирепствовала бубонная чума, он велел рисовать на домах обреченных черные кресты, чтобы предостеречь здоровых. Молодой доктор не покладая рук вел борьбу с эпидемией, бесстрашно натирая язвы на теле больных целебной мазью собственного изготовления.

Он миновал Безье и Нарбонну, сделав в этих прибрежных городах лишь краткую остановку, чтобы поесть и передохнуть. В Каркассоне он провел несколько недель и вспокоил весь город. Разлетелась молва о его невероятно целительном, богодуховном искусстве, ведь удалось вылечить всех обратившихся к нему больных. Но еще поразил местных жителей тот факт, что Нострадамус не только лечил бесплатно, но и раздавал монеты беднякам. Кто-то вспомнил, что именно этот странный человек во время чумы 1523 года изобрел лекарство, творившее здесь истинные чудеса! Подумать только — ему удалось спасти от чумы несколько десятков безнадежно больных! Прослышав про славные подвиги Нострадамуса, его вызвал в свою резиденцию епископ.

— Дорогой, — вежливо обратился он к Мишелю, — мой прелат — человек уже в годах и сильно страдает. На его теле не осталось ни одного живого места. Каждое прикосновение к нему отзывается непереносимой болью. Сделай что-нибудь ради старика.

— Непременно, непременно сделаем, — весело отозвался Нострадамус, никогда и никому в помощи не отказывавший — ни знатному, ни бедному, ни служителю Господню.

Осмотрев больного, он составил лекарство, должное, по его мнению, «омолаживать того, кто его принимает. Грустному доставлять радость и веселье; робкого превращать в смельчака; если же человек замкнут и молчалив — то после принятия чудо-лекарства его характер менялся...».

Через неделю прелат был здоров.

Нострадамус продолжил свой путь к Тулузе.

В любом городе, попадавшемся ему на пути, Мишель с горечью наблюдал, как торжествует эта ужасная болезнь, как страдают ее несчастные жертвы. Никто из них уже не надеялся встать

с кровати. Повсюду царили мертвечина и запустение. Домашние животные, предоставленные сами себе, в поисках корма вытоптали поля. Доведенные до безумия собаки пожирали друг друга.

Эпидемия превратила людей в дикарей. В надежде избежать заразной болезни, все отворачивались от больного, избегали с ним любых контактов, старались переждать несчастье в полном одиночестве. Многие уходили из семей, бросали на произвол судьбы родных и близких, даже детей. Нечего было надеяться, что кто-то окажет помощь несчастному. Нострадамусу приходилось делать все одному, не рассчитывая на поддержку добровольцев. Повсюду царил гнетущий, вязкий страх перед «черной смертью». Однажды он увидел, как женщина сама себя зашила в саван. Она понимала, что после смерти никто этого за нее не сделает.

В Авиньоне можно было наблюдать ужасные сцены. Неизлечимые больные захватывали дома горожан и, пользуясь полной безнаказанностью, грабили винные погреба, напивались до бесчувствия, разбивали ценные вещи, насиловали женщин и девочек. Это была оргия безумия, оргия отчаяния, оргия торжествующей смерти. Это было время желанной, жестокой мести. Зараженные чумой бедняки обирали богатых и швыряли золотые экю в воды Роны!

Дома, в которые проникла чума, обычно поливались перебродившим кислым вином или уксусом. Для ускорения вызревания бубонов на них накладывали лепешки из кислого теста, смешанного со зрелой мякотью фиговых плодов и печеного лука.

Чтобы свести до минимума заражение, тела умерших быстро сбрасывали в большие общие могилы и поджигали их. Часто случалось, что в спешке сжигали еще живых людей...

Находясь в Бордо, Мишель Нострадамус узнал, что его старый знакомый по университету в Монпелье, знаменитый ученый Ульрих фон Майенс, изобрел вакцину против чумы из крови животных и особых бактерий. Он принял решение немедленно возвратиться на факультет, чтобы усовершенствовать свои знания, тем более после такой богатой практики, которую ему пришлось пройти на юге страны.

Нострадамус стал одним из первых «блудных сыновей», возвратившихся в аудиторию университета.

Но в Монпелье его ожидало разочарование. Друзья-цыгане во главе с Иштваном не возвратились из Испании, а близкий друг Франсуа Рабле все еще странствовал по городам Франции, исполняя попеременно обязанности монаха, врача или священника и продолжая заниматься литературным творчеством, пытаясь соединить высокую культуру с народной пародийной традицией.

Мишель Нострадамус снова занялся медициной и стал добиваться высшей ученой степени — профессора медицины. Такая задача для него не представляла особого труда. Успехи врача, спасшего многих людей от смерти, говорили сами за себя. На коллег произвела такое сильное впечатление его борьба с чумой на юге, что президент университета после небольшого собеседования без колебаний вручил Нострадамусу черную квадратную

шапочку с кисточкой и массивное золотое кольцо — атрибуты профессора.

...По традиции, выпускник университета, блестяще закончивший курс, имел право на преподавание в родной «альма матер». Может, другой человек и стал бы гордиться такой привилегией, только не Мишель Нострадамус. Он отлично понимал, что утвердить новый взгляд, новый подход к науке невозможно, так как университетский устав строго-настрого запрещал любые новации, а пережевывать и мусолить теории Гиппократов, Галена и Авиценны ему уже не хотелось. Поэтому он отказался от заманчивого предложения. Но сделал это не только из-за научной неудовлетворенности. У него был иной, мятежный склад души, которая постоянно звала его к новым авантюрам. Мишель без особого сожаления оставил друзей-студентов, коллег-преподавателей, толстые тома книг в библиотеке и, вооружившись всеми своими дипломами, вновь отправился в странствия по любимому югу Франции. Там он лечил больных, торговал на рыночных площадях притираниями собственного производства, мазями, мылом, благовониями, а также «фильтром любви», — так называлось привораживающее зелье, «любовный напиток». Он зарабатывал себе на жизнь, как и другие бродячие торговцы, но в отличие от многих из них никого не обманывал и всегда стремился подать товар лицом в прямом смысле этого слова. Для этого он выбирал из публики помощницу, девушку-дурнушку, которая, не скрывая своего счастья, терпеливо часами выстаивала на подмостках, демонстрируя всем, как ее лицо под воздействием магических мазей и кремов превращалось в нечто весьма привлекательное.

Добравшись до Тулузы, Мишель решил временно остаться в этом городе, чтобы посетить подпольные курсы знаменитых евреев-алхимиков. Кроме того, ему ужасно нравились красные черепичные крыши домов и торжественное спокойствие зеленых берегов прекрасной Гароны.

Сдав на хранение свой ходкий товар, а мула передав заботам кузнеца, державшего конюшню, Мишель Нострадамус отправился на постоялый двор «Геральдика», расположенный рядом с собором Святого Сернена. Ему показалось, что тамошняя атмосфера, близость святого места излучают какую-то возвышенную энергию, и лучшего места ему не найти. Он выхлопотал у Марсилио, хозяина «Геральдики», разрешение использовать для собственных нужд часть его погреба. Там установил алхимическое оборудование для проведения замысловатых опытов. Марсилио был счастлив, что у него под крышей нашел приют такой знаменитый ученый-медик.

Первым делом Мишель, будучи изощренным гурманом, приступил к совершенствованию своего, изобретенного еще в Монпелье, восхитительного варенья из айвы. Оно пользовалось повсюду такой популярностью, что несколько горшочков заказал для себя правитель Родоса, оказавшийся проездом в Тулузе, а также святейший папский прелат в Авиньоне, кардинал Клерманский. Говорят, даже сам король Франциск I изволил его откусать и нашел угощение бесподобным. Ради такого варенья наместник

папы в Тулузе не поленился лично нанести визит Нострадамусу на его постоялом дворе.

Слава о Нострадамусе, как о медике, росла, но вместе с тем никто не забывал, что он великий астролог. Богачи, люди, занимающие высокое положение в обществе, приезжали со всей страны в Тулузу и обращались к Мишелю с просьбой открыть им будущее. Красивые знатные дамы с берегов Гароны, преодолев щепетильность, посещали постоялый двор, не смущаясь его отнюдь не изысканными запахами. Ради того, чтобы получить консультацию у известного косметолога и заполучить таинственный рецепт сохранения молодости и красоты, они не скупилась на золотые монеты, а иногда охотно расплачивались с магом своими прелестями. Форма оплаты у Мишеля была любая!

Международная слава к Нострадамусу пришла в Тулузе после опубликования им трех небольших книжечек, впоследствии выдержавших не одно издание во Франции и переведенных на немецкий. Это «Трактат о красоте лица», «Об истинном и совершенном уходе за лицом» и «Превосходная маленькая книжка».

Первое издание «Трактата...» вышло под довольно длинным названием: «Трактат о красоте лица (прикрасах) и вареньях, заново приготовленных по рецептам мэтра Мишеля де Нострадамуса, доктора медицины». Книга состояла из двух частей. В первой — рецепты румян, притирок, благовоний, мазей для кожи лица, красителей для волос и прочих косметических средств плюс нескольких «любвных напитков». Приводились различные рекомендации по личной гигиене.

«Как приготовить порошок, вычистить и обелить зубы, какие бы желтые или черные они ни были... Способ придать дыханию приятный запах... Другой способ, еще более совершенный, для очищения зубов даже тех, которые уже тронуты гниением... Способ приготовления румян, кремов, делающих белыми и мягкими руки и обладающих стойким и вкусным запахом... Способ приготовления дистиллированной воды, чтобы наилучшим образом обмыть лицо...»

Для того, чтобы правильно понять такие гигиенические заботы Нострадамуса, нужно вспомнить, что в руководстве по учтивости, изданном двести лет спустя (1782), формально запрещалось пользоваться водой для умывания, ибо «это делает лицо зимой более чувствительным к холоду, а летом к жаре».

О гигиене в XVI веке и говорить не приходится. Даже король Людовик XIV страдал бессонницей от клопов. Лувр представлял собой, по отзывам современников, отвратительное зрелище; посетители отправляли свои естественные надобности повсюду, где считали для себя удобным: на дворе, на лестнице, на балконах, за дверью. Все проделывалось на виду у всех, и никто — кто делал или наблюдал — не обнаруживал ни тени смущения...

Во второй части «Трактата...» (ей предшествовало предисловие, посвященное брату Жану) Нострадамус предлагал многочисленные рецепты варений, конфитюров, джемов, желе, консервов и конфет. Все рецепты приводились в малейших подробностях, даже с указанием имен великих людей, которых Мишель обучил своему искусству во Франции и в Италии. Эта книга до

сих пор сохраняет за Нострадамусом первое место среди выдающихся составителей кулинарных книг.

Некоторые из его рецептов весьма забавны. Так, для «сохранения белого цвета лица» и «всего тела» Нострадамус советовал употреблять сулему (хлористую ртуть):

«Нужно взять десять унций этого вещества, тщательно его растереть, затем смешать со слюной постившегося три дня человека, который ничего не ел, кроме чеснока и лука, и не пил кислого виноградного вина, и вновь все тщательно растереть.

После содержимое промывают в родниковой, а не речной воде, и, поместив в глиняный горшочек, ставят на огонь для кипячения, повторяя при этом две строчки из «Отче наш» и две из «Аве Мария».

Что касается конфитюров и джемов, то, создавая их рецепты во время странствий по Франции, Мишель Нострадамус преследовал вполне практическую цель — многие пациенты отказывались принимать горькие пилюли и настойки, а посему он разбавлял их своими сладостями. Впоследствии по его примеру фармацевты во всем мире придумали сладкую оболочку для некоторых отличающихся особой горечью таблеток.

А вот еще один довольно оригинальный рецепт:

«Пользуйтесь отваром корня воловки, который испанцы называют «бычьим языком», этим укрепляющим средством, которое способно удержать вас от ереси, спасет от водянки, способствует веселому и радостному настроению, гонит прочь меланхолию, молодит человека, задерживает старость, придает лицу особый цвет, поддерживает в хорошем состоянии здоровье и тонус».

Как видим, рецепты, рекомендуемые Нострадамусом, не такие уж странные, не слишком загадочные, в них ничего не говорится ни о жире повешенного, ни о толченых змеях, ни о вареве из жаб, которыми увлекались ведьмы в «Макбете» Шекспира. Как правило, речь шла о вполне доступных средствах, основанных на целебных свойствах различных трав и минеральных солей. И здесь Нострадамус, великий знаток горных лечебных растений, шел впереди своего времени...

Нострадамусу нравилось жить в Тулузе. Он завязал дружбу с выдающимися людьми, представителями искусства, жившими поблизости от него в провинциях Лангедок, Русийон, Прованс и Гарона. И еще он познакомился с выходцами из еврейских семей, принявших католическую веру, — алхимиками и каббалистами.

Нострадамус не торопился покидать гостеприимный город. Но внезапно его планы изменились.

ГЛАВА V

Ажен

В один прекрасный день он получил письмо от Джулиуса Сезара Скалигера (ученого и философа, известного во всей Франции) с приглашением посетить его в поместье Лескаль, расположенном неподалеку от Ажена. В то время Скалигер

пользовался репутацией, которую можно было сравнить только с Эразмом Роттердамским, великим голландским гуманистом. Как и Эразм, Скалигер обладал сократовским складом ума, склонным к беспощадной язвительной сатире. Как и автор «Похвалы глупости», он стремился определить суть христианского гуманизма в свете Нового Завета и его многочисленных комментариев. Он считал себя горячим поклонником творчества Эразма Роттердамского, что, однако, не помешало ему в 1531 году опубликовать брошюру под заголовком «Adveksvs D. Erasmus oratio» («Речь, направленная против доктора Эразма»), в которой он подверг уничижительной критике философию своего кумира в связи с выходом в свет его сборника «Цицерониана» (1528). Однако критика с его стороны была явно несправедливой. Но все знали, что у Скалигера дурной, задиристый характер, и от его острых сатир не уберется, кажется, ни один из современников.

Нострадамус, конечно, был наслышан об этом выдающемся человеке и с радостью принял приглашение мэтра. Кстати, подобной чести напрасно искали многие ученые мужи.

Вскоре Нострадамус приехал в Лескаль, где ему оказали прием, достойный великого человека. Мишель воспринял все как должное. Разве он не победитель чумы?

Ажен находился так близко от Лескаля, что Нострадамус зачастил к мэтру, бывал у него почти ежедневно, а иногда даже оставался ночевать. Невиданная честь! А однажды сам Скалигер отважился покинуть годами насиженное место и нанести визит юному другу-медику.

Скалигеру было чуть больше пятидесяти, но лишь недавно он женился на шестнадцатилетней девочке. И неоднократно советовал Мишелю Нострадамусу последовать его примеру, считая, что в любом возрасте в браке есть свои положительные стороны. Но знаменитого медика интересовала только наука.

Тогда весельчак и затейник Скалигер, настроенный более поземному, стал распускать слухи о невероятных магических способностях Мишеля, дабы постоянно поддерживать у местных красавиц интерес к ученому. По всей провинции на семейных советах для дочерей придумывались невероятные заболевания, с жалобами на которые они немедленно отправлялись к Нострадамусу в Ажен, чтобы в «ходе лечения» попытаться овладеть сердцем Мишеля. Но все уловки были напрасными. Скалигер, однако, не унимался. Он привез его на местный сельский праздник, где заставил пить, веселиться и танцевать. Мишель познакомился с красивой девушкой, которой тоже приглянулся молодой, приятной внешности врач. После танцев и пары стаканчиков игристого вина раскрасневшаяся девушка, позабыв про стыд, бросила вызов ученому, предложив на практике опробовать его знаменитый «фильтр любви». Нострадамус шутя ответил, что это вполне возможно, но при одном условии — она непременно должна выйти за него замуж. Девушка, однако, не испугалась и... приняла предложение.

В 1535 году в католическом храме Ажена был заключен брак между Анной Кабрехас из Периньяна и Мишелем Нострадамусом.

сом из Сент-Реми. Теперь медик-астролог позабыл о том, что должен изучать звезды, занялся изучением другой науки... «Фильтр любви» не понадобился — Анна и без того была безумно влюблена в Мишеля, и он отвечал ей взаимностью. Через год у них появился сын, а затем и дочь...

Нострадамус решил навсегда поселиться в Ажене, чем обрадовал своих друзей и жителей. Однако вскоре пополз слух — Нострадамус и Скалигер собираются уехать из этих мест. Все всполошились — еще бы, ведь они так гордились, что рядом живут великий ученый и сатирик Скалигер и не менее знаменитый медик и астролог Нострадамус! Горожане спешно собрали крупную сумму денег и предложили ее друзьям с условием, что те останутся в городе. Но они наотрез отказались взять деньги, попросив раздать их беднякам. Вскоре ответ двух друзей стал известен каждому жителю. Под напором радостных чувств люди высыпали на улицу, повсюду раздавались счастливые возгласы, все ликовали. Вдруг кто-то заметил прогуливающихся господ: Мишель Нострадамус под руку поддерживал своего друга Скалигера. Все, как по команде, ринулись к ним. Мгновение, и они очутились на чьих-то плечах. Издавая громкие вопли, толпа понесла их по улицам города.

Три года, проведенные в Ажене, пролетели как одно мгновение. Мишель Нострадамус был счастлив. Он любил жизнь, любил свою науку, друзей. Среди тех, кого Нострадамус встречал с особым удовольствием, были профессор-медик Филибер Саррауен и старший сын Скалигера. Нострадамус нравились его кальвинистические идеи и то, что он был гугенотом. Но по своей ученой рассеянности Мишель запомнил, что недреманное око церковников все видит. Смелые слова его вскоре достигли ушей епископа, который выразил удивление частыми встречами Мишеля Нострадамуса, ревностного католика, с гугенотом и узрел в этом крамолу, о чем немедленно сообщил в Инквизиционный суд в Тулузе.

Вскоре Нострадамус и Саррауен получили тайное уведомление от друзей, что из Тулузы к ним направляется монах по поручению святой инквизиции. Оба друга прекрасно понимали, что им сулит такая встреча, и, дабы избежать костра, спешно покинули город...

Кроме того, Мишель Нострадамус опасался, как бы в этой связи не всплыла еще одна, неприятная для него история. Как-то он посетил мастерскую одного ремесленника, отливавшего из бронзы различные скульптуры. Заметив, как топорно тот работает над изваянием Девы Марии, Мишель Нострадамус просто-душно заметил, что в его руках она выглядит «безобразнее самого Сатаны». Такая резкая оценка повергла автора в шок. И он донес обо всем представителям церковной власти.

Нострадамуса обвинили в ереси и вызвали для предварительного разбирательства в Инквизиционный суд в Ажене. Защищая себя от необоснованных нападков, Мишель заверил, что его слова относились не к Богородице, а к дурному исполнительскому мастерству незадачливого скульптора. Это, естественно, не убе-

дило судей. Однако они не рискнули вынести строгое решение в отношении столь знаменитой личности и передали дело в высшую инстанцию — Инквизиционный суд в Тулузе.

Нострадамус отдавал себе отчет, что предстоящая встреча с «хранителями чистоты веры» ему ничего хорошего не сулит. Попросив друзей позаботиться о семье, он тайно выехал в Бордо, где провел, скрываясь от церковных властей, несколько месяцев.

Кстати, произошел еще один страннейший инцидент, который тоже мог привлечь внимание бдительной инквизиции. Плотник по имени Питер Труа упал с крыши церковной ризницы и сильно разбился. Тело несчастного срочно доставили в храм и положили на большой дубовый стол. У местного священника, видимо, не было времени, чтобы долго с ним возиться, и, будучи уверен, что плотник испустил дух, он на скорую руку его соборовал. В это время в церкви случайно оказался Мишель Нострадамус. Подойдя к рыдающим родственникам, он попросил всех выйти и плотно закрыть за собой двери, оставив его наедине с покойником.

Приблизительно через час Нострадамус, поддерживая плотника под руку, вышел с ним на паперть. Все пришли в изумление. Как же медику-астрологу удалось оживить мертвого? Спасенный в знак признательности выстругал из дерева бюст Нострадамуса и поместил его в звоннице на месте убранного по этому случаю святого распятия.

Когда Нострадамус в 1538 году вернулся в Ажен, юг Франции вновь захлестнула эпидемия чумы. Двухколесные повозки под заунывный гул колокола развозили по кладбищам горы почерневших трупов. И снова Нострадамусу пришлось, засучив рукава, надеть кожаный фартук, закрыть рот тряпкой, намоченной чесночным соком, и с присущей ему отвагой отправиться на помощь несчастным соотечественникам.

Он щедро помогал другим, еще не зная, что горькая судьба уже готовила сокрушительный удар. Однажды вечером, вернувшись домой с епископского двора, куда свозили со всего города сотни больных бубонной чумой, он заметил, что его жена Анна и дети пылают жаром, а на лицах появились отвратительные гнойники. На сей раз непрошенная гостья не пощадила его близких! Он делал все, что мог, но ему так и не удалось их спасти. Все трое умерли.

Горю Нострадамуса не было предела. А тут еще сестра его супруги с мужем затеяли против него судебный процесс с целью возвращения приданого Анны.

Тяжело переживая невосполнимую утрату, он распродал все свое имущество, включая мебель, оставив только самое дорогое — астрольбию и книги по медицине, — и вновь оседлал своего верного мула. Попрощавшись с добрыми жителями Ажена, которые уже не осмеливались его удерживать, Мишель Нострадамус вновь отправился в путь...

Продолжение следует.

Именно так называется новый криминальный роман Николая Леонова, где продолжается захватывающую борьбу с мафией наш с вами, дорогой читатель, всеобщий любимец — полковник МУРА Лев Иванович Гуров.

В основе романа, конечно же, убийства. Не-

КРОВЬ АЛАЯ

ординарность их в том, что происходят они в сферах, казалось бы, недоступных для уголовного мира, — в частности, в подмосковной резиденции спикера Верховного Совета. Да и время в стране особое — в разгаре подготовка к очередным выборам Президента России.

«Из-за приоткрытой двери в приемную, за которой находился кабинет, раздался приглушенный зуммер «кремлевки».

— Ни сна, ни отдыха измученной душе, — продекларировал спикер и пошел к телефону. Сняв трубку, выдержал паузу и равнодушно сказал: — Слушаю.

— Вы ведете себя неразумно, господин спикер, — произнес низкий мужской голос. — Когда история выплывет наружу, как вы объясните прессе и избирателям свое поведение? Вместо того, чтобы громогласно объявить, что исполнительная власть беспомощна, разрешает убивать людей даже в доме спикера парламента, вы прячете труп и молчите.

— Раз вы такой смелый, представьтесь, пожалуйста. — От столь неожиданного звонка к нему вновь вернулось спокойствие.

— Мое имя вам ничего не даст, зовите меня — избиратель. Я желаю вам победы, хочу видеть вас Президентом.

— Спасибо, господин избиратель, — ответил спикер. — Общих слов мне хватает в парламенте и на съезде, можете сказать что-либо конкретное?

— Могу. Утром все выплывет, обдумайте свою позицию. Второе — гоните этого мента, Гурова, он человек лишний и опасный. Спокойной ночи...»

«— Пошел вон! — Спикер встал.

— Дурак и уши холодные! — Гуров махнул на хозяина рукой. — Извините, у меня такая присказка. Когда молодой оперативник глупость сморозит, я так выражаюсь, сейчас вырвалось. Извините. — В голосе сыщика, однако, никакой вины не звучало.

Несколько секунд спикер никак не мог закрыть рот. Когда с этой задачей справился, устал в кресло и рассмеялся.

— Давненько, давненько со мной не говорили по душам. Хорошо, выкладываете, как я могу вам помочь, чтобы вы спасли мне жизнь. Такая формулировка годится?

— Кто победит на выборах, если вас... Если вы тяжело заболете?

— Президент! Кто же еще? Мы — политические противники! Я вижу, вы человек темный.

— Темный, — почему-то с радостью согласился Гуров, — просветите, пожалуйста. Допустим, вы и Президент свои кандидатуры сняли...»

Как вы догадываетесь, читатель, Гуров находит не только убийц, но и их могучих вдохновителей. Но через какие сражения он идет к победе, вы узнаете, прочитав роман «Кровь алая» в «Смене» в двух номерах в конце года. А для этого вам надо оформить на II полугодие подписку, которая начинается с 1 апреля.

Индекс «Смены» прежний — 70820.



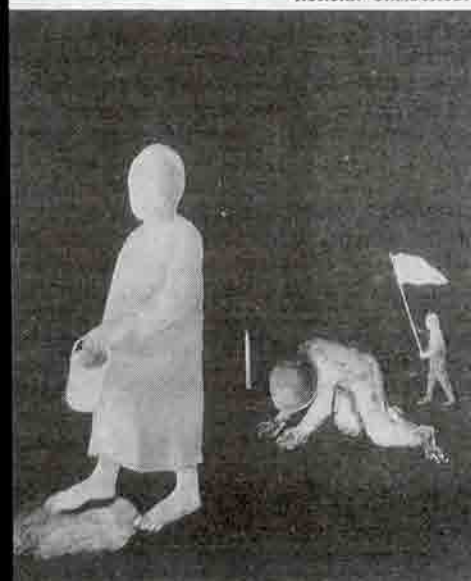
ВИКТОР ЛЫСАКОВ. *Повля птицы.*

Виктор Лысаков стал известен как художник «неофициального искусства» в начале 80-х. Следуя традиции русских дореволюционных примитивистов, он сумел в своих работах передать трагическую отчужденность и незащищенность человека в нынешнем мире дисгармонии. В полных тревоги картинах Лысакова трагичность бытия доходит до гротеска, искусство художника не оставляет надежды на вселенскую благодать — ведь ядерный век и время экологических катастроф подвели человечество к краю бездны.

Несмотря на кажущуюся простоту, его работы сложны для восприятия. Исследователи современ-

На грани ЯВИ и СНА

Поиски Символов.



ного искусства и коллекционеры причисляют Виктора к художникам новой волны, творчество которых полно разочарования и безысходности.

Родился Виктор Лысаков в 1952 году в городе Рубцовске Семипалатинской области, куда судьба забросила служить его отца — военного, коренного сибиряка.

После окончания школы Виктор приехал в Москву поступать в Институт стали и сплавов. Параллельно занимался в одной из московских художественных студий, ходил по музеям, досконально изучал в библиотеках все, что касалось классического и современного изобразительного искусства.

После окончания института он несколько лет проработал на сталелитейном заводе: защитив диссертацию, стал кандидатом технических наук. Впереди ждали спокойное существование, стабильный заработок. Что еще надо? Но в течение всех этих лет Виктор усиленно занимался живописью. И, наконец, решился: бросил все и стал свободным художником.

Первое время, чтобы иметь хоть какой-то заработок, он торговал своими работами на Арбате. На него обратил внимание один из коллекционеров отечественного авангарда 20—30-х годов, который помог Виктору (вместе с другими художниками) открыть в 1988 году в самом центре Москвы галерею «Арбат». Там выставлялись работы мастеров современного авангарда.

Потом была шумевшая выставка «Лабиринт», открывшая дорогу многим, тогда еще неизвестным художникам. На этой выставке Лысакова заметили зарубежные коллекционеры. Его картины стали приобретать галереи Европы и Америки.

Однажды Лысакова спросили: легко ли быть художником?

— Нет, — ответил он, — но интересно. И не соскучишься. Специфика профессии в том, что слава и деньги обычно редко встречаются с автором в одном временном промежутке. Поэтому в творчестве художника решается, кроме проблемы самого искусства, еще и бытовая проблема — выживет или нет? Слишком много действующих лиц, корыстных и бескорыстных болельщиков, а то и азартных игроков, задействовано в этом спектакле, весьма близком к корриде. Может, потому так мало победивших быков.

Казалось бы, успех уже достигнут. Что дальше? Лысаков нашел ответ на этот вопрос, обретая свой

особый стиль, особый живописный язык, углубивший свойственное художнику трагическое мироощущение. В его картинах появились напряженно звучащий колорит, резкие контрасты света и тьмы и много символики: жуткие призраки, манекены, оборотни, безликие или в масках, с огромными провалами вместо глаз... Они участвуют в шествиях, маскарадах и предстают перед зрителем, как порождение снов и фантазмагорий.

Не случайно работы Лысакова ассоциируются с поздними фильмами Андрея Тарковского. Он так же изображает почти ритуальные действия, персонажи его погружены или в черное безмолвие вселенской ночи, или в слепящий день.

Его герои бредут по раскаленной от зноя желтой пустыне, пускаются в страшный танец жизни и смерти, участвуют в трапезе, присутствуют на пирах, которые длятся до бесконечности.

Перед нами — Фея, прекрасная и босая, — символ беззащитности и невостребованности добра. А вот заблудившиеся во мгле путники с колокольчиком и фонарем в руках, но тьма все же обступает их — и это рассказ о вечных и бесплодных поисках человека. Канатоходец, скользящий по натянутой над бездной проволоке; актер, заглядывающий в зеркало, у которого сон переплетается с явью, а реальная жизнь с театральной выдумкой...

Хотя Виктор Лысаков и состоялся как художник, он продолжает экспериментировать, искать свой творческий почерк, мучительно решаясь на очередное «жертвоприношение» во имя искусства.

АЛЛА ТРИСТАН



ЗРЛ СТЕНЛИ ГАРДНЕР

Секрет



Рисунки ВЯЧЕСЛАВА ЛОСЕВА

ПАРЧЕРИЦЫ

В 10.45 утра Делла Стрит в каком-то нервном напряжении стала поглядывать на часы. Перри Мейсон перестал диктовать и с улыбкой спросил ее:

— Ты что-то сильно нервничаешь, Делла.

— Никак не могу успокоиться, — призналась она. — Подумать только, звонил сам мистер Бэнкрофт и просил принять его как можно скорее! А его голос?! Как он звучал по телефону!

— Ты ему сказала, что он будет принят в одиннадцать часов?

— Да, — она утвердительно кивнула головой, — и он ответил, что будет выжимать из машины все, чтобы добраться вовремя.

— Ну что ж. Значит, Харлоу Биссинджер Бэнкрофт будет здесь ровно в одиннадцать. Он не кидает слов на ветер и умеет ценить время. Каждая минута у него на счету. Только так он и ведет свои дела.

— Не понимаю, — в задумчивости произнесла Делла, — что ему нужно от адвоката по уголовным делам? Говорят, у него больше корпораций, чем у собаки блох. Целая армия адвокатов занимается только его делами. Лишь в одном отделе налогов — семь юристов.

Мейсон взглянул на часы.

— Потерпи еще немного, и мы все узнаем. Только я...

Резкий телефонный звонок прервал его.

Делла Стрит схватила трубку и ответила секретарше в приемной:

— Да, Гёрти... Минутку...

Затем, прикрыв микрофон рукой, обратилась к Мейсону:

— Мистер Бэнкрофт уже здесь. Говорит, что смог добраться раньше и подождет до одиннадцати, если вы сейчас заняты, но вообще-то он очень спешит.

— Дело, видимо, куда более срочное, — заметил Мейсон, — чем я предполагал. Хорошо, пусть войдет, Делла.

Делла Стрит резво схватила блокнот для записей и вышла в соседнюю комнату. Вскоре она возвратилась с человеком примерно пятидесяти лет. У него были коротко подстриженные пепельные усы, подчеркивающие решительность рта, глаза серо-стального цвета и манеры сознающего свое положение в обществе человека.

— Добрый день, мистер Мейсон. Благодарю вас за то, что так быстро приняли меня.

Он повернулся и недоверчиво взглянул на Деллу.

— Делла Стрит — мой доверенный секретарь, — пояснил Мей-

Эрл Стенли Гарднер (1889—1970) — американский писатель, известный мастер детективного жанра. По профессии был юристом и обрел популярность яркими судебными процессами. За сорок лет литературной деятельности создал 72 романа, в которых главным персонажем выступает адвокат Перри Мейсон, 29 романов о частном сыщике Дональде Лэме и 9 романов, посвященных провинциальному прокурору Дугу Селби, а также великое множество рассказов, составивших не один десяток сборников.

сон. — Она присутствует при всех моих разговорах и делает пометки.

— Но это чрезвычайно секретное дело, — возразил Бэнкрофт.

— Она умеет хранить секреты. Ей известны все дела, которые я веду.

Бэнкрофт сел и как-то сник. Чувство решительности и уверенности в себе неожиданно исчезло.

— Мистер Мейсон, я на краю пропасти. Все, ради чего я работал всю свою жизнь, все, что построил, рухнет как карточный домик.

— Успокойтесь, — прервал его Мейсон. — Наверняка все не так уж серьезно. Расскажите, что вас беспокоит, а там посмотрим, что можно сделать.

Бэнкрофт протянул вперед свои руки.

— Вы видите их? — спросил он трагическим голосом.

Мейсон утвердительно кивнул головой.

— Все в своей жизни я построил вот этими руками, — продолжал Бэнкрофт. — Они были моей единственной поддержкой. Я работал как вол. Боролся, чтобы идти вперед. Влезал в долги, пока не почувствовал, что больше не могу их выплачивать и не в состоянии достичь финансового благополучия. Я пробивался сквозь ряды неприятелей, не имея ни единого козыря в руках, одну лишь способность хитростью обойти их. Я играл, и ставкой было мое состояние. Я все скупал в то время, когда в панике все продавали. И вот теперь эти самые руки несут мне гибель.

— Почему?

— Все дело в отпечатках пальцев.

— Продолжайте, — проговорил Мейсон, сощурился.

— Если можно так выразиться, я создал себя сам. Сбежал из дома, когда меня там почти ничего не удерживало. Попал в довольно плохую компанию и узнал много такого, чего не следовало бы знать. Узнал, как обрезать провод зажигания в машинах, как зарабатывать на жизнь в темных аллеях. Короче говоря, я научился воровать: шляпы, одежду и автомобили.

В конце концов меня поймали и отправили в исправительный дом. Это, возможно, лучшее, что было в моей жизни.

Оказавшись там, я затаил злобу против общества, полагая, что попался по неосторожности. Поэтому на будущее решил быть хитрее и продолжать свои сомнительные дела с учетом прежних промахов.

В тюрьме был капеллан, который заинтересовался мною. Я не скажу, что он приобщил меня к религии, просто помог обрести чувство веры в себя и своих товарищей, в божественное строение вселенной. Он советовал мне прислушиваться не к эгоистическим желаниям, а к чувствам, пробуждавшимся во мне, когда я был в полной гармонии со всем миром. Он призывал меня в одиночестве ночи преклоняться перед великим сердцем вселенной.

— И вы это делали? — спросил Мейсон.

— Да, потому что он уверял, что я боюсь этого, а я хотел доказать его неправоту.

— И что же, он был не прав?

— Не знаю, как сказать. На меня что-то нашло. Я стал читать, учиться и думать.

Мейсон с любопытством взглянул на него.

— Ну, хорошо. Мне известно, что вы много путешествовали, мистер Бэнкрофт. Что вы делали с паспортами?

— К счастью,— ответил Бэнкрофт,— я начал новую жизнь, сохранив достаточно семейной гордости, и поэтому не раскрыл своего настоящего имени. В тюрьме я пользовался вымышленным именем, и мне удалось сохранить свое инкогнито.

— А отпечатки пальцев?

— Вот тут-то собака и зарыта. Если когда-нибудь отпечатки моих пальцев попадут в ФБР, то через несколько минут станет известно, что Харлоу Биссинджер Бэнкрофт — крупный финансист и филантроп — на самом деле преступник, пробывший четырнадцать месяцев в заключении.

— Теперь все ясно,— сказал Мейсон.— Видимо, кто-то раскрыл секрет вашего прошлого и угрожает сделать его достоянием общности. Вас шантажируют и требуют денег?

Вместо ответа Бэнкрофт вынул из кармана лист бумаги и протянул его адвокату.

На нем было напечатано следующее:

«Сложите в красную банку из-под кофе 1500 долларов в десяти- и двадцатидолларовых банкнотах, положите туда еще десять серебряных долларов. Плотно закройте банку крышкой и ждите телефонных указаний относительно времени и места передачи. Вложите туда и записку, чтобы мы были уверены, что полиция не начнет разыскивать нас по машинописному тексту письма. Если вы будете следовать нашим указаниям, вам нечего бояться, в противном случае вашей семье придется пережить немало неприятных минут, связанных с разоблачением: чьи отпечатки пальцев на документах и где именно».

Мейсон внимательно прочитал письмо.

— Оно было послано вам по почте?

— Не мне, а моей падчерице, Розене Эндрюс.

Адвокат вопросительно взглянул на Бэнкрофта.

— Семь лет назад,— стал объяснять Бэнкрофт,— я женился на вдове. У нее есть дочь Розена. Ей тогда было шестнадцать лет, сейчас — двадцать три года. Это очень красивая, энергичная девушка, которая помолвлена с Джетсоном Блэром. Семья Блэров занимает видное положение в обществе.

Мейсон задумался.

— А почему они решили ударить по ней, а не по вам?

— Они, видимо, хотели подчеркнуть то обстоятельство, что в период помолвки она наиболее уязвима.

— Дата свадьбы назначена?

— Нет, но предполагается, что она состоится месяца через три.

— А как вы обнаружили это письмо?

— Мою падчерицу что-то ужасно расстроило. Она вошла в дом с конвертом в руке, а лицо у нее было бледным как полотно. Она собиралась днем пойти искупаться, но вдруг позвонила Джетсону Блэру и отменила встречу, заявив, что нездорова.

Я понял, что тут что-то не так.

Затем Розена под каким-то предлогом уехала в город. Я подумал, что она решила навестить мать, бывшую в то время на нашей городской квартире. Розена уехала сегодня утром. Сразу же после ее отъезда я заглянул к ней в комнату и на столе под промокательной бумагой обнаружил это письмо.

— Секундочку, — прервал его Мейсон, — давайте уточним. Вы говорите, что она, по-видимому, поехала в город навестить свою мать?

— Думаю, да. Моя жена в городе: готовится к благотворительному балу, а мы с Розеной живем на вилле у озера. Жена обещала вернуться на виллу сегодня вечером. Вот почему мне надо было встретиться с вами как можно скорее. Письмо должно лежать на месте до возвращения Розены.

— Вы рассказывали жене что-нибудь о вашем преступном прошлом? — спросил Мейсон.

— О боже! Конечно же, нет! Мне следовало бы это сделать, но я был слишком влюблен. Я понимал, что, несмотря на свою любовь ко мне, Филлис, чтобы не повредить общественному положению Розены, никогда не выйдет замуж за человека с преступным прошлым.

Итак, мистер Мейсон, вы единственный человек на свете, который знает мою тайну.

— Если, конечно, не считать одного или нескольких лиц, пославших это письмо, — добавил Мейсон.

Бэнкрофт утвердительно кивнул головой.

— У Розены достаточно денег, чтобы выполнить эти требования? — спросил Мейсон.

— Безусловно, — ответил Бэнкрофт. — У нее в банке вклад в несколько тысяч долларов. Кроме того, она в любое время по желанию может получить от меня нужную ей сумму.

— Вы не знаете, что она собирается сделать: ответить на это требование или же нет?

— Абсолютно уверен, что ответит.

— В таком случае это только начало. Так нельзя отделаться от вымогателей.

— Знаю, знаю, — сказал Бэнкрофт. — Однако в конце концов после свадьбы давление вряд ли будет таким уж сильным.

— На нее — возможно, — пояснил Мейсон. — Но оно перекинется на вас. Вам не кажется, что вашей падчерице все известно?

— Конечно, она знает. Люди, пославшие письмо, должно быть, позвонили ей, все рассказали и дали понять, что ее ожидает, если она не примет их условий. Я в этом абсолютно уверен.

— Вы говорите, что живете на озере?

— Да, на озере Мертисито, — ответил Бэнкрофт. — У нас там дача.

— Насколько я знаю, дома в этом районе доступны немногим. Стоимость их доходит до нескольких тысяч долларов.

— Да, это верно, — подтвердил Бэнкрофт, — за исключением, правда, трехсотфутового участка на южном берегу озера. Там расположен общественный пляж, есть лодочная станция, где

можно взять напрокат лодку... да и публика в целом спокойная. Лишь иногда появляются отдельные личности, которые устраивают беспорядки и тревожат постоянных жителей. Частные владения доходят до самого берега, поэтому нарушителей мы почти не видим. Озеро идеально для занятий водными лыжами, что тоже порой причиняет неприятности.

— Если я вас правильно понял, этот трехсотфутовый участок принадлежит штату?

— Нет, это частное владение.

— Почему же тогда владельцы не объединятся и не выкупят его?

— Видите ли, это владение было передано наследникам через опекунов с условием, что в течение десяти лет оно будет открыто для публики. Участок принадлежал человеку, который мнил себя патриотом города. Он полагал, что слишком много земель близ озера захвачено богатыми частниками, а публике ничего не осталось.

— Как содержится этот участок? — спросил Мейсон.

— По моему мнению, на очень высоком уровне. Владельцы приняли все меры, чтобы не было хулиганов. Однако пляж все время открыт для публики, а вы, наверное, сами понимаете, что это означает.

— В каком банке ваша падчерица хранит деньги? — Мейсон кивнул головой в сторону телефона. — Вам это наверняка известно. Розена уехала в город, а сейчас уже одиннадцать. Позвоните в банк и поинтересуйтесь ее вкладом. Представьтесь и попросите служащих банка держать ваш разговор в секрете. Разузнайте, не снимала ли она сегодня утром со своего счета 1500 долларов в десяти- и двадцатидолларовых купюрах.

После некоторого колебания Бэнкрофт взял телефонную трубку, протянутую ему Деллой Стрит, попросил к телефону управляющего банком, представился и сказал:

— Я хотел бы в строго конфиденциальном порядке получить некоторую информацию. Скажите, не снимала ли сегодня утром моя падчерица со своего счета какой-нибудь суммы?.. Хорошо, я подожду. — Последовало несколько минут молчания. Затем Бэнкрофт снова заговорил: — Алло... Да... Понимаю... Огромное спасибо... Нет, ничего... Забудьте этот разговор.

Бэнкрофт повесил трубку, повернулся к Мейсону и утвердительно кивнул головой:

— Она действительно сняла со счета полторы тысячи долларов, потребовав их в десяти- и двадцатидолларовых купюрах. Она также попросила десять серебряных долларов.

Мейсон задумался.

— Позвольте, Бэнкрофт, дать вам один совет. Вполне вероятно, вы не последуете ему.

— А что за совет?

— Священник, помогавший вам исправиться, еще жив?

— Да. У него сейчас довольно большая церковь.

— Сделайте церкви значительное денежное пожертвование.

При этом, — пояснил Мейсон, — открыто заявите, что вы лично обязаны священнику, так как в прошлом совершили некоторые

ошибки. Другими словами, бейте их наповал, встаньте во весь рост и будьте довольны жизнью.

Бэнкрофт побледнел и отрицательно покачал головой.

— Я не могу этого сделать, мистер Мейсон. Это просто убьет мою жену и поставит Розену в невыносимое положение.

— Ну что ж, тогда приготовьтесь платить, платить и платить.

— Я предвидел это, — кивнул головой Бэнкрофт.

— Если, конечно, — продолжал Мейсон, — вы не пожелаете предоставить мне полную свободу действий.

— Я согласен. Именно поэтому я здесь.

— Шантажисты порой уязвимы, — поучительным тоном заметил Мейсон. — Их можно направить в тюрьму по другому обвинению, и если вы обратитесь в полицию, то, безусловно, получите от них помощь...

— Нет, нет и нет. В полиции ничего не должны знать. Слишком много сенсационно-скандального материала.

— Хорошо, но то, что я собираюсь сделать, обойдется вам дешево. Это будет дерзкий, хитрый и, надеюсь, достаточно разумный план, чтобы одурачить шантажистов.

— Что вы имеете в виду? — спросил Бэнкрофт.

— Обратите внимание на содержание письма. В нем говорится, что деньги нужно вложить в большую кофейную банку, плотно прикрытую крышечкой. Упоминается и о десяти серебряных долларах. А что это может означать?

— Я не понимаю...

— По-моему, — продолжал Мейсон, — банку надо будет бросить в воду. Десять серебряных долларов будут своего рода балластом и будут держать ее в вертикальном положении. Все это позволит шантажистам остаться в тени и незаметно выловить банку.

— Что ж, вполне логичное предположение, — ответил Бэнкрофт после минутного размышления.

— Вы живете у озера. Ваша падчерица наверняка занимается водными лыжами.

Бэнкрофт утвердительно кивнул головой.

— Надо будет воспользоваться этой возможностью. Один мой знакомый, опытный детектив, будет в бинокль наблюдать за вашей падчерицей. Как только она кинет в воду банку, кто-нибудь из моих помощников, который будет в это время либо кататься на лодке, либо ловить рыбу на озере, найдет ее, откроет, а затем все изложит полиции.

— Что?! — воскликнул Бэнкрофт, вскочив на ноги. — Именно этого нельзя допустить!

— Минутку, — прервал его Мейсон. — Взгляните еще раз на ситуацию. В письме нет указания на то, кому оно послано. Если человек, нашедший банку с деньгами, сможет разыграть из себя невинного рыбака и передаст ее в полицию, то дело будет предано огласке, шантажисты впадут в панику и попытаются найти другой путь, чтобы начать все сначала. Они займут оборонительные позиции и не смогут утверждать, что их жертва их же и предала. Просто посчитают, что судьба разыграла с ними злую шутку. Деньги в руках полиции будут

в полной безопасности, а вымогателям придется на время замолчать.

— Они вновь нанесут удар,— сказал Бэнкрофт.— Опубликуют всю известную им информацию обо мне...

— И убьют гуся, несущего золотые яйца? — язвительно возразил Мейсон.— Вряд ли.

Бэнкрофт задумался.

— Что ж, можно рискнуть.

— Нельзя жить, не рискуя,— вставил Мейсон.— Если вам нужен юрист, не умеющий рисковать, ищите кого-нибудь другого.

— Хорошо,— вздохнул Бэнкрофт.— Все в ваших руках.

— А теперь,— продолжал Мейсон,— я собираюсь, с вашего разрешения, кое-что сделать.

— Что именно?

— Из текста видно, что в деле замешано несколько человек. Если удастся, я попытаюсь разбить эту комбинацию.

— Как?

— Именно об этом я сейчас и думаю. Трудность в том, что шантажист всегда заставляет нас обороняться. Это он делает очередной ход. Это он указывает вам, что делать, где необходимо внести деньги, когда вы должны это сделать и как. Вы возмущены, вы злитесь, но в конце концов сдаетесь.

Бэнкрофт согласно кивнул головой.

— При такой ситуации возможны четыре выхода.— Загибая пальцы, Мейсон стал считать: — Во-первых, вы платите шантажисту, надеясь, что избавляетесь от него навсегда. Это все равно, что искать мираж в пустыне. Вымогатель, конечно, в покое вас не оставит. Во-вторых, вы обращаетесь в полицию, все рассказываете, устраиваете ловушку для шантажиста и сажаете его в тюрьму. Полиция же держит ваше признание в тайне.

Бэнкрофт решительно покачал головой.

— В-третьих,— продолжал Мейсон,— вы вынуждаете вашего противника перейти к обороне. В таком положении он не в состоянии нападать и указывать вам, что делать, когда и как. Вы заставляете его нервничать. Так что, если я буду заниматься этим делом, то попытаюсь воспользоваться третьим способом.

— Ну, а четвертый способ? — спросил Бэнкрофт.

— Четвертый способ,— ехидно улыбнулся адвокат,— убийство шантажиста. Однако я бы не рекомендовал вам его.

— Все в ваших руках,— после некоторого раздумья промолвил Бэнкрофт.— Вам придется воспользоваться третьим способом. А для начала мы заплатим. Это даст нам какое-то время. Какая сумма вам понадобится?

— Для начала десять тысяч долларов. Я хочу нанять сыскное агентство Пола Дрейка, а также воспользоваться услугами оперативных работников. Хочу выяснить, кто эти шантажисты, а когда узнаю, попытаюсь подкинуть им столько работенки, что у них не будет времени ни на вас, ни на вашу падчерицу.

Бэнкрофт вынул чековую книжку и выписал чек на десять тысяч долларов.

— Это предварительный гонорар.

— Частично для покрытия первоначальных расходов, — уточнил Мейсон.

Адвокат выдвинул ящик стола, взял оттуда маленький фотоаппарат, приделал к объективу удлинитель, положил письмо на стол, установил аппарат на треножник и сделал три фотоснимка с разной выдержкой.

— Этого должно быть достаточно. — Затем свернул письмо и вернул его Бэнкрофту.

— Вы даже не представляете, — заметил Бэнкрофт, — какой груз сняли с моих плеч, Мейсон.

— Это еще не все, — произнес Мейсон. — Возможно, когда я закончу, вы будете проклинать меня.

— Никогда! Я слишком много слышал о вас, о вашей репутации и ваших успехах. Ваши методы блестящи и необычны, но вполне оправдывают себя.

— Хорошо, — перебил его Мейсон. — Попробуем довести дело до конца, а там посмотрим, поменяемся ли мы с шантажистами ролями.

2

Пол Дрейк внимательно изучил копию письма, которую Делла Стрит отпечатаала на машинке.

— Ну, что скажешь? — спросил Мейсон.

— Кому оно послано?

— Розене Эндрюс, падчерице Харлоу Биссинджера Бэнкрофта.

Дрейк присвистнул.

— А теперь, — продолжил Мейсон, — взгляни на письмо еще раз. Обрати внимание на то, что деньги и серебряные доллары должны быть вложены в плотно закрытую кофейную банку.

— Ну и что?

— Дело в том, — продолжал Мейсон, — что доставка денег произойдет водным путем. Банку надо будет бросить в воду. В конце концов для шантажистов это лучший способ.

Бэнкрофты в настоящее время живут на озере Мертисито. Розена Эндрюс, падчерица Бэнкрофта, любит водные лыжи.

Я думаю, ей позвонят по телефону, прикажут покататься по озеру на водных лыжах с банкой под мышкой и бросить банку в определенном месте озера.

— А затем? — спросил Дрейк.

— После того как Розена исчезнет из виду, лодка шантажистов устремится к тому месту. Они выловят кофейную банку, возьмут оттуда письмо и деньги, бросят в воду открытую банку, чтобы она затонула, а затем как ни в чем не бывало поплывут своим путем.

— Значит... — вставил Дрейк.

— Необходимо действовать быстро. Мне хотелось бы, чтобы ты нашел несколько женщин-оперативниц, которые бы неплохо выглядели в купальных костюмах. Если сможешь, найди какую-нибудь начинающую кинозвезду, жаждущую рекламы в газетах. Одень девушек в самые короткие купальники, допустимые за-

коном, и возьми самую быструю лодку. Прихвати бинокль и начинай.

— Что я должен делать?

— Отправляйся на озеро и заставь девушек дурачиться, — стал объяснять Мейсон. — Пусть они прыгают в воду, плещаются, принимают солнечные ванны. Катайтесь на лодке и, если в озере есть рыба, занимайтесь ловлей. Временами пускайте лодку на полную скорость. И все время держитесь близко от берега и следите за виллой Бэнкрофтов.

Сегодня днем или завтра вы увидите, как Розена Эндрюс встает на лыжи и...

— Как я ее узнаю?

— Если это именно она, то у нее под мышкой будет красная кофейная банка. Ее лодка отойдет от дачи Бэнкрофтов.

Розена будет либо скользить на лыжах, либо просто кататься в лодке. Твоя же лодка должна быть около берега. Ты будешь следить за нею, пока она не бросит кофейную банку. Как только она сделает это, твои девицы начнут дурачиться. Ты помчишься на лодке на полной скорости, но не к самой банке, а в сторону волн, поднятых лодкой Розены. Вы будете плескаться в волнах и приятно проводить время, пока, совершенно случайно, не найдете эту банку.

И вот здесь, Пол, самое важное. Я хочу, чтобы у тебя была точно такая же кофейная банка. Она будет, конечно, пустой. Вы должны с помощью сачка выловить банку, брошенную Розеной, и взамен ее опустить в воду свою, пустую. Все должно быть проделано необычайно быстро.

— Это не так-то легко, — заметил Дрейк.

— Но вполне возможно. Потребуется тщательная координация действий. Затем на большой скорости вы будете носиться по озеру, делать круги и восьмерки, поднимать большие волны. Девушки, если они достаточно опытные, пусть катаются на лыжах. Банка будет то всплывать на гребне волны, то погружаться в воду. Следящий за ней не поймет, что именно происходит. Я хочу, чтобы у тебя в лодке было три, а еще лучше четыре девушки в бикини.

— А что делать после того, как мы выловим банку?

— Позвонить мне.

— А где вы будете?

— Мы с Деллой будем на даче Мелтона Эллиота. В свое время Эллиот обращался ко мне за помощью и с удовольствием окажет мне услугу. А банку спрячьте в какой-нибудь ящик или мешок, чтобы никто ее у вас не видел. После того как бросите в воду другую банку, быстро отправляйтесь к берегу и оттуда следите за ней. К ней подплывет какая-нибудь лодка, и я хочу, чтобы вы запомнили номер этой лодки, внешность сидящих в ней людей и куда они дальше поплывут. Сделать это нужно незаметно. Именно в этот момент в игру вступят другие девушки. Они будут шалить и резвиться, потому, естественно, все твоё внимание должно быть обращено на них.

— Хорошо, — сказал Дрейк. — Сделаю все, что в моих силах.

— Приступай к делу. Садись в машину, бери девушек и от-

правляйся на озеро. У тебя немного времени. Все, вполне возможно, произойдет сегодня днем.

— Тогда я пошел. — Дрейк попрощался и вышел из кабинета. Мейсон повернулся к Делле:

— Делла, позвоните Мелтону Эллиоту и попросите его предоставить нам на сегодня его дом на озере Мертисито. Потом возьмите пленку, и пусть Гёрти отвезет ее Фрэнку Стэнтеру Далтону, эксперту по почеркам. Попросите его проявить ее, сделать увеличенные снимки письма шантажистов, определить модель использованной печатной машинки, а затем купите мне какую-нибудь подержанную машинку этой же марки. Кроме того, получите в банке три тысячи долларов в десяти- и двадцатидолларовых купюрах. — Мейсон вынул чековую книжку и после некоторого раздумья добавил: — Вам, Делла, пожалуй, стоит взять купальник. Сегодня жарко, и, возможно, вам удастся выкупаться.

3

Роскошная резиденция Мелтона Вараса Эллиота находилась на другой стороне озера, как раз напротив виллы Харлоу Бэнкрофта.

Мейсон и Делла Стрит сидели в тени веранды. Адвокат смотрел в бинокль.

На озере почти никого не было. Временами в том или ином его конце появлялся катер, за которым следовал лыжник, делавший круги или причудливые зигзаги. Ласковый северный бриз подымал небольшие волны, которые еще больше украшали картину. Дворецкий принес прохладительные напитки, а затем все время держался поблизости, чтобы немедленно появиться в нужный момент.

— Интересно, — заявила Делла, повернувшись в южном направлении озера, — это случайно не Пол Дрейк с компанией?

Мейсон направил бинокль в указанную сторону. Его лицо постепенно расплылось в улыбке.

— Взгляни, — сказал он, протягивая бинокль Делле.

— О боже! — воскликнула она, вернула бинокль Мейсону и сухо добавила: — Мне кажется, эта сцена понравится вам больше, чем мне.

Мейсон посмотрел на катер и увидел в нем три женские фигуры в очень откровенных купальных костюмах.

— Похоже, у руля, в темных очках, — Пол Дрейк.

— И ему платят за это! — ехидно заметила Делла. — Немалые деньги, да еще покрывают все расходы!

— Без сомнения, — усмехнулся Мейсон, — я выбрал не ту профессию.

Лодка Дрейка прошла близ дома Эллиота, а затем сделала резкий поворот.

Полуголые девицы завизжали. Две из них судорожно вцепились в Дрейка.

— Он, кажется, еще и зубы скалит? — проворчала Делла.

— Мне не видно его лица. Слишком много женщин.

Лодка Дрейка резко замедлила ход. Одна из девушек достала водные лыжи, встала на них и подняла руку. Дрейк стремительно увеличил скорость. Молодая красавица, изящно скользя по поверхности, проделала ряд круговых движений, пересекая волны, поднятые лодкой.

— Не увлекайтесь так сильно Полом и его компанией, — напомнила Делла. — Вы забыли о доме Бэнкрофта, а от него, как мне кажется, только что отошла лодка.

Мейсон повернул бинокль в другую сторону.

— Действительно. В лодке только один человек. Думаю, вскоре появится и лыжник. Ведь по правилам требуется, чтобы в лодке было два человека: один — за рулем, а другой следит за лыжником, но второго я что-то не вижу. Похоже, Розена все хочет проделать сама. — Продолжая изучать озеро, Мейсон задумчиво произнес: — Вон там рыбак ловит на удочку, а лодка стоит на якоре. Ближе к южной части озера тоже несколько лодок. Больше никого поблизости нет.

— Вы случайно не видите, есть ли у нее красная банка? — спросила Делла Стрит.

В это время лодка Дрейка сделала еще несколько кругов.

— Минутку, — промолвил Мейсон. — Кажется, она что-то выбросила за борт, что-то красное... Не могу хорошенько разглядеть. Слишком много волн. Похоже, Дрейк тоже заметил.

Лыжник несся по прямой, сразу же за лодкой, а Дрейк все увеличивал и увеличивал скорость, быстро сокращая расстояние между собой и лодкой, отошедшей от причала Бэнкрофтов.

— Он направляется к тому месту, где упала кофейная банка, если... О, там что-то произошло!

Молодая девушка, скользившая на лыжах позади лодки Дрейка, попыталась сделать поворот, попала на волну и упала в воду.

Дрейк быстро сбавил скорость и стал делать круги.

— Черт побери! — воскликнул Мейсон.

Глядя в бинокль, он видел, как лодка пришла на помощь лыжнице. Девушка ухватилась за брошенный ей канат и наконец выпрямилась.

Дрейк сделал еще несколько кругов.

— Кажется, снимается с якоря рыбацкая лодка, — заметила в этот момент Делла.

— Да, действительно так, — согласился Мейсон, — и направляется в сторону волн, поднятых лодкой Бэнкрофтов. Впрочем, нет. Она делает большой круг. Дрейк стремительно пронесется перед самым ее носом. Брызги, поднятые лыжницей, окатили рыбака. Клянусь, он ужасно рассержен.

— Или раздражен, — вставила Делла.

Дрейк сделал еще несколько кругов, а затем сбавил скорость. Девушка упала в воду и изящно поплыла к лодке.

Вторая красавица, вставшая на лыжи, была не так опытна и минут через пять вернулась в лодку. Дрейк втащил все лыжные принадлежности, сделал еще один широкий круг и направился к общественному пляжу, в южную часть озера.

Рыбацкая лодка медленно поплыла дальше и повернула к затемненному берегу. Там рыбак снова закинул удочку.

Лодка Бэнкрофтов вернулась назад.

Ветер несколько посвежел. Мейсон в бинокль оглядел все озеро, на котором почти никого не было.

— Ну как, видно какую-нибудь красную банку? — спросила Делла.

Мейсон отрицательно покачал головой.

— Один раз я заметил какую-то красную точку на гребне волны. Но сейчас ничего не вижу. Дрейк возвращается. Очевидно, он закончил свое дело. Либо сделал все, либо ничего.

— Могу поспорить, что ему ужасно не хочется расставаться с красотками в купальниках, — усмехнулась Делла Стрит.

— Он позвонит, — прервал ее Мейсон, — и даст нам знать, что же все-таки произошло.

Дворецкий принес поднос с прохладительными нанитками и, стораая от любопытства, но тщательно скрывая это, поинтересовался, не нужно ли принести им что-нибудь еще.

— Нет, спасибо, — сказал Мейсон. — Думаю, мы уже все закончили.

— Не желаете ли пройти в зал? Там хорошие кондиционеры и очень удобно.

— Мы подождем здесь.

— Но днем на веранде с этой стороны озера порой бывает очень жарко. Там, за углом, гораздо больше тени.

— Нам здесь очень удобно.

— Хорошо. Очень хорошо, сэр.

Минут через двадцать зазвонил телефон.

— Вас, сэр, — сказал дворецкий, обращаясь к Мейсону. Мейсон взял трубку. Звонил Пол Дрейк.

— Перри, это ты?

— Да.

— Она у меня в руках.

— Все в порядке?

— Да.

— Кто-нибудь видел вас?

— Не думаю. Девушка мастерски скользила на лыжах, упала в воду как раз в нужное время и подменила банку.

— Интересно, а где она прятала другую банку?

— Не поверишь.

— Нет, я серьезно. Мне очень важно, заметили вас или нет.

— Банка была на веревке, привязанной к лыжному канату. Веревка была приделана специально для этой цели.

— Что было в красной банке? — спросил Мейсон.

— Письмо, полторы тысячи долларов и десять серебряных монет.

— Прекрасно. Жди меня и ничего не делай до моего приезда.

Мейсон повесил трубку и кивнул Делле. Они поблагодарили дворецкого, покинули дачу Эллиотов и поехали на лодочную станцию, где их встретил Пол Дрейк.

— Теперь тебе осталось сделать немного, Пол, — сказал Мейсон.

— Что именно?

— Ты нашел начинающую кинозвезду?

- Да. Она просто сногшибательна.
- И жаждет рекламы?
- Все отдаст ради нее. Это вопрос жизни и смерти.
- Прекрасно.

Мейсон вынул из багажника автомобиля портативную пишущую машинку и поставил ее себе на колени.

- А теперь посмотрим на содержимое банки, Пол.

Дрейк достал красную кофейную банку, на дне которой лежали десять серебряных долларов, а поверх них — полторы тысячи бумажных долларов и письмо шантажистов. Адвокат взял письмо, вставил его в машинку, забил слова «полторы тысячи» и над ними напечатал: «три тысячи». Затем вытащил из чемоданчика полторы тысячи долларов в десяти- и двадцатидолларовых купюрах, добавил их к деньгам в банке и вернул ее Дрейку.

- Надеюсь, лодку ты взял под чужим именем?

— Я сделал даже лучше,— заметил Дрейк.— Я вообще не брал лодки напрокат, а позаимствовал ее у своего друга. Нам пришлось заплатить только один доллар за пользование причалом.

— Прекрасно. Вот эту банку с письмом отдашь своей кинозвезде. Пусть она пойдет на спасательную станцию и скажет там, что во время прогулки на лыжах нашла и подняла эту банку, так как считала, что банка мешает плавать. Она сняла крышку, заглянула в банку и обнаружила в ней много денег, а затем увидела это письмо.

Если на станции не позвонят шерифу, пусть твоя красотка сама это сделает. Кстати, как ее зовут?

- Ева Эймори.

- На нее можно положиться?

— Дайте рекламу и можете полностью на нее рассчитывать. Реклама — вот что ей нужно. Ева прикатила на собственном автомобиле, так что во всех остальных отношениях она человек совершенно независимый.

— Хорошо. Пусть она делает все так, как я сказал, а деньги для нее — полная гарантия.

- Что же она должна сделать? — спросил Дрейк.

- Обратиться в полицию.

- И все рассказать?

- Да.

- Это может нанести только вред. Ведь девушка...

— Именно,— прервал его Мейсон.— Она ходит по краю пропасти, но то обстоятельство, что она передаст полиции три тысячи долларов, явится свидетельством ее честности, указанием на то, что это отнюдь не рекламный трюк. Ни одна кинозвезда, будучи в ее положении, не отдаст три тысячи долларов только ради того, чтобы ее фотография красовалась в газетах.

- Ну что ж. Вам виднее.

— Теперь о ее «легенде». Ева одевается, идет на станцию и рассказывает все так, как я сказал. Она должна заявить, что не знает фамилий тех, с кем была в лодке, что ее пригласил друг, но ей не хотелось бы, чтобы его имя было замешано в этом деле. Девушки, бывшие с ней, собираются стать киноактрисами, и, так

как они хотели покататься на лыжах, она показала им несколько трюков.

— Все ясно. В общем, Ева должна так сыграть, будто была на лодке с пожилым поклонником, которому не хотелось бы испортить свою репутацию.

— Кстати, Пол, а что произошло с другой банкой?

— Черт ее знает.

— На озере удил какой-то человек, и он сел за весла как раз в тот момент, когда от дома Бэнкрофтов отошла лодка.

— Я знаю, — сказал Дрейк, — но уверяю, что он не доплыл до того места, где была брошена банка.

— Куда же она тогда делась?

— Исчезла.

— Что?

— Она исчезла.

— Что ты имеешь в виду?

— Некоторое время банка была на плаву. Я ее видел даже без бинокля. Затем, когда я втащил в лодку все лыжные принадлежности, ее уже не было.

— Ты думаешь, она потонула? — спросил Мейсон.

— Вполне возможно.

— Ты что, неплотно закрыл крышку?

— Боюсь, Перри, что именно в этом причина. Нам пришлось делать замену чересчур быстро. Девушка упала в воду в нужное время и в нужном месте, схватила кофейную банку и сунула ее в пустой контейнер, который я привязал к веревке. Затем бросила в воду банку-дубликат. Крышка банки-дубликата, видимо, ударилась о водные лыжи, в нее набралось довольно много воды, и она затонула.

— Очень плохо, — заметил Мейсон.

— К сожалению, такое случается.

— И что же, никакая другая лодка не пыталась подплыть к ней?

Дрейк отрицательно покачал головой.

— Ничего не понимаю. Конечно, шантажисты могли распознать в тебе детектива и просто побоялись взять банку, пока ты был поблизости.

— Не думаю. На мне было кепи и солнечные очки, да и в лодке я сидел, довольно низко наклонившись вперед.

— И плотно окруженный красотками, — вставил Мейсон.

— Хорошо, — усмехнулся Дрейк, — а что бы сделал ты?

— Ну ладно, Пол, — хмыкнул Мейсон. — Убери свою лодку. Пусть наша звезда оденется и пойдет на спасательную станцию... Ты, кажется, говорил, что у нее своя машина?

— Да. Она поставила машину на стоянке и присоединилась к нам на пристани. Необходимо сделать еще два-три платежа, и на этом все.

— Хорошо. Теперь мне нужны имена всех тех, кто брал напрокат лодки сегодня днем. Ты также должен поручить кому-нибудь узнать номера всех лодок, которые были привезены на частных автомобилях.

— Такой человек у меня есть. Он уже записал номера всех машин и прицепов, а также номера лодок.

— Прекрасно. Отправь его домой, чтобы полиция не напала на его след.

— А деньги останутся в полиции?

— До последнего цента.

4

Перри Мейсон вошел в контору в половине десятого утра.

— Привет, Делла. Что новенького?

— В приемной вас ожидает раздраженный клиент.

— Харлоу Биссинджер Бэнкрофт?

Она кивнула головой.

— Ну что ж, пусть войдет, — ухмыльнувшись, сказал Мейсон.

Вскоре Делла Стрит возвратилась с Бэнкрофтом.

— Мейсон, — воскликнул Бэнкрофт, — что все это значит?

— Что именно?

Бэнкрофт резким движением швырнул на стол утреннюю газету. На первой странице красовалась фотография девушки в бикини. Крупными буквами было напечатано: «Купающаяся красавица находит целое состояние».

— Ну что ж, неплохо, — ответил Мейсон.

— Черт побери! — прокричал Бэнкрофт. — Я надеялся на ваше благоразумие. Как вам пришла в голову мысль довести сумму до трех тысяч? А эта полуобнаженная девица? А публикация письма шантажистов? Это дело следовало вести в полной тайне.

— Ну, успокойтесь. Что вам известно?

— Мне? А что вам известно? Вам следовало вести дело осторожно.

— Ваша падчерица бросила в воду банку вместе с письмом? — прервал его Мейсон.

— Думаю, что да, я не спрашивал ее. Она, видимо, не доверяет мне, поэтому я не задавал никаких вопросов. Но появление письма в прессе и повышение суммы до трех тысяч! Это черт знает что такое!

Мейсон усмехнулся.

— Зато у Евы Эймори блестящая реклама.

— Смотря что понимать под этим словом, — проворчал Бэнкрофт. — На фотографиях она почти голая.

— Отнюдь не голая, — возразил Мейсон, задумчиво читая газетную статью. — Ну, и о чем вы думаете?

— О чем я думаю? — воскликнул Бэнкрофт. — Я думаю о предательстве. Я доверился вам и надеялся, что некоторые стороны этого дела будут сохранены в полной тайне.

— А разве не так?

— Да? — Бэнкрофт ударил кулаком по столу. — А сколько миллионов читателей видели вот это! Говорят, сообщение передавали по радио и опубликовали во многих газетах.

— Ну, не придумывайте.

— И это все, что вы можете мне сказать?

— Садитесь, Бэнкрофт, и успокойтесь.

Бэнкрофт медленно сел, с подозрением глядя на адвоката.

— Во-первых, гласность — это то, чего вы хотели избежать.

— Благодарю за напоминание, — с сарказмом заметил миллионер.

— Во-вторых, — продолжал Мейсон, — гласность — это то, чего стремитесь избежать шантажист. Он может работать только тайно.

И, наконец, видно, что жертва шантажа не пошла в полицию. Она все сделала согласно полученным инструкциям: положила деньги в банку, которую бросила в воду в назначенное время и в назначенном месте. Таким образом, у шантажиста не должно возникнуть и тени подозрения в вероломстве его жертвы.

— Не могу понять, — заметил Бэнкрофт, — каким образом сумма оказалась удвоенной? Когда я прочитал письмо, в нем говорилось о полутора тысячах долларов. Вы его тоже видели и даже сфотографировали. Спрашивается теперь, как удалось шантажисту увеличить требование до трех тысяч долларов?

— Я сделал это.

— Вы?

— Да, я увеличил сумму до трех тысяч.

— Но моя падчерица сняла со счета в банке только полторы тысячи долларов, и именно столько она должна была положить в банку. Согласно же сообщению управления полиции, в ней оказалось три тысячи долларов вместе с этим письмом и десятью серебряными монетами. — Бэнкрофт хотел добавить что-то еще, но, взглянув на адвоката, замолчал. Выражение его лица неожиданно изменилось. — О боже! — воскликнул он, как будто какая-то мысль только сейчас пришла ему в голову.

— Вот именно. Рад, что вы догадались, — усмехнулся Мейсон. — Письмо было отпечатано на портативной машинке марки «Монарх». Я достал точно такую же машинку, забил требование «полторы тысячи долларов» и вместо этой суммы поставил «три тысячи». Затем мы положили в банку еще полторы тысячи долларов, так что всего стало три.

— Вы добавили полторы тысячи долларов?

— Да, из ваших денег. Вот почему я говорил вам, что расходы будут большими...

Я думаю, что в этом деле замешаны по крайней мере двое. Если вы заметили, в письме говорится: «мы». Конечно, это могло быть сделано просто для отвода глаз, но мне почему-то кажется, что это не так.

Теперь предположим, что вы входите в тайный сговор и у вас есть напарник. Вы доверяете ему получить полторы тысячи долларов, согласно сумме, указанной вами в письме. Операция проваливается, и деньги оказываются в полиции. Вдруг выясняется, что сумма была увеличена до трех тысяч. Не покажется ли вам, что напарник обманул вас и в надежде получить лишние полторы тысячи долларов увеличил требование? Придя к такому заключению, поверите ли вы ему, если он будет все отрицать?

Я полагаю, мы можем прийти к заключению, что публикацией этого письма мы вынудили шантажистов перейти от наступле-

ния к обороне, что увеличением суммы до трех тысяч мы посеяли между ними зерна возможного раздора.

— Черт побери, мне это не пришло в голову!

— Более того,— продолжал Мейсон,— я думаю, мы выйдем таким образом на самих шантажистов. А как только это произойдет, я постараюсь им еще что-нибудь подкинуть.

— Что именно?

— Ну, что-нибудь интересное, чтобы дать им работку. В таких делах следует помнить, что, пока шантажисты живут за счет чужих тайн, у них самих должно быть очень много тайн. Если они не новички, они всю жизнь занимаются преступными вымогательствами, и за ними тоже остались кое-какие следы. Следовательно, они сами опасаются, как бы полиция не напала на их след.

Бэнкрофт медленно поднялся.

— Мейсон, я должен просить у вас прощения. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что это чрезвычайно умный ход. Обстоятельства изменились, шантажисты оказались в нашем положении, а это, черт побери, стоит трех тысяч долларов.

— Успокойтесь, вы еще не потеряли деньги. Они ведь в руках полиции, а не шантажистов.

Бэнкрофт схватил руку адвоката и крепко пожал ее.

— Мейсон, ведите свою игру, продолжайте в том же духе. Звоните мне, как только что-нибудь понадобится.

— Я предупреждал вас, что игра будет необычной.

— Да, вы говорили мне, но только сейчас я понял это... Вам еще нужны деньги?

— Пока нет. В нужное время я получу деньги в полиции.

— Как?

— Когда я посылал своего секретаря в банк,— объяснил Мейсон,— я дал ей чек на три тысячи долларов и попросил получить их в десяти- и двадцатидолларовых купюрах. Полторы тысячи долларов я положил в сейф, а остальные — в банку. В нужное время я заявлю в полиции, что деньги, вложенные в банку, были приманкой для шантажистов, и в качестве доказательства покажу оплаченный чек и заявление от банкира о том, что сумма была выплачена десяти- и двадцатидолларовыми купюрами.

Бэнкрофт на некоторое время задумался, затем кивнул головой и рассмеялся.

— Мейсон, когда я ехал в контору, то сторал от гнева. Теперь же я ступаю по облакам.

— Рано успокаиваться. Вы еще в опасности, но в случае чего мы откроем заградительный огонь, и шантажистам придется спасаться.

— Уверен, что у вас все получится.— Бэнкрофт попрощался и пошел к выходу.

Когда дверь за ним закрылась, Мейсон взял газету и с кривой усмешкой взглянул на снимок Евы Эймори.

— На последней странице много ее фотографий,— сказала Делла Стрит.— Она снята и на пляже, и на лыжах, и во время падения в воду. На снимке даже видна красная кофейная банка. Шеф, а что будет с ней?

— Возможно, удастся получить очень хороший контракт.
— Но она в опасности!
— Конечно, но, как ее адвокат, я позабочусь о безопасности. Думаю, вскоре ей по телефону будут угрожать неизвестные лица.

5

В 10.30 в конторе Мейсона появился Пол Дрейк.

— Ну как,— спросил он, подсев к столу адвоката,— получилась твоя реклама?

— Не моя, а Евы Эймори,— поправил его Мейсон.

— Пусть так,— продолжал Дрейк.— Газеты, как ты и предполагал, стали копаться в этом деле. Сперва выдвигалась мысль, что все это проделано ради рекламы, но три тысячи — такая сумма, что не смог устоять ни один журналист. В конечном счете все клонули на нашу удочку.

Мейсон с одобрением кивнул головой.

— Как Ева?

— О, она на седьмом небе. Ей предложили выступить по телевидению в одной из передач последних новостей.

— А что заявляет полиция?

— Там провели осмотр найденных документов, и их эксперт пришел к заключению, что письмо было напечатано на портативной машинке «Монарх». Кстати,— заметил Пол,— так как сейчас нет никаких других подробностей, газеты поручили своим самым опытным и энергичным репортерам найти человека, которого шантажируют. Они полагают, что жертва проживает где-то на берегу озера Мертисито, на одной из богатых дач. Предполагают также, что кофейная банка с деньгами была подготовлена в соответствии с письмом, а затем после телефонных инструкций была брошена в озеро, где ее случайно и подхватила Ева Эймори.

— Совсем неплохо,— заметил Мейсон.

— Не стоит успокаиваться. Эти журналисты чертовски опытные и могут докопаться до самой сути дела.

— Какова бы она ни была...

— Я, конечно, не знаю подробностей, да ты мне и не рассказывал о них. Мое дело — предупредить.

— Хорошо. Я учту.

— Газетчики,— продолжал Дрейк,— прочесывают пристань, пытаются узнать, кто вчера брал напрокат лодки. К счастью, сторож записывает только взимаемые суммы, а не номера лодок, поэтому, я полагаю, мы единственные, у кого полный список.

— Неужели?

— Думаю, да. Мой сотрудник записал номера всех лодок, бывших на озере.

— А удалось выяснить, что за человек удил рыбу?

— Вот здесь-то самое интересное. Лодку взяли напрокат на полдня два человека.

— Два? — переспросил Мейсон.

— Вот именно.

— Но ведь в лодке был только один человек!
— Интересно и другое. Когда она вернулась, в ней снова было двое!

— Их имена?

— Как я уже сказал, сторож не записывает фамилий. Что же касается самой лодки, то, насколько он помнит, это была потрешанная развалюха с маломощным мотором.

— А что говорит ваш человек?

— У него есть только описание внешности этих двоих. Одному из них — лет двадцать, другому — примерно сорок пять.

Мейсон нахмурил брови и задумался. Неожиданно он спросил:

— Красная банка исчезла, когда ты смотрел на нее?

— Да. Я только на миг отвел глаза, а когда снова взглянул, ее уже не было. Думаю, единственное объяснение в том, что в нее попала вода, и она затонула.

Мейсон отрицательно покачал головой.

— Нет. Мы просто имеем дело с людьми, которые умнее прочих.

— Не понимаю.

— Все ясно, — стал объяснять адвокат. — Двое мужчин взяли напрокат лодку. У одного из них, видимо, был акваланг. Когда они добрались до нужного места на озере, он его надел и соскользнул за борт. Жертве, как ты помнишь, было приказано бросить банку в определенное время и в определенном месте.

— Кстати, лодкой, отошедшей от виллы Банкрофтов, — добавил Дрейк, — управлял всего лишь один человек — молодая женщина. Бросив банку в воду, она сделала вокруг нее пару кругов.

— А в это время пловец схватил бы эту банку снизу. Ясно, что поблизости не было никакой лодки. Даже если бы была предусмотрена полиция, то ей не за что было бы ухватиться.

— Черт побери, какой я идиот! — воскликнул Дрейк, когда до него дошел весь смысл сказанного.

— Но, — продолжал Мейсон, — неожиданно появился ты, стал валять дурака и носиться на лодке. Пловец побоялся показываться, пока ты там. Затем твоя лыжница нырнула в воду, подменила банки и... Пол, это случайно сделала не Ева Эймери?

— Нет, одна из моих оперативниц, великолепная лыжница. Конечно, Ева уверяет прессу, что именно она нашла банку. Все делается так, как ты просил.

Глаза адвоката сузились.

— В этой лодке с рыбаком — решение всей проблемы, Пол. Пловец подождал, пока ты уберешься, всплыл, схватил вашу банку, нырнул и под водой поплыл к берегу. Там он влез в лодку, снял акваланг, и они как ни в чем не бывало возвратились обратно.

— И к этому времени уже знали, что их обманули, — добавил Дрейк.

— Конечно, и были в ярости, полагая, что кто-то опередил их. Сегодня утром из газет узнали, что выловили не ту банку, в то время как их попала в руки Евы Эймери.

— А что будет потом? — спросил Дрейк.

— Потом один из них станет обвинять другого в жульничестве, и, возможно, прольется чья-то кровь. Нам, видимо, придется играть вслепую. Главное — заставить их перейти к обороне.

— Хорошо, а что скажешь о жертве? — спросил Дрейк. — Представляешь, что она чувствует после газетных сообщений?

— Нетрудно догадаться, особенно после того, как узнала, что в банке оказалось три тысячи долларов.

— Шантажисты ведь позвонят ей, и она скажет им, что положила в банку только полторы тысячи.

— И убедит в том, — подчеркнул Мейсон, — что кто-то здорово надул их и приказал ей держать рот на замке.

— Да, представляю ее положение.

— Вот поэтому, Пол, ее надо постоянно охранять. Только она об этом ничего не должна знать. Пускай за ней следят двое или даже трое человек. Установи также микрофон в ее автомашине.

— Думаю, не следует напоминать, — сказал Дрейк, — что ты ведешь чрезвычайно опасную игру. Эти парни знают дело.

Гримаса исказила лицо Мейсона.

— Я тоже знаю свое дело, Пол.

6

Вскоре после полудня в кабинет Мейсона вошла Делла Стрит.

— Вам опять придется пережить несколько неприятных минут.

— А в чем дело? — спросил адвокат.

— Пришла Розена Эндрюс. Она необычайно раздражена: рвет и мечет. Глаза прямо горят от ярости.

— Как вы думаете, почему она пришла?

— Она ничего не говорит, только заявляет, что должна видеть вас по чрезвычайно важному и сугубо личному делу.

— Ну что ж, ничего не поделаешь, Делла. Пусть войдет... Интересно, что это за женщина? Вдруг она выхватит из сумочки пистолет и начнет стрелять? Или же подойдет к столу и покажет когти?

— Она может сделать и то и другое, если я правильно сужу о ее характере.

— Вы редко ошибаетесь. Что ж, пусть войдет.

Делла Стрит приоткрыла дверь, и в кабинет вошла двадцатитрехлетняя молодая особа. Ее голубые глаза излучали гнев.

— Вы Перри Мейсон?

— Да.

— Я требую, чтобы вы не вмешивались в мои дела! Я еще не знаю, к кому обратиться за помощью. Наверное, в ассоциацию адвокатов или к кому-нибудь из администрации.

Мейсон удивленно посмотрел на нее.

— Я вмешиваюсь в ваши дела?

— Да, и вы это прекрасно знаете.

— Может быть, вы присядете и все подробно расскажете?

— И не собираюсь. Ужасной рекламы в утренних газетах вполне достаточно. Мне известно, что мой отчим звонил вам

вчера по срочному делу. Нужно отдать вам должное за весь план.

— План? — переспросил Мейсон.

— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Выловить банку, подменить письмо, вложить лишние полторы тысячи долларов и... Ради бога, скажите, что вы собираетесь делать, мистер Мейсон?

Адвокат улыбнулся.

— Не сейчас, когда вы в таком настроении, мисс Эндрюс. Разговор произойдет только тогда, когда вы сможете взглянуть на дело совершенно спокойно.

— Но я желаю знать!

— Вы сейчас слишком возбуждены и не в состоянии внимательно слушать.

— Я имею право!

— Почему, собственно?

— Вы прекрасно знаете почему. Это письмо было послано мне. Я должна была достать полторы тысячи в десяти- и двадцатидолларовых купюрах, вложить их вместе с десятью серебряными долларами в кофейную банку и бросить банку в воду, когда поблизости не будет никаких лодок.

Как только я сделала это, откуда ни возьмись появилась лодка с полуголыми девицами. Сперва я подумала, что именно они должны подобрать банку, но затем решила, что вряд ли они вели бы себя так безрассудно. Кроме того, поблизости больше никого не было, поэтому я и бросила банку.

— Теперь давайте выясним: письмо точно было адресовано вам?

— Вы прекрасно знаете, что да.

— Откуда я могу знать?

— Возможно, от моего отчима, который все время сует нос в мои дела, нашел на моем столе письмо, прочитал его, а затем положил на место.

— А как вы узнали об этом?

— Я предусмотрительно пометила место, на котором лежало письмо. Мне просто хотелось знать, кто суется в мои дела.

— Должен ли я это понимать как отсутствие особой любви между вами и вашим отчимом? — спросил адвокат.

— Ничего подобного. Я люблю его. Это внимательный, заботливый и по-своему беспокойный человек.

— Ну и что же мы такого сделали?

— Не знаю. Поставили меня в чертовски трудное положение. Я должна была передать шантажистам полторы тысячи долларов. Кто-то увеличил сумму до трех тысяч, вдобавок появляется некая кинозвезда в бикини. Ее фотография на первых страницах газет, деньги в полиции и... Откровенно говоря, слишком много придется платить.

— А что, от вас потребовали нового платежа?

— Нет еще, — ответила Розена, — но я чувствую, что это произойдет.

— Может быть, вы объясните мне, почему вы так уязвимы?

— Что вы имеете в виду?

— Почему шантажист выбрал именно вас?

— Я полагаю, мы все уязвимы. В сущности, у каждого есть своя тайна.

— А что за тайна у вас?

— Это не ваше дело. Я понимаю, что вы пытаетесь как-то оградить меня, но я здесь именно потому, мистер Перри Мейсон, что не нуждаюсь в вашем покровительстве. Хочу сама вести свои дела.

— А мне бы хотелось, — заметил адвокат, — чтобы вы осознали: как только начнете игру с шантажистами, с вами будет покончено. Вы заплатите раз, второй, третий, а затем будете платить до тех пор, пока у вас не выкачают все деньги.

— Никто не сможет обобрать меня до нитки. Просто я выигрываю время, вот и все.

— Время? Для чего?

— Для того, чтобы повести свою игру. Я сама веду свои дела и не нуждаюсь в вашей помощи.

— Вы случайно не пытаетесь кого-нибудь выгородить? — в тревоге спросил Мейсон.

— Это не ваше дело. Я повторяю: держитесь в стороне и не мешайте мне.

— Как вы не понимаете, что шагаете по зыбучим пескам и с каждым шагом погружаетесь все глубже и глубже?!

— Я знаю, что делаю, мистер Мейсон. Хочу выиграть время. Именно поэтому и заплатила полторы тысячи.

— Шантажисты выдвинули новые требования.

— К этому времени они сломают себе шею.

— А вы очень решительная женщина.

— И изобретательная, — с улыбкой добавила она. — Не забывайте этого.

Мейсон в задумчивости окинул ее взглядом.

— Может, вы все-таки скажете мне, что у вас на уме, мисс Эндриус? Я могу вам дать совет, который поможет, если можно так выразиться, объединить наши силы. Вам известна информация, на которую делается намек в письме?

— Да.

— Расскажите?

— Конечно же, нет. Это мое личное дело.

— Вполне возможно, — сказал Мейсон, — из-за каких-то романтических или социальных причин вы полагаете, что сможете выиграть несколько дней или недель, а затем изменить ситуацию в лучшую для вас сторону.

— Может быть.

— Неужели вы думаете, что с течением времени что-нибудь изменится?

— Да.

— Люди, приславшие письмо, звонили вам по телефону?

— Думаю, это вполне естественно.

— Они как-нибудь выдали себя?

— Цель моего визита, мистер Мейсон, убедить вас не вмешиваться. Я не нуждаюсь в услугах адвоката. Сама веду свои дела и не потерплю вмешательства. Поэтому прошу вас держаться

в стороне. Таково мое официальное заявление.— Розена резко повернулась и вышла из кабинета.

Мейсон обратился к Делле:

— Попробуйте дозвониться до Бэнкрофта.

Несколько минут спустя секретарь сказала:

— Он на линии.

— Алло, Бэнкрофт,— произнес Мейсон,— у меня только что была ваша падчерица. Она прямо-таки горела от ярости.

— Интересно, откуда она узнала о вас?

— Очевидно, ей стало известно, что вы звонили мне вчера утром и назначили срочную встречу. Она также уверена, что вы прочитали полученное ею письмо, пока ее не было дома.

— Чего же хочет Розена? — спросил Бэнкрофт.

— Она заявила, что ей не нужен адвокат, что у нее свои планы и она не хочет, чтобы я вмешивался.

— Меня не волнует, что она сказала,— заявил Бэнкрофт.— Делайте свое дело. Розена молода, энергична и самоуверенна, слишком самоуверенна. Она полагает, что может справиться с профессиональными шантажистами, но как же она ошибается!

— Может быть, вам следует с ней обо всем откровенно поговорить? — заметил Мейсон.

— Нет, до тех пор, пока она не доверяет мне, я не буду вмешиваться, тем более что письмо послано ей.

— Учитывая ее требования о невмешательстве в ее дела, я чувствую себя несколько скованным.

— Что вы имеете в виду?

— Я не могу выступать от ее имени.

— А вам и не следует этого делать,— заметил Бэнкрофт.— Вы представляете меня. Я не хочу, чтобы в обществе стали известны кое-какие факты, и имею полное право нанять вас как своего адвоката. Кстати, вам нужны еще деньги?

— Пока нет.

— Как только понадобятся, сразу же звоните. Откровенно говоря, Мейсон, чем больше я думаю, тем больше доволен развитием событий. Я даже представляю себе положение в неприятельском лагере, но мне не хотелось бы, чтобы Розена оказалась в опасности.

— Хорошо. Мы сделаем все возможное.

— Допустим, шантажисты думают, что она обманула их...

— Вряд ли. Они скорее полагают, что кто-то из их же банды решил получить лишние полторы тысячи. Такова будет их первая реакция. Ведь ваша падчерица делала все так, как они требовали. Далее, они уверены, что по ошибке выловили не ту банку, а газетная реклама вообще заставит их изрядно понерничать.

— Тем не менее меня беспокоит безопасность Розены.

— У нее постоянная вооруженная охрана.

— И она знает об этом?

— Нет еще.

— А может узнать?

— Конечно.

— Она причинит вам массу беспокойства.

— К этому времени,— успокоил его Мейсон,— на первом плане наверняка будут другие события.

— Хорошо. Вам виднее. Однако вы должны знать, что Розена очень решительна и вооружена.

— Что?

— Она вооружена. По крайней мере я так думаю. Либо Розена, либо Филлис, моя жена, в общем, кто-то из них взял мой револьвер 38-го калибра, который лежал в ящике туалетного столика.

— Вы в этом уверены?

— Всего несколько минут назад я решил, что неплохо бы иметь пистолет под рукой, и заглянул в ящик. Там его не оказалось. Либо Розена, либо Филлис взяла его.

— Когда вы в последний раз видели пистолет? — спросил Мейсон.

— Точно не знаю, примерно неделю назад.

— Где сейчас ваша жена?

— Все еще в городе. Готовится к благотворительному балу.

— Надо было бы вам вместе приехать сюда. Небольшой семейный разговор при таких обстоятельствах совсем не лишней.

— Я-то не против,— ответил Бэнкрофт.— Но в данном случае инициатива в их руках.

— Приведите ее, пока Розена не проявила своей собственной инициативы и не воспользовалась вашим пистолетом.

— О боже! Я не подумал об этом! — воскликнул Бэнкрофт.

— Ну что ж, подумайте,— сказал Мейсон и повесил трубку.

7

В три часа дня Делла Стрит вошла в кабинет Мейсона.

— Похоже, вас сегодня целый день будут беспокоить разъяренные женщины.

— Кто же на сей раз? — спросил Мейсон.

— Наша кинозвезда — Ева Эймори. Она явно расстроена. Похоже, даже плакала.

— О, черт! Пусть войдет.

— Через несколько минут у вас встреча с...

— Ничего, подождет. Эта девушка, возможно, в очень затруднительном положении. К стати, узнайте у Пола, приставил ли он к ней телохранителя, и, если нет, пусть делает это. Мы должны знать каждый ее шаг. А теперь выскажите свое мнение о ней.

— Она очень красивая,— сказала Делла.— Обычно при встрече с такими женщинами невольно останавливаются.

— Так. Что еще?

— Не хочется злословить, но при внимательном взгляде на них чувствуется какая-то неестественность.

— Что вы имеете в виду?

— Видите ли, у них нет индивидуальности. Все манеры какие-то искусственные, как бы отрепетированные. Если они улыбаются, то улыбка несколько растянутая, будто тщательно отработанная перед зеркалом. А движения какие-то неестественные, словно это не люди, а манекены.

— Что ж, пусть войдет. Да, обязательно позвоните Полу Дрейку и попросите его приставить к ней телохранителя. В целях безопасности необходимо, чтобы у нее была постоянная охрана. А теперь, Делла, посмотрим, сможет ли она поразить меня своей красотой.

Вскоре Делла Стрит вернулась в сопровождении Евы Эймори.

— А, — произнес с улыбкой Мейсон, — ваши фотографии я видел в газетах.

Девушка протянула руку адвокату.

— Именно поэтому я и хотела встретиться с вами.

— Почему именно со мной?

— Человек, с которым я работала, — Пол Дрейк, частный детектив. Я узнала, что он помогает вам в одном деле. Мне также известно, что именно вам он звонил, когда мы выловили банку с деньгами.

— Откуда вы это узнали?

— Я отнюдь не слепа, и, кроме того, мистер Мейсон, вы очень известны. Ваши фотографии появлялись в газетах. Гораздо чаще, чем мои.

— Продолжайте.

— Меня разыскал некий учтивый, но безжалостный мужчина и поставил в затруднительное положение.

— Каким образом?

— Дело в том, что ему кое-что обо мне известно.

— Точнее, о вашем прошлом?

— У каждой известной и красивой голливудской актрисы, стремящейся обеспечить свое будущее, вполне возможны некоторые тайны в прошлом... и настоящем.

— А как выглядит этот мужчина?

— Примерно пятидесяти лет. У него серые пронизывающие глаза и односторонний склад ума.

— Что вы имеете в виду? — спросил Мейсон. — Может быть, он хочет...

— Как раз нет, мистер Мейсон. Он совершенно равнодушен к женщинам.

— Чего же он хочет?

— Денег.

— Сколько?

— Те три тысячи долларов, которые я нашла.

— Вы же отдали эти деньги полиции. Разве он не читал газет?

— Читал. Ему все известно.

— Как же он собирается их получить?

— Он требует, чтобы я сделала заявление в полиции о том, что вся эта комедия была разыграна ради рекламы, что некий мой друг дал мне три тысячи долларов, напечатал письмо мнимых шантажистов и посоветовал заявить, что во время катания на водных лыжах я нашла банку с деньгами. Возможно, это шантажируют кого-нибудь из богачей, проживающих у озера. Затем он сказал, что через некоторое время полиция возвратит мне эти деньги, и я их вручу ему.

— А иначе? — перебил ее Мейсон.

— Конечно, было «а иначе». Мне не хотелось бы, чтобы кое-

что появилось в прессе. Я беспокоюсь не о себе. Это касается человека с двумя детьми.

— Мужчина, шантажирующий вас, назвал свое имя?

Она отрицательно покачала головой.

— Он сказал, что я должна называть его «мистер Икс».

— Как вы должны поддерживать с ним связь?

— Он сказал, что сам меня разыщет.

— Если вы сделаете все, что он требует, вас смертельно возненавидят многие журналисты.

— Я знаю.

— Тем самым вы погубите свою карьеру.

— Не стоит напоминать, мистер Мейсон. Я и так все понимаю.

— И тем не менее считаете, что это необходимо сделать?

— Я не могу не думать о моем знакомом и его детях.

— Ваш знакомый, видимо, влиятельное лицо в обществе?

— Да.

— И что знает о нем шантажист?

— Он мне ничего не сказал.

— Почему?

— Потому что прекрасно понимает, что в противном случае ему могут наступить на хвост.

После некоторого размышления Мейсон спросил:

— Когда вы должны снова встретиться с мистером Иксом?

— Сегодня вечером.

— Хорошо. При встрече скажите, что у него прекрасный план, из которого, однако, ничего не выйдет, так как в противном случае ваш адвокат заявит, что вас шантажируют.

— А могу я сказать ему, кто мой адвокат?

— Черт побери! Вы обязаны сделать это. Объявите ему, что ваш адвокат — Перри Мейсон. Не люблю шантажистов, — продолжал Мейсон. — Это вампиры, пьющие человеческую кровь и паразитирующие на людских слабостях и их тайнах. Скажите мистеру Иксу, если он хочет обсудить данное дело, пусть явится ко мне лично.

— Вряд ли он сделает это, — в задумчивости произнесла Ева Эймори. — Как только я упомяну ваше имя и скажу, что вы собираетесь сделать заявление по поводу шантажа, он пойдет на попятный и начнет искать, куда бы скрыться. Все так прекрасно закончилось, мистер Мейсон. Благодарю вас.

Когда она покинула кабинет, адвокат кивнул головой секретарше; и она быстро дозвонилась до Пола Дрейка.

— Кто-нибудь приставлен к Еве Эймори? — спросил его Мейсон.

— Да. Уже более получаса. Он шел за ней, когда она подошла к конторе. Я думал, Ева пришла ко мне, а она, видимо, решила повидать тебя.

— У нее вымогает деньги некий тип пятидесяти лет.

— Мне об этом пока ничего не известно.

— Внимательно следите за ней и, если увидите его, не теряйте из виду. Я думаю, он появится сегодня вечером.

— Что это за человек? — спросил Дрейк.

— Называет себя мистером Иксом. Если не ошибаюсь, именно

он — шантажист. Ему примерно 45—52 года, серые пронизывающие глаза и...

— Как раз он и ловил рыбу на озере,— заметил Дрейк.— У нас есть описание его внешности.

— Прекрасно. Итак, мы вышли непосредственно на шантажистов и, как только узнаем, кто они, тут же перехватим инициативу и подбросим им кое-что для размышлений. Продолжай работу, Пол.

8

Около четырех часов дня зазвонил телефон. Делла подняла трубку. Спокойствие на ее лице сменилось тревогой.

— В чем дело? — спросил Мейсон.

Делла прикрыла микрофон и повернулась к нему:

— Круг замкнулся. Из приемной сообщают, что пришла миссис Бэнкрофт и настаивает на немедленной встрече с вами по очень важному делу.

— Пусть немного подождет. Срочно разыщите Харлоу Бэнкрофта. Позвоните к нему на дачу. Если его там нет, звоните в контору.

— Пусть она немного подождет, Гёрти,— произнесла в трубку Делла.— Дайте мне город.— Она набрала номер телефона дачи Бэнкрофтов.— Алло. Говорит секретарь мистера Мейсона. Могу ли я переговорить с мистером Бэнкрофтом? Скажите ему, что это очень важно... Да, да, понимаю. Вы случайно не знаете, где он может быть? Благодарю вас, попытаюсь дозвониться к нему в контору. Спасибо, не надо, у меня есть номер его телефона.

Дозвонившись до конторы Бэнкрофта, Делла вновь повторила, что звонят от мистера Мейсона по очень важному делу. Затем после некоторой паузы произнесла:

— Благодарю вас. Вы не знаете, где он может быть? Ясно. Спасибо.

Она повесила трубку.

— На даче говорят, что он в конторе, а в конторе думают, что он на даче.

Мейсон тяжело вздохнул.

— Что ж, пусть она войдет. Будем играть вслепую.

Делла Стрит одобрительно кивнула головой, вышла в приемную и вернулась в сопровождении миссис Бэнкрофт. Миссис Бэнкрофт выглядела моложе своего мужа. Чувствовалось, что она тщательно следит за своей фигурой и явно гордится своей внешностью.

— Добрый день, мистер Мейсон,— произнесла миссис Бэнкрофт.— Наслышана о вас. Много раз видела ваши фотографии и рада личному знакомству. Насколько я знаю, вы адвокат моего мужа?

— Откуда вы это узнали? — удивился Мейсон.— От мужа?

— Нет, от дочери. Должна заметить, что ни она, ни мой муж не знают о моем визите к вам. Разрешите присесть и кое-что вам рассказать? Начну с начала. Моя дочь, Розена, помолвлена

с Джетсоном Блэром. Семья Блэров, как вам, наверное, известно, занимает высокое положение в обществе. Их можно назвать аристократами с голубой кровью, но в бизнесе они себя не проявили. А мой муж — бизнесмен.

— И имеет приличное состояние? — спросил Мейсон.

— Очень.

— Продолжайте.

— Джетсону Блэру двадцать четыре года. У него есть младший брат — Карлетон Расмус Блэр, двадцати двух лет, настоящий дикарь. Он постоянно попадал в различные истории, которые, однако, удавалось замять. Затем завербовался в армейскую авиацию. Во время авиаразведки его самолет не вернулся. Сперва им сообщили, что он пропал без вести. Год спустя на склоне одной из гор нашли останки самолета. В живых не остался никто. Одни погибли в результате катастрофы, другие — из-за тяжелых ранений, погоды, диких животных. Естественно, вслед за этим последовало сообщение о его смерти. Два года тому назад, — продолжала миссис Бэнкрофт, — был осужден и заключен в тюрьму «Сан-Квентин» некто Ирвин Виктор Фордайс. Он вышел из заключения всего несколько недель назад. Вскоре после этого произошло ограбление станции техобслуживания. Полиция представила потерпевшим фотографии подозреваемых преступников, а также тех, кто недавно вышел на свободу.

— И одна из жертв указала на Ирвина Фордайса как на одного из бандитов, участвовавших в налете? — Мейсон явно заинтересовался.

— Мне сказали, что поскольку есть официальное сообщение о смерти Карлетона Блэра, то отпечатки его пальцев находятся в полицейском архиве. Но мне дали также понять, что Карлетон отнюдь не мертв, а жив, что ему удалось обнаружить съестные припасы в кабине самолета, кое-как прокормиться, выжить, а затем навсегда исчезнуть, поскольку он был по горло сыт армейской жизнью. Он взял себе имя Ирвина Виктора Фордайса, вернулся к цивилизации, но попал в историю и был заключен в «Сан-Квентин».

Таким образом, мистер Мейсон, то обстоятельство, что один из Блэров отсидел срок, а сейчас разыскивается полицией в связи с ограблением, может помешать свадьбе.

— Все это вы узнали от своей дочери? — спросил Мейсон.

— Нет. От шантажиста.

— Ну и чего он хочет?

— Чего? Конечно, денег.

Мейсон прищурился. Он хотел что-то сказать, но сдержался.

После некоторого молчания миссис Бэнкрофт продолжала:

— Естественно, это был самый критический период в жизни моей дочери.

— Другими словами, вы заплатили?

— Да.

— Сколько?

— Тысячу долларов.

Мейсон застучал пальцами по краю стола.

— Прочитав сообщения в газетах, я поняла, что отдельное аналогичное требование было послано моей дочери. Не удивлюсь, если он послал его и моему мужу.

— А Блэрам?

— Не знаю. Мне об этом ничего не известно. Блэры, конечно, не бедны, но, с другой стороны, с них особо ничего не возьмешь.

— То есть они могут заплатить сравнительно небольшую сумму?

— Пожалуй, да.

— Вы смогли бы описать внешность шантажиста? Это был человек с пронизывающими серыми глазами, примерно пятидесяти лет и...

Она отрицательно покачала головой.

— Нет. Это молодой человек, не старше двадцати пяти-двадцати шести лет. Очень симпатичный широкоплечий парень с темными глазами, короткой стрижкой под ежик и несколько грубоватыми чертами лица.

— Именно ему вы заплатили тысячу долларов?

— Да.

— Какими банкнотами?

— Десяти- и двадцатидолларовыми.

— Он должен был предъявить вам какие-нибудь доказательства, что-нибудь еще, что...

— Конечно. Он показал мне фотографии Ирвина Фордайса и отпечатки его пальцев из полицейского архива, а также армейские снимки Карлетона Блэра. Должна отметить, сходство поразительное. Кроме того, он предъявил мне другие отпечатки пальцев, которые, по его словам, были взяты у Карлетона Блэра во время его зачисления в армию.

— Вы рассказали об этом дочери?

— Конечно, нет. Она была так счастлива, и мне не хотелось причинять ей боль.

— А мужу?

— Нет.

— Почему?

— У него и так много своих собственных проблем.

— Вам не приходило в голову, что вымогатель может выйти на вашу дочь или на вашего мужа?

— Нет.

— Тогда зачем вы пришли ко мне? — спросил Мейсон.

— Потому что вы вмешались в это дело и все испортили.

— Каким образом?

— Не мудрите, вы все прекрасно понимаете. А теперь, мистер Мейсон, шантажисты пытаются выйти на мою дочь и заставить ее платить деньги.

— Откуда вам это известно?

— Ей звонили, и я слышала весь разговор по параллельному телефону.

— О чем шла речь?

— Мужской голос заявил, что она их предала. На это моя дочь ответила, что терпеть не может журналистов, которые обзывают всех, говорят чепуху в надежде, что кто-то из дачников

признается, что он жертва шантажа. Затем добавила, что пресса окончательно опустила, вмешивается в личную жизнь уважаемых граждан и вытряхивает всю грязь на страницы своих газет. Она потребовала, чтобы ее оставили в покое.

— А потом?

— Просто бросила трубку.

— Что ж, отличный ход,— заметил Мейсон.— Это заставит вымогателей перейти к обороне. А откуда вы узнали, что вашу дочь шантажируют? Она призналась вам?

— Нет, но мне известно, что в тот злополучный день она искала красную кофейную банку, а затем каталась на лодке. Когда я прочитала сообщение в газете о найденных деньгах и письме, то сразу же поняла, в чем дело.

— И ничего ей не сказали?

— Нет.

— Почему вы подслушивали телефонные разговоры?

— Я решила, что рано или поздно шантажисты попытаются вновь выйти на нее. Мне хотелось знать, что произойдет.

— Все-таки не могу понять, почему вы пришли ко мне?

— Поскольку моя дочь в опасности, а мой муж, вне всякого сомнения, советовался с вами, я хочу, чтобы вы знали все подводные камни.

— А также то,— добавил Мейсон,— что вы вступали в прямой контакт с одним из шантажистов.

— Я вынуждена была это сделать, так как он угрожал, что в противном случае передаст всю информацию прессе.

— Каким образом?

— Он сказал, что один из скандальных журнальчиков с удовольствием опубликует эту историю за 1000 долларов. Вот почему потребовал только тысячу. Он заявил, что ему нужны деньги, и хотя ему не нравится такой способ добывания, но другого у него нет, и он на все пойдет, так как остро в них нуждается. Это звучало довольно убедительно.

— Вы намерены рассказать об этом своему мужу? — спросил Мейсон.

— Нет.

— Может, мне это сделать?

— Нет. Я просто рассказала вам то, что, по-моему, вы должны знать.

— А вам никогда не приходило в голову, что вы сами можете оказаться в опасности?

— Я? Чепуха. Эти вымогатели, мистер Мейсон, очень трусливы. Парень вытянул из меня тысячу долларов, а его напарник — три тысячи из моей дочери. Я думаю, на этом все и закончилось бы, если бы не то обстоятельство, что деньги, на которые рассчитывали шантажисты, оказались в руках полиции.

— Почему вы не хотите поговорить с мужем и все ему рассказать?

— Может быть, я это и сделаю, но позднее.

— Вы случайно не знаете, где сейчас находится ваш муж?

— Думаю, он на озере, но к вечеру обещал приехать в город.

— А ваша дочь?

— Я не знаю, где она, но хочу позвонить Розене и под каким-нибудь предлогом предложить провести вечер в городе. Мне не хотелось бы, чтобы она была на даче одна. — Миссис Бэнкрофт взглянула на часы и добавила: — У меня еще столько дел! Я тороплюсь. Всего хорошего, мистер Мейсон. — Она поднялась, взглянула на Мейсона и Деллу Стрит и гордо вышла из кабинета.

Адвокат и его секретарша переглянулись.

— Теперь понятно, — заметила Делла. — Харлоу Бэнкрофт был введен в заблуждение. Дело не в его преступном прошлом и его отпечатках пальцев.

— Так ли это? — возразил Мейсон. — Не стоит забывать, что мы имеем дело с очень сложной ситуацией и с двумя шантажистами.

Вдруг раздался резкий телефонный звонок.

— Это Харлоу Бэнкрофт, — сказала Делла.

— Ответ на наши звонки? — спросил Мейсон.

— Не знаю. Гёрти просто передала, что он на линии.

Мейсон взял трубку:

— Алло, Бэнкрофт. Я тщетно пытался дозвониться до вас.

— Понимаю. Я сам хотел вас видеть, но нет времени.

— А где вы сейчас?

— На даче.

— Вы будете там вечером?

— Еще не знаю. Впрочем, это не имеет отношения к делу.

218 Должен признаться, я сильно ошибался, глядя на это дело со своей колокольни... В общем, забудьте то, что я вам говорил. Я вам все объясню с глазу на глаз, но... Мы можем оказаться замешанными в другую историю, совсем иную, чем вы думаете...

— Может быть, — сухо произнес Мейсон. — И что же я должен делать?

— Делайте, что сочтете нужным, — ответил Бэнкрофт.

— Как вы обо всем узнали?

— У меня был откровенный разговор с падчерицей. Говорила в основном она. Единственное, что я могу сделать, — это оказать ей посильную помощь... А теперь относительно ваших планов разыграть шантажистов.

Если бы они направляли свой удар против меня, ситуация была бы иной, но при вынешних обстоятельствах... Ну, я не могу объяснить по телефону. Думаю, сейчас лучший выход — платить и выигрывать время. В конце концов, как мне кажется, дело ничтожно, даже слишком ничтожно, а... ваша тактика, как бы это сказать, слишком, боюсь, груба. Вы идете напролом.

— Я же предупреждал вас, что собираюсь действовать именно так, — заметил Мейсон.

— Все верно, но чересчур уж прямолинейно. И, возможно, вы бьете не по той цели... Мне бы хотелось завтра утром встретиться с вами.

— А почему не сегодня вечером? Если это очень важно, я могу подождать вас.

— Нет, сегодня не могу. Есть другие дела. Наберитесь терпения, Мейсон, я увижу вас утром. В десять, идет?

— Хорошо. Пусть будет в десять. А что вы узнали о пропавшем пистолете? Он у падчерицы?

— Розена заявляет, что у нее его нет. Моя падчерица в странном положении. Кто-то, возможно, журналист, пытался по телефону вывести ее на чистую воду, но она дала ему отпор и бросила трубку. Тем не менее это может быть и один из шантажистов. Думаю, Мейсон, лучший выход — просто платить.

Я высоко ценю все, сделанное вами. А теперь наберитесь терпения и предоставьте дело нам. Думаю, мы сумеем покончить с ними тем или иным способом.

— Я говорил вам,— напомнил Мейсон,— что есть только четыре способа разделаться с шантажистами.

— Знаю, знаю, но один из них заключается в том, чтобы платить, и я определенно чувствую, что мы имеем дело с мелюзгой, следовательно, нет необходимости выставлять большую артиллерию. Выигрыш во времени все решит.

— Мне кажется,— заметил Мейсон,— нам лучше встретиться сегодня вечером.

— Совершенно невозможно. У меня другие дела... Я увижу вас завтра.

— В десять?

— В десять. А тем временем ничего не нужно делать, пусть все уляжется.

— Хорошо. Я не буду ничего предпринимать, хотя у меня несколько возможностей подцепить рыбу.

— Не надо. Пусть все идет своим чередом. Это вопрос денег, и я собираюсь платить.

— Что ж, ваше дело. Увидимся завтра.

Мейсон повесил трубку, а затем позвонил Полу Дрейку:

— Пол, необходимо приставить охрану к Розене Эндриус, а также к Еве Эймори. Сегодня ночью мы покажем когти.

— Хорошо,— ответил Дрейк.— Люди у меня есть, даже больше, чем нужно.

— Прекрасно, но действуй чрезвычайно осторожно. Никто не должен подозревать, что за ним следят. Держи меня постоянно в курсе событий, Пол.

— Хорошо,— весело ответил Дрейк.— Все сделаю.

9

В 9.30 вечера зазвонил незарегистрированный телефон в конторе Мейсона, о котором было известно только Делле Стрит и Полу Дрейку. Адвокат быстро схватил трубку.

— Да?

— Перри,— раздался голос Пола Дрейка,— я слишком много взял на себя. Даже не знаю, говорить или нет.

— Что случилось?

— Как ты и просил, я приставил к Еве Эймори широкоплечего, сильного мужчину, который двенадцать лет работал в полиции, в отделе по борьбе с мошенничеством...

— Понятно, короче... Что произошло?

— Около семи сорока перед домом Евы Эймори остановился

некий тип. Его поведение привлекло внимание моего человека. Мужчина вошел в телефонную будку и кому-то позвонил, возможно, Еве Эймори. Через десять минут Ева вышла из дома. Мужчина подъехал к ней на машине, и она села в нее.

Мой человек последовал за ними, полагая, что это может быть подготовленная для нее ловушка. Разговор их длился недолго. Мужчина проехал четыре или пять кварталов, остановился на углу, поговорил с ней полчаса, затем развернулся и подвез ее обратно к дому.

— Что же он от нее хотел? — спросил Мейсон.

— Он пытался заставить ее подписать какую-то бумагу, так по крайней мере показалось моему человеку. Она некоторое время колебалась, а затем отшвырнула ее. Они немного поговорили, и он вновь сунул ей эту бумагу.

— Где находится ваш человек? Как ему удалось все это увидеть?

— Он не все видел, так как не мог остановиться за ними и, чтобы не вызвать подозрений, два-три раза проехал мимо, а один раз сделал вид, что пытается найти место для парковки. В сущности, там не было места, но он старался быть как можно ближе к их машине. Они были так заняты своими делами, что не обращали на него никакого внимания.

Затем, когда этот тип отвез Еву Эймори домой, мой человек последовал за ним.

— И оставил ее без охраны?

220 — Нет, у него в машине есть рация, поэтому он держит со мной постоянную связь. Он рассказал мне о случившемся, попросил приставить к Еве другого человека и последовал за этим типом, который показался ему знакомым. Они доехали до «Аджак-Делси». Это дешевые меблированные комнаты, которые находятся недалеко от пляжа. Но самое главное: когда мужчина выходил из машины, мой человек узнал его.

— Кто это?

— Это Стилсон Келси, известный под прозвищем «король». Когда он вошел в дом, мой человек разузнал, что Келси снимает там комнату. Он сообщил мне об этом, попросил инструкции, и я приказал ему постоянно находиться в этом доме и действовать в зависимости от обстановки.

— Он уверен, что Келси снимает там комнату?

— Да. Мой человек сейчас следит за машиной Келси, но может получиться так, что, когда тот выйдет, он его не заметит.

— Почему?

— Густой туман опустился над пляжем. В направлении города кое-что просматривается, но, если Келси поедет в противоположную сторону, все пропало.

— Слышно что-нибудь от Евы Эймори? — спросил Мейсон.

— Нет. Видимо, Келси оказал на нее сильное давление, поэтому она молчит.

— Ладно. Следите за Келси.

— Как долго?

— Если понадобится, всю ночь.

— У моего человека в полночь заканчивается смена.

— Хорошо. Ближе к полуночи пошли ему замену. Выясни, что делает Келси. Неплохо бы узнать, кто его компаньон.

Приставь также человека к Еве Эймори, и следите за каждым ее шагом. О ней нужно знать все. Если вернется Келси и попытается еще раз оказать на нее давление, звони мне в любое время. Я хочу заняться им лично.

— Ну что ж, Перри, — произнес Дрейк. — Пусть будет так. В конце концов ты мне платишь за работу.

10

На следующее утро в конторе появился сильно встревоженный Харлоу Бэнкрофт. Казалось, он вот-вот упадет в обморок.

— В чем дело, Бэнкрофт? — спросил Мейсон.

— Моя жена...

— Что с ней?

— То, что я вам расскажу, мистер Мейсон, должно остаться между нами.

— Безусловно, все сказанное вами не подлежит разглашению.

— Как-то вы заметили, что есть четыре способа расправиться с шантажистами, — продолжал Бэнкрофт. — Помните?

— Да.

— И один из них — убийство вымогателя.

Глаза Мейсона сузились.

— Вы что, хотите сказать, что ваша жена это сделала?

— Да.

— Когда?

— Сегодня ночью.

— Где?

— На нашей яхте «Жинеса».

— Кто-нибудь знает об этом? — спросил Мейсон. — Вы звонили в полицию?

— Нет. Боюсь, я сделал огромную ошибку.

— Расскажите мне обо всем, и как можно скорее.

— Моя жена, — начал свой рассказ Бэнкрофт, — вчера была организатором благотворительного вечера. Она просила меня приехать в город, так как опасалась, что вернется очень поздно. А на самом деле произошло следующее... Видите ли, дело в том, что у Джетсона Блэра есть брат, Карлетон Расмус Блэр, которого считали погибшим, но...

— Мне все это известно, — прервал его Мейсон.

— Хорошо. Карлетон Блэр жил в меблированных комнатах «Аджакс-Делси» под именем Ирвина Виктора Фордайса. У него есть близкий друг Уилмер Джилли, который также проживает там. Джилли вышел на свободу одновременно с Фордайсом. Фордайс считал его своим закадычным другом. Естественно, прочитав в газетах сообщение о помолвке Джетсона Блэра и Розены Эндрюс, он доверился Джилли и рассказал ему о том, что он — один из Блэров, так сказать, «паршивая овца» в семье, хотя все уверены, что он погиб.

Джилли, очевидно, решил воспользоваться этой информацией.

Он стал шантажировать Розену и Филлис, мою жену, которая в конце концов заплатила ему тысячу долларов.

— Продолжайте.

— После сенсации в газетах в связи с найденными деньгами Джилли попытался вновь выудить деньги у Розены. Она ловко отбрила его, разыграв возмущение нахальством некоего журналиста. Тогда он решил лично встретиться с Филлис.

Затем происходит что-то непонятное.

Во всяком случае, Филлис, полагая, что Ирвин Фордайс — главный козырь шантажистов, почему-то решила найти его и выяснить точно, что ему известно. Она разыскала его в «Ад-жакс-Делси».

Фордайс был просто поражен поступком Джилли и уверял, что убьет его. Затем он немного успокоился и заявил, что все устроит сам, а ей не нужно больше обращать внимания на всякие письма и угрозы.

Филлис встревожилась. Со слов Джилли ей было известно, что в связи с ограблением станции техобслуживания полиция разыскивает Фордайса. Она представила, что может произойти в результате их встречи, и предложила ему провести на нашей яхте «Жинеса» неделю или две.

Конечно, Филлис не стоило этого делать, тем более зная, что Фордайса разыскивает полиция.

— Кто сказал ей об этом? — спросил Мейсон.

— Джилли.

— Слово шантажиста, — перебил его адвокат, — ничего не значит.

— Рад, что вы так говорите, потому что меня это немного тревожило.

— Хорошо. Оставим пока Джилли в покое. Что было потом?

— Филлис привезла Фордайса на яхту и уговорила его остаться там. Затем она возвратилась в яхт-клуб, села в машину и отправилась к нашим друзьям, у которых можно занять денег. Она попросила у них три тысячи в пятидесяти- и стодолларовых банкнотах.

Вернувшись на яхту с целью отдать эти деньги Фордайсу, Филлис, к своему удивлению, обнаружила, что он исчез, а вместо него на яхте находится Джилли. Поведение его было явно угрожающим.

Филлис стала тянуть время. Это долго рассказывать. Короче говоря, поднимаясь на борт яхты, она заметила на ее носу какую-то неясную фигуру, убиравшую якорь, и подумала, что это Фордайс.

— Разве яхта не была пришвартована?

— Нет. Она стояла на якоре, потому что пристань на ремонте.

— Хорошо, — сказал Мейсон. — Продолжайте.

— Человек услышал ее шаги, резко повернулся и пошел к рубке. Опускаясь густой туман, и через несколько секунд он полностью поглотил яхту, находившуюся на плаву.

— Но почему яхта была на плаву?

— Очевидно, что-то произошло, и преступник намеревался скрыть в тумане следы своего преступления. Джилли, вероятно,

надеялся добраться до другого берега, а там яхту бросить. Тогда бы Филлис посчитали виновной в исчезновении Фордайса.

— Продолжайте.

— Джилли обвинил ее в обмане, в том, что она сует нос не в свои дела, и, наконец, потребовал деньги. Она наотрез отказалась, тогда он стал угрожать ей.

В этот момент Филлис выхватила пистолет из сумочки и приказала ему поднять руки, думая, что он струсит. Но он только выругался и двинулся к ней.

— И тогда? — перебил Мейсон.

— Не забывайте, что якорь еще не был поднят, и, возможно, именно в этот момент он за что-нибудь зацепился. Может быть, за бревно или за камень. Яхту толкнуло, Филлис упала и машинально нажала на курок, в упор выстрелив в Джилли. Тот упал мертвым.

— Что было дальше?

— Она бросилась за борт.

— А пистолет?

— Ей кажется, что пистолет и сумочка были в ее руке, когда она кинулась в воду. Плыв к берегу, она уронила пистолет, а сумочка соскользнула с ее руки.

— Был густой туман. Как же ей удалось увидеть берег?

— Она разглядела слабые огоньки. Проплыв всего несколько футов, она встала и побрела к берегу. Затем, не снимая мокрой одежды, добежала до автостоянки, села в машину и поехала на городскую квартиру.

— Бросив яхту на месте преступления?

— Да.

— С трупом на ней?

— Да.

— Почему она уверена, что Джилли был мертв?

— По ее мнению, это чувствовалось по падению тела. Кроме того, она выстрелила в упор, прямо в грудь.

— Это точно был Джилли?

— Да, именно он.

— И ей не известно, что произошло с Фордайсом?

— Нет.

— Хорошо, — произнес Мейсон. — Все это укладывается в схему: Фордайс доверился Джилли, у которого есть друг — опытный шантажист, известный под кличкой «король»... А вот яхта?

— В том-то все и дело. Когда появились первые лучи солнца, я отправился на место происшествия. Ее там не оказалось.

— Как не оказалось? — воскликнул Мейсон.

— Когда все это произошло, был отлив. Вскоре начался подъем воды, который усиливался с каждой минутой. Очевидно, ночью во время прилива яхта вышла в гавань и где-то села на мель.

— Когда жена вам все рассказала?

— Вчера, в десять вечера.

— Почему вы не позвонили мне или в полицию?

— У меня не хватило духа звонить в полицию. Я решил дождаться утра, чтобы встретиться с вами. Я не знал, где найти

вас, если не считать агентства Дрейка и... Черт побери, Мейсон, моя жена была просто в истерике, и, если бы она в таком состоянии позвонила в полицию, все бы рухнуло. Боже мой, это же была самооборона. Я решил взять на себя всю ответственность. Пусть полиция приезжает к нам.

— Будет чертовски трудно вести это дело. Если бы ваша жена сама пошла в полицию, это выглядело бы как самооборона, но к тому времени, когда полиция нагрянет к вам, это будет расцениваться как убийство.

— Я знаю, поэтому умоляю вас взять все в свои руки. Вы должны заявить, что Филлис не в состоянии давать каких бы то ни было показаний, так как это связано с шантажом.

— Придется, чтобы выиграть время. Еще вчера у нас был выбор. Сегодня его нет. Мы в цейтноте. Нам нужно найти новые факты и, самое главное, яхту.

— Залив еще окутан туманом.

— Что ж, достанем вертолет.

Адвокат повернулся к Делле Стрит.

— Позвоните в авиаотдел. Скажите, что нам срочно нужен четырехместный вертолет.

Адвокат был на полпути к двери, когда раздался телефонный звонок. Делла вопросительно взглянула на Мейсона, кивнула головой и взяла трубку.

— Я слушаю, Гёрти. В чем дело? Кто звонит? Ева Эймори? Мейсон нахмурился, подошел к телефону и взял трубку:

— Соедините меня. Я поговорю с ней.

Мгновение спустя он произнес:

— Да, Ева. Перри Мейсон слушает. Что случилось?

— Я собираюсь подписать заявление, что вся эта история — рекламный трюк, что деньги мне вручил один знакомый, вместе с которым мы и сочинили письмо.

— Вы не сделаете этого, Ева.

— Если я подпишу заявление, я смогу выпутаться из...

— Из чего?

— Из всей этой истории... Короче говоря, из-под давления.

— Вы так не сделаете, какое бы давление на вас ни оказывалось.

— Но мне советуют...

— Кто?

— Ну... люди.

— Они оставили вам это заявление? — спросил Мейсон.

— Да.

— Тогда делайте следующее, Ева. Я хочу, чтобы вы пришли в контору и поговорили со мной.

— Но они потребовали, чтобы я подписала бумагу до двух часов дня.

— Хорошо. Кто бы это ни был, скажите, что в два часа вы пойдете ко мне в контору и там подпишете заявление.

— Не думаю, что это работает. Они...

— Попробуйте. Обещаете?

— Да.

— Хорошо, — закончил разговор Мейсон и повесил трубку.

День был теплым и солнечным, только над водой виднелась неподвижная кромка белых облаков.

Летчик вертолета, летевшего на высоте примерно 500 футов, заметил адвоката:

— Не нравится мне все это, мистер Мейсон. Мы можем пролететь поблизости от облаков, но вряд ли что-нибудь увидим.

— А нельзя ли немного уменьшить высоту? — спросил Мейсон.

— Конечно, можно. Я могу лететь на высоте пяти футов над водой, но в таком тумане это опасно.

— Сделайте все, что в ваших силах, — попросил адвокат.

— Иногда можно разогнать туман с помощью винта вертолета, — заметил пилот.

— Что ж, попытайтесь.

Вертолет со скоростью 75 узлов в час двигался вдоль белых облаков, которые казались выше и плотнее по мере приближения к ним.

— Боюсь, ничего не получится, — промолвил пилот. — Из-за очень плотного тумана, который установился еще сутки назад, видимость сильно ограничена.

— Может быть, можно опуститься ниже и лететь прямо над поверхностью?

— Я попытаюсь, но, как только видимость станет хуже, я поверну обратно.

Вертолет опустился еще ниже и полетел над открытой местностью. Вскоре их окутали первые клубы тумана, разгоняемые винтом вертолета. На мгновение показалось, что они исчезли, но вскоре вновь появились, и пилот повернул машину обратно.

— Ничего не могу поделать, — сказал он. — Очень сожалею, но входить туда опасно. Это самый густой туман, который я когда-либо видел. Воздух даже не колышется. Кажется, что летишь в молоке.

— А нельзя подняться над ним? — спросил Мейсон.

— Конечно, можно, но это ничего не даст. Вы просто увидите толстый белый ковер.

— Хорошо, тогда возвращаемся. Будьте в постоянной готовности. Как только туман начнет рассеиваться, мы проведем осмотр гавани.

Мейсон повернулся к Бэнкрофту.

— Это лучшее, что мы можем сделать, Бэнкрофт, — объяснил он. — Не вижу другого выхода.

— Я тоже.

— Я хотел бы поговорить с вашей женой.

Бэнкрофт понимающе кивнул головой.

— Она спит. Я дал ей большую дозу снотворного. Можете себе представить, она...

Мейсон взглядом указал на пилота, и Бэнкрофт моментально замолчал.

— Прощу вас, — напомнил адвокат летчику, — быть в постоян-

ной готовности в течение всего дня. Как только туман рассеется, мы осмотрим гавань. Все ясно?

— Да. Но туман может продержаться весь день, мистер Мейсон.

— Что ж, придется сидеть и ждать. Постоянно сообщайте мне о погодных условиях над заливом, о любых их изменениях.

Пилот понимающе кивнул головой. До приземления вертолета Мейсон был погружен в размышления.

По дороге в контору он спросил Бэнкрофта:

— Вам известно, что яхты не оказалось там, где она должна была быть, по словам вашей жены?

— Да.

— Откуда вам это известно?

— Я ездил туда.

— Был густой туман?

— Да, но я пробрался через него с включенными фарами.

— Жена описала вам место?

— Конечно.

— И вы вели поиски именно там?

— Да. Я вышел из машины как раз у причала для заправки топливом.

— И яхты там не оказалось?

— Нет.

— Вы уверены?

— Да.

— После разговора с женой вам следовало немедленно идти в полицию, — сказал Мейсон.

— Знаю, но я уже объяснял, почему не сделал этого.

— Насколько я понимаю, пистолет выстрелил случайно?

— Да, конечно, Филлис...

— Пистолет выстрелил случайно, — опять произнес адвокат. — Яхта наскочила на мель...

— Не яхта, а якорь, видимо... задел за что-то, и ее тряхнуло.

— И пистолет выстрелил случайно.

— Да, он выстрелил случайно.

— А этот человек, шантажист? Как его звали? Джилли?

— Да.

— Хорошо. Джилли раскинул руки в стороны и упал лицом вниз?

— Да.

— Ваша жена все бросила и прыгнула за борт?

— Нет, это произошло, когда она уже была в воде. Так она по крайней мере считает. У нее смутные воспоминания о том, как сумочка соскользнула с ее руки.

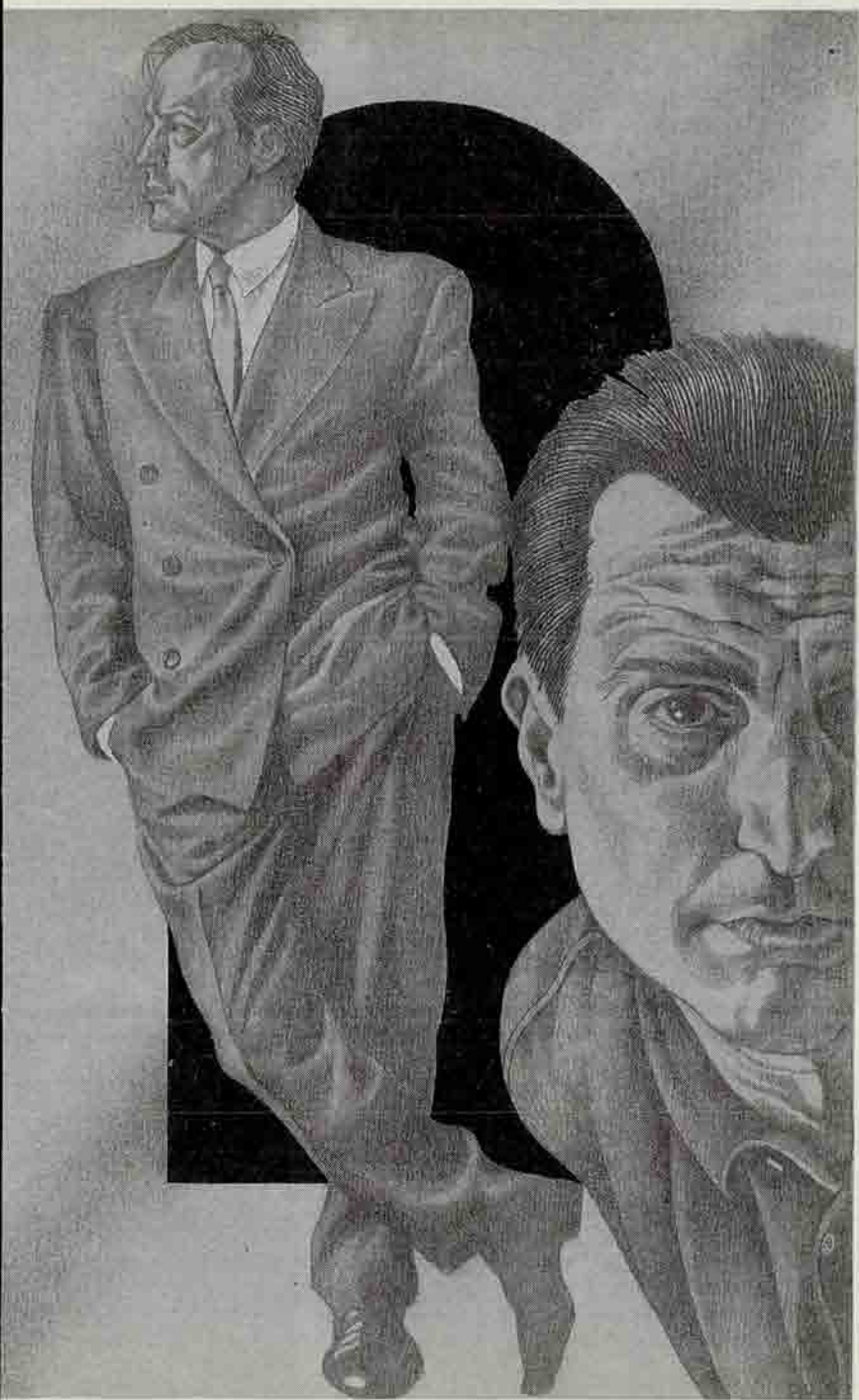
— Она была в истерике, так как шантажист угрожал ей смертью...

— Ну... она в него выстрелила и...

— Она не знает точно, куда попала пуля, — перебил его Мейсон. — Главное, она испугалась. Ей казалось, что он следует за ней и вот-вот выстрелит.

— Что ж, возможно, так и было.

— Именно так, — подчеркнул Мейсон. — Только так объясни-



мы ее действия, а ваш рассказ должен соответствовать ее действиям.

Бэнкрофт задумался, затем медленно кивнул головой.

— У меня в конторе назначена важная встреча, — сказал Мейсон. — Ее нельзя отложить, поэтому я попрошу вас быть наготове. Вы должны быть поблизости от моей конторы или где-нибудь, куда я мог бы быстро дозвониться.

— Почему так важно найти яхту? — спросил Бэнкрофт.

— Потому что я хочу побывать на ней раньше полиции.

— Но мы даже не представляем, где она сейчас находится, — напомнил Бэнкрофт.

— Вот именно. Ваша жена видела, как Джилли поднимает якорь. Когда он заметил ее, он зацепил якорную цепь за кнехт, а затем двинулся к ней.

Бэнкрофт утвердительно кивнул головой.

— Двигатель работал? — спросил Мейсон.

— Да.

— Он сцепил муфту?

— Да.

— На палубе есть какой-нибудь рычаг, с помощью которого он мог сделать это?

— Да. Пользуясь им, он мог поднять якорь и сразу же выйти в море.

— А когда раздался выстрел? — спросил Мейсон.

— Где-то примерно в 8.30.

— Где были вы в это время?

— Ждал жену.

— Кто-нибудь может подтвердить это?

— Нет.

Мейсон в задумчивости окинул взглядом Бэнкрофта.

— Конечно, — сказал он, — если окажется, что убийство было совершено **вашим** пистолетом на вашей яхте, полиция может прийти к выводу, что вы пытались защитить жену и все сделали своими руками.

На лице Бэнкрофта было написано удивление.

— Вы хотите сказать, что они могут обвинить меня?..

— Вот именно. Ваш рассказ о том, что вы дали жене снотворное и не позволили ей идти в полицию...

— Но я пытался защитить ее от вопросов, когда она была взволнована и...

— И пыталась избежать газетной шумихи, — напомнил Мейсон.

— Ну да.

— В общем, мало вы выиграли времени, — заметил Мейсон. — Когда все всплывет, нам придется трудновато.

12

Примерно около двух часов дня зазвонил незарегистрированный телефон Мейсона. Адвокат быстро схватил трубку:

— Да, Пол, слушаю. Что произошло на сей раз?

— Только что звонил человек, ведущий наблюдение за домом

Евы Эймори,— отчетливо произнес голос Пола Дрейка.— Он утверждает, что к ней вошел некий тип, похожий по описанию на «короля» Келси.

— Он был один? — спросил Мейсон.

— Да.

— У вашего человека есть рация в машине?

— Он поддерживает со мной постоянную связь.

— Прекрасно,— ответил Мейсон.— Я поехал туда, Пол.

— Помощники нужны?

— Думаю, справлюсь один. Свидетель может быть крайне нежелателен. Сейчас я веду наблюдение за гаванью. Мы ждем, пока рассеется туман. Это может произойти в любое время, и у меня наготове вертолет. Если тебе позвонит Делла Стрит, немедленно прикажите вашему человеку, ведущему наблюдение за домом Эймори, сообщить мне об этом.

Мейсон повесил трубку и, повернувшись к секретарше, произнес:

— Никуда не уходите, Делла. Как только туман начнет рассеиваться, дайте мне знать. Я должен разыскать эту яхту.

— Вы намерены встретиться с Келси?

— Да. Хочу откровенно, выложив все карты, поговорить с шантажистом,— пояснил Мейсон.

— Будьте осторожны,— предупредила она.

Адвокат ухмыльнулся и вышел.

Когда он подъехал к дому Евы Эймори, к нему приблизился человек Дрейка:

— Он все еще там, мистер Мейсон. Мне сопровождать вас?

— Нет, оставайтесь здесь и поддерживайте постоянную связь с моей конторой. Как только я им понадобится, дайте мне знать.

— Как?

— Просто войдете в квартиру и скажете, что меня ждут.

— Сколько времени вы собираетесь пробыть у нее?

— Всего несколько минут.

Мейсон вошел в дом, поднялся на лифте и, подойдя к квартире Евы, позвонил.

Дверь мгновенно распахнулась.

— Привет,— произнес адвокат.

Ева Эймори была в замешательстве. Мейсон стремительно прошел в квартиру и увидел пятидесятилетнего мужчину мощного телосложения с серыми холодными глазами.

— Если не ошибаюсь, вы — Стильсон Л. Келси по прозвищу «король», а документ в ваших руках — бумага, которую вы вынуждаете подписать Еву Эймори.

Я заявляю, что она не подпишет ее, я терпеть не могу шантажистов, а вы должны немедленно покинуть эту квартиру и оставить в покое девушку. В противном случае я отправлю вас в тюрьму.

Келси медленно поднялся, оттолкнул стул и произнес:

— А я терпеть не могу адвокатов, и к тому же я не шантажист, а бизнесмен. Если хотите, называйте меня «метким стрелком», способным разглядеть ловушку.

К вашему сведению, мистер Мейсон, Ева мне только что все

рассказала. Все происшедшее не шантаж, а рекламный трюк, и документ подтверждает это.

— Что ж, придется вам кое-что объяснить, — сказал адвокат. — Как вы думаете, кто положил в кофейную банку три тысячи долларов?

— Я не знаю, да это меня и не волнует.

— Напрасно.

Келси посмотрел на адвоката долгим немигающим взглядом, как бы оценивая ситуацию.

— Ладно, — произнес он наконец. — Раскрою вам все свои карты, Мистер Адвокат. Я хорошо знаком с молодым человеком по имени Уилмер Джилли. Ему стало кое-что известно, и он решил потребовать денег от людей, чьих имен я сейчас называть не буду. Джилли в какой-то степени зависит от меня. Если кто-то желает иметь со мной дело — хорошо, если же нет — тоже неплохо.

— С вами не хотят иметь дело, — заметил Мейсон. — Убирайтесь!

— Вы, что ли, платите за эту квартиру? — съехидничал Келси.

— Нет, но я — налогоплательщик и, как все, плачу за содержание городской тюрьмы, — пояснил Мейсон. — Вы блефуете, Келси, но мы положим этому конец. Вы пытаетесь оказать давление на девушку и заставить ее признаться, что все происшедшее — рекламный трюк. На самом же деле деньги в банку положил я, что нетрудно доказать. У меня на руках чек на полученные деньги и заявление банкира о вручении мне их в десяти- и двадцатидолларовых банкнотах.

Ева Эймори не собирается подписывать вашего заявления. Если же вы не оставите своих попыток, мы обвиним вас в вымогательстве, в незаконном получении денег путем обмана властей.

Произнеся эти слова, Перри Мейсон подошел к столу, взял лежавшую на нем бумагу и разорвал ее на несколько частей.

— Вы хотите что-нибудь сказать, Келси? — спросил он.

Шантажист с холодным бешенством посмотрел на адвоката.

— Нет, не сейчас. Я сделаю это позднее.

— Скажете лично мне!

— Хорошо, но не думаю, что вам это понравится.

В дверь кто-то постучал.

Мейсон резко открыл ее. На пороге стоял человек Дрейка.

— Звонили из вашей конторы. Вы им нужны.

Адвокат повернулся к шантажисту и, кивнув головой в сторону выхода, промолвил:

— Вон отсюда!

— Это не ваша квартира, — попробовал протестовать тот.

— Не имеет значения. Убирайтесь!

— Вы не имеете права! Вы не можете меня выставить!

— Что? Хотите поспорить?

— Сейчас не имеет смысла, тем более что к вам прибыло подкрепление, — усмехнулся Келси. — Кто этот парень?

— Частный детектив. Вел за вами слежку. Так что у нас достаточно фактов, чтобы обвинить вас в вымогательстве.

— Хорошо, — произнес шантажист. — Хорошо, я пойду. Но у вас ничего нет против меня. Возможно, что-то есть против Джилли, но не против меня. — Он повернулся и вышел из квартиры.

— Одевайтесь, — обратился Мейсон к Еве Эймори. — Вы поедете в контору Пола Дрейка. Там проведете несколько часов, пока мы все не уладим.

— Он угрожал...

— Безусловно, — заметил Мейсон. — Он ведь живет за счет угроз, но все его угрозы — блеф. Одевайтесь, поедете в контору Дрейка. Соберите ваши вещи, я тороплюсь.

— Это займет несколько минут.

— Побыстрее. Я не могу ждать.

Адвокат повернулся к оперативнику.

— Отвезете ее в контору Дрейка и оставите там на пару часов. Если вновь зайвится этот мужчина и попытается встретиться с ней, надеюсь, вы знаете, что надо делать в таком случае.

— Одной рукой, — самоуверенно произнес оперативник.

— Прекрасно.

Адвокат быстро сбежал по лестнице, прыгнул в машину и помчался на аэродром, к вертолетной площадке.

Бэнкрофт и Делла Стрит уже ожидали его.

— Давно вы здесь? — спросил Мейсон.

— Всего несколько минут, — ответил Бэнкрофт. — Пилот сказал, что над заливом поднимается туман.

— Ну что ж, поехали.

Они сели в вертолет, который быстро набрал высоту, пролетел над городом, затем снизился и полетел над открытой местностью.

Над заливом еще висел туман, который таял по мере их приближения. Пилот сбавил скорость, и вертолет неподвижно завис над заливом.

— Вон яхт-клуб! — закричал Бэнкрофт. — А там обычно стоит «Жинеса»!

— Покажите мне топливный причал, который вы опознали ночью, — перебил его Мейсон.

— Немного правее, — показал Бэнкрофт летчику.

Вертолет вновь повис над водой.

— Еще ниже, правее.

— Никаких признаков яхты, — заметил адвокат. — Ветер ночью был?

— Нет. Именно по этой причине туман держался так долго. Он стал рассеиваться только тогда, когда с суши подул легкий бриз.

— Надо выйти дальше в залив и продолжить поиски там, — произнес Мейсон.

Вертолет медленно полетел над заливом.

— Смотрите! Прямо по курсу! — неожиданно воскликнул Бэнкрофт. — Похоже, это она!

— Где?

— Примерно в миле отсюда.

Летчик сбавил скорость. Наконец вертолет повис над яхтой, стоявшей на якоре у песчаного берега залива.

— Это ваша яхта? Похоже, она на якоре? — спросил Мейсон.

Бэнкрофт утвердительно кивнул головой.

— Вы не знаете, какова здесь глубина?

— Если судить по наклону якорной цепи и по тому, что примерно 12—15 ее футов видно над водой, глубина здесь 10—12 футов.

— Обратите внимание, — вставил Мейсон, — к яхте до сих пор привязана шлюпка.

— Да, я заметил.

— Очевидно, — продолжал адвокат, — яхту похитили. Мне кажется, лучше будет, если мы поднимемся на нее вместе с представителем шерифа.

— Контора шерифа недалеко отсюда, — заметил пилот. — Если хотите, могу там приземлиться. В вертолете установлен аэрофотоаппарат. Мы можем сделать несколько фотоснимков.

— Хорошо, — сказал Мейсон, — только, пожалуйста, никому ни слова о фотографиях.

Через несколько минут вертолет опустился на площадку у конторы шерифа.

— У нас есть причины полагать, — быстро объяснил Мейсон помощнику шерифа, — что вчера вечером похитили яхту мистера Бэнкрофта. После длительных поисков мы ее в конце концов обнаружили. Она оказалась на якоре, поблизости отсюда. Похититель, возможно, еще на ней, так как шлюпка до сих пор к ней привязана. Не желаете ли взглянуть?

— Желаю, — ответил помощник.

— Ну что ж, тогда поехали.

— Я буду ждать вашего возвращения, — заявил Мейсону пилот вертолета.

Помощник шерифа быстро довез адвоката и его клиента до причала, где они сели в катер и вышли на нем в залив.

— Мы скажем вам, когда сбавить скорость, — обратился Мейсон к помощнику шерифа.

— Яхта примерно в четырех милях отсюда, у песчаного берега, — пояснил Бэнкрофт.

— На якоре?

— Да.

— Есть кто-нибудь на «Жинесе»? — крикнул помощник шерифа, когда они подошли к яхте. — Есть кто-нибудь на борту?

Ответа не последовало.

— Подождите здесь, — сказал он, обращаясь к Мейсону и Бэнкрофту. — Вы утверждаете, что яхту похитили?

Миллионер не произнес ни слова.

Помощник шерифа подошел на катере к «Жинесе» и легко поднялся на борт яхты.

— Мейсон, — тихим голосом произнес Бэнкрофт, обращаясь к адвокату, — я собираюсь сделать заявление.

— Какое?

— Если Джилли мертв, я заявлю, что застрелил его...

— Перестаньте, — прервал его Мейсон. — Неужели вы не понимаете, что власти штата попытаются возбудить дело против вашей жены? Следует осознать всю сложность ситуации. Вы можете заявить, что жена ваша была в истерике, что вы заставили ее принять сильное снотворное, даже настояли на этом, чтобы дать ей возможность успокоиться.

Помните, что они не смогут найти пистолет, из которого был произведен выстрел, так как ваша жена уронила его во время прыжка в воду.

— Но разве они не в состоянии разыскать место, где она прыгнула, послать туда водолаза и найти пистолет? Ведь там неглубоко.

— В любом случае ваша жена должна молчать. Она и без того далеко зашла. Я не думал, что так обернется дело, но в нынешней ситуации это единственный выход.

Если понадобятся ее показания, я дам ей знать. Но помните, что ваша жена поднялась на яхту с Ирвином Фордайсом. Полиция же обнаружила яхту, когда его там уже не было, но на палубе лежал труп Джилли. Они не смогут выдвинуть против вашей жены никаких обвинений, пока не найдут Фордайса.

— А что произойдет, если им удастся его найти?

— Тогда дело окажется чрезвычайно запутанным, — пояснил Мейсон. — Вам следовало прошлой ночью позвонить мне, а затем в полиции изложить рассказ вашей жены о том, как она выстрелила в целях самообороны.

— Филлис уверена, что убила его. Она...

В этот момент вернулся помощник шерифа.

— Положение очень сложное. На борту яхты труп мужчины. Он, вероятно, был убит всего несколько часов назад. Очевидно, пуля попала ему прямо в сердце.

— Это усложняет положение, — вставил Мейсон.

Представитель власти подозрительно взглянул на него.

— Странно, почему владельца похищенной яхты сопровождает один из ведущих адвокатов штата по уголовным делам?

Мейсон усмехнулся.

— Это долгая история, дружище.

— Может, расскажете?

— Нет.

— Так или иначе, мы добудем необходимые факты.

— Когда был убит этот мужчина? — прервал его Мейсон.

— Очевидно, несколько часов назад, пока еще неясно. Сейчас я должен сделать донесение шерифу, наложить арест на яхту, затем мы отправимся на пристань, где с помощью технического персонала тщательно осмотрим судно.

— Вы уберете яхту отсюда? — спросил Мейсон.

— Мы вынуждены это сделать, — ответил помощник шерифа. — На пристани дактилоскописты, фотографы и эксперты осмотрят тело. Может быть, хотите сделать какое-нибудь заявление?

Адвокат отрицательно покачал головой.

— А вы? — обратился помощник к Бэнкрофту.

— Подождем результатов осмотра яхты, — ответил за миллионера Мейсон. — Все происшедшее для нас чересчур неожиданно.

— А мне кажется, — заметил помощник шерифа, — что вы, напротив, хорошо подготовлены ко всем неожиданностям.

Только в шесть часов вечера Бэнкрофт и Мейсон вышли из конторы шерифа. Деллу Стрит выпустили через несколько минут после того, как яхта была доставлена к пристани.

Сидя в машине, миллионер вслух предавался своим размышлениям.

— Как вы думаете, они уже допросили мою жену? — спросил он Мейсона.

— Разве вам не понятно, почему нас так долго держали? Они, безусловно, уже допросили и вашу жену, и вашу падчерицу, и ваших слуг.

— Я просил жену не делать никаких показаний, а просто заявить, что она будет говорить только в моем присутствии.

— Вам следовало бы позвонить мне вчера вечером, — напомнил ему Мейсон. — Вместо этого вы стали давать жене всякие советы. По правде говоря, я недоволен всем происшедшим.

— Я вас не понимаю.

— Мне кажется, — пояснил Мейсон, — что вы мне не все рассказали.

После некоторого молчания Бэнкрофт произнес:

— Да, Мейсон, вы вынуждены играть вслепую. Прокуратура попытается обвинить во всем мою жену, но у них ничего не получится. Мне кажется, они не смогут возбудить дело и против меня. Вы же должны доказать, что никто из нас не имеет никакого отношения к событиям вчерашнего вечера. Пускай полиция попытается сделать невозможное.

— Иногда полиции, — заметил Перри Мейсон, — необычайно везет.

— Я знаю, но мне кажется, что навряд ли им удастся добыть какие-нибудь факты против нас. А вот как только у них окажутся отпечатки пальцев Джилли, они сразу же узнают, что он бывший заключенный и, возможно, шантажист.

— И затем свяжут его смерть с письмом шантажистов, обнаруженным в кофейной банке, — заметил адвокат. — Что тогда?

— Тогда, — сказал миллионер, — у них будут только голые факты: наличие трупа шантажиста и подозреваемой женщины, его возможной жертвы. Им, однако, не удастся доказать, что у моей жены или у меня были личные контакты с Джилли.

— Что ж, будем надеяться, — произнес Мейсон.

— Обычно, — продолжал миллионер, — когда человек невинен, он честно и откровенно все рассказывает в полиции. Иногда ему верят, иногда — нет. Если же виновен, он будет молчать.

— Ну и что?

— А то, — пояснил Бэнкрофт. — Почему бы невинному не воспользоваться теми лазейками, которые открыты для виновного? Своим молчанием и своей надеждой на то, что они сломают

шею, прежде чем добьются каких-либо результатов, мы даем полиции возможность делать шаг за шагом.

— У меня нет выбора,— заметил Мейсон.— Если бы вы позвонили мне вчера вечером, когда вернулась домой ваша жена, мы бы выдвинули версию о самозащите, и она была бы достаточно убедительной. Сейчас слишком поздно выдвигать эту версию, если, конечно, ваша жена не пытается кого-то покрыть. Таково положение.

— Сожалею, но все-таки придется ею воспользоваться.

— Я сделаю это только при одном условии,— неожиданно произнес адвокат.

— Каком?

— Если вы мне откровенно расскажете, что в действительности произошло вчера вечером.

— Я уже рассказал вам.

— Нет. Вы кое-что скрыли. Мне же нужно знать правду.

— Вы не сможете защищать нас, если будете знать все.

— Человек всегда имеет право на защиту в суде,— сказал Мейсон,— каковы бы ни были обстоятельства. Мне нужно знать истинные факты.

— Хорошо,— произнес Бэнкрофт.— Я думаю, вам все равно станет о них известно. Насквозь промокшая, моя жена приехала домой и рассказала следующее.

Она решила предоставить Ирвину Фордайсу нашу яхту, так как была уверена, что на ней его никто не будет искать, а мы сможем избавиться от него до свадьбы и, возможно, даже до тех пор, пока все не утрясется.

Филлис привезла его в порт, поднялась с ним на яхту, вновь поехала в город — на этот раз за деньгами — и снова вернулась к лодке. Но там уже не было никаких признаков Фордайса. Вместо него на борту оказался Джилли, который явно собирался убить мою жену. Она выхватила пистолет из сумочки, полагая, что он поднимет руки и тогда она сможет управлять сложившимся положением.

Он же двинулся на нее. В этот момент яхта наскочила на мель. Филлис невольно нажала на курок. Джилли замертво упал у ее ног. Филлис прыгнула за борт, поплыла к берегу, а затем помчалась в машине домой, где и рассказала мне о происшедшем.

И вот тогда-то я совершил ошибку. У меня есть сильный наркотик, который порой принимаю в случае сильных болей в желудке, и я заставил ее принять это лекарство, чтобы она быстрее заснула, ведь она была в истерике.

Потом я поехал в порт. Но яхты не оказалось на том месте, где Филлис ее бросила. Я решил выйти в открытый океан и сбросить там тело Джилли. Вам я ничего не собирался говорить. Никто не смог бы установить связи Джилли с моей женой или со мной лично.

— Итак, вы не нашли вашей лодки?

— Да, она исчезла. Вы же помните, что был прилив. Он снял яхту с мели и вынес ее в открытый океан, но я не смог ее обнаружить из-за сильного тумана. Я искал яхту два или три

часа, а затем, совершенно изможденный, вернулся домой и приказал Филлис молчать и ничего не говорить, чтобы ни произошло.

— Будем надеяться, что она последует этому совету. А пока давайте представим дело так, будто это работа шантажистов, а ваша жена пожертвовала собой в чьих-то интересах. Я поехал в контору. Возвращайтесь домой и держите меня в курсе событий.

14

Когда Мейсон вернулся в контору, Делла Стрит его уже ждала.

— Вы когда-нибудь бываете дома? — спросил адвокат. — Вам известно, сколько сейчас времени?

— Конечно.

— Вы обедали?

— Нет.

— Ну что ж, давайте что-нибудь сообразим.

— Вас ожидают в приемной, — прервала его Делла.

— Кто?

— Человек, которого вы, по-моему, захотите увидеть, — Джетсон Блэр.

— Тот самый, что собирался жениться на Розене Эндрюс?

Она утвердительно кивнула головой.

— А почему он желает меня видеть?

— Сказал: по сугубо личному делу. Я не стала расспрашивать. — Хорошо, пусть войдет. Мы сейчас все выясним, а затем сходим куда-нибудь перекусить.

Делла вышла в приемную и возвратилась в сопровождении Джетсона Блэра, высокого парня с резкими чертами лица, кудрявыми темными волосами и спокойными глазами.

— Мистер Блэр, это мистер Мейсон, — произнесла Делла.

Блэр пожал руку адвоката.

— Что вас привело ко мне? — спросил Мейсон. — Ведь уже довольно поздно и...

— Знаю, — прервал его Блэр. — Мне даже пришлось вас ждать. Прошу прощения, что появился в столь необычное время, но в конце концов мое дело тоже необычное.

Мейсон согласно кивнул головой.

— Присаживайтесь, — произнес он. — Что ж, посмотрим, что мы можем сделать.

— Я достаточно много услышал от разных людей и понял, что к чему.

— Продолжайте.

— Письмо шантажистов предназначалось Розене. Это была их первая попытка выжать кое-какие деньжата из весьма неприятной ситуации.

— Что за ситуация?

— Дело в том, что мой брат, Карлетон Блэр, как мне кажется, жив. Он, вероятно, замешан в делах, которые могут принести немало неприятностей нашей семье. Поэтому, когда в газетах

я увидел сообщение о происшествии на озере Мертисито, связанном с вымогательством, я сразу же все понял.

— Объясните, что вы хотите от меня?

— Дело в том, что я люблю Розену, а она любит меня. Я просто хочу, чтобы вы знали — в нашей семье спокойно отнесутся к тому факту, что один из Блэров — паршивая овца. Шантаж ничего не решает. Я не желаю платить вымогателям только ради того, чтобы пощадить чувства кого-нибудь из членов нашей семьи.

Если Харлоу Бэнкрофт и его жена опасаются, что не смогут пережить подобного скандала, тогда, если понадобится, свадьба будет отложена или помолвка будет расторгнута.

Если же они в состоянии его перенести, то я тем более.

— А члены вашей семьи? — спросил Мейсон.

— У них точно такое же отношение. Шантаж сам по себе ничего не решает и ни к чему не приведет.

— А вас пытались уже шантажировать?

— Не знаю, — задумчиво произнес Джетсон Блэр. — Мне кто-то звонил и спросил, что я скажу, если мой брат вдруг окажется жив. Звонок был каким-то загадочным. Я дал уклончивый ответ.

— Назначались ли какие-нибудь суммы? Угрожали вам опубликовать эту информацию?

— Нет. Ничего подобного. Это был какой-то странный телефонный разговор, который закончился так же неожиданно, как и начался.

— Но это навело вас на размышления?

— Да.

— Вы говорили об этом с Розеной?

— Нет. Сперва мне хотелось поговорить с вами. Каково бы ни было положение, я не струшу.

— Почему вы пришли именно ко мне?

— Потому что из разговора с Розеной понял, что вы защищаете интересы их семьи.

— Почему вы все не рассказали Розене?

— Я хотел это сделать вчера вечером, но не смог с нею встретиться.

— Не смогли? Почему? Где вы ее искали?

— В их городской квартире и на озере.

— И ее там не было?

— Нет.

— Она не говорила вам, что собирается куда-нибудь пойти?

— Нет. Я звонил ей сегодня днем, мистер Мейсон, и она сказала, что произошло нечто ужасное.

— Кстати, — заметил адвокат, — где вы были вчера вечером?

— Я позвонил ей по телефону, затем поехал к ним на дачу, а потом — на городскую квартиру.

— Вы были в яхт-клубе?

После некоторого замешательства Блэр посмотрел Мейсону прямо в глаза.

— Да, — еле слышно произнес он.

— И что же вы увидели?

— На стоянке у яхт-клуба я увидел машину миссис Бэнкрофт,

но безуспешно пытался разыскать ее или яхту. Я пришел к выводу, что она совершает прогулку по заливу, а Розена, видимо, с матерью. Вскоре путем расспросов я узнал, что миссис Бэнкрофт была в яхт-клубе с молодым человеком. Я проехал по берегу залива. Когда вернулся, машины Бэнкрофтов уже не было.

— Когда вы вернулись домой?

— Довольно поздно.

— И все время пытались разыскать Розену Эндрюс?

— Да. — Блэр тяжело вздохнул.

— Хорошо, — произнес Мейсон утомленным голосом. — Вас, возможно, будут допрашивать в полиции. Не пытайтесь ничего скрывать из того, что вам известно, только ничего не говорите им о своих предположениях. Просто изложите факты.

— В полиции? А какое это имеет к ним отношение? Они будут допрашивать меня в связи с шантажом?

— Они будут выяснять, что вы делали вчера вечером, что вам известно и куда вы ездили. Они будут интересоваться всем, что говорили вам члены семьи Бэнкрофтов.

— И что я должен им сказать? — спросил Джетсон Блэр.

— Правду, только молчите о своих выводах. Изложите им голые факты, а заключения пускай они делают сами.

— Полиция занимается этим делом о вымогательстве? — спросил Блэр.

— Нет. Она расследует другое преступление.

— Другое?! Что вы хотите этим сказать? Произошло еще что-нибудь?

— Да. Убийство.

Какое-то мгновение Блэр был в оцепенении. Затем лицо его побледнело.

— Убийство? Но кто?.. Что?..

— Кто-то вчера вечером на яхте Бэнкрофтов вышел в залив. Яхта какое-то время дрейфовала, а затем бросила якорь у песчаного берега залива. Когда сегодня днем помощник шерифа поднялся на ее палубу, он обнаружил там труп.

— Труп! — воскликнул Блэр. — О Боже! Неужели кто-нибудь из Бэнкрофтов! Не...

— Нет, — прервал его Мейсон. — Тело молодого человека с преступным прошлым.

— Вы хотите сказать — Карлетон?

— Нет. Кто-то другой.

— Но как его тело оказалось на борту яхты?

— Вот здесь-то и вся загвоздка. Вы сообщили мне информацию, которую считали нужным сообщить, то же сделал и я. — Перри Мейсон поднялся. — До свидания. Рад, что вы пришли ко мне.

После долгого колебания молодой человек подал свою руку адвокату. Она была влажной и холодной.

— Всего хорошего, мистер Мейсон, — произнес Блэр и пошел к выходу. Делла Стрит открыла ему дверь, и он вышел с видом человека, делающего первый шаг в камеру смертников.

Утренние газеты пестрели заголовками: «На яхте миллионера обнаружен труп. Предполагают связь убийства с шантажом».

Вся эта история драматическим образом отразилась на семье Бэнкрофтов. Их молчание рассматривалось как желание скрыть причины вымогательства.

Когда Перри Мейсон пришел в контору, Делла Стрит положила ему на стол газеты.

— А пресса неплохо действует, — заметила она. — В полиции пока никого из Бэнкрофтов не подозревают впрямую в убийстве, но их молчание связывают с делом о шантаже.

— Так, — произнес адвокат.

— Да, вас в приемной уже пятнадцать минут ожидает мистер Бэнкрофт.

— Пусть войдет. Посмотрим, что скажет нового.

По лицу миллионера было видно, что он провел бессонную ночь. Серое от усталости лицо, под глазами — мешки.

— Тяжело? — спросил Мейсон.

— Да, — ответил Бэнкрофт. — К счастью, жена оказалась настоящей артисткой. Она заявила, что будет отвечать на вопросы только в присутствии мужа и его адвоката.

— А вы?

— Я заявил то же самое.

— Как вы объяснили причину вашего молчания?

— Я просто сказал, что есть вещи, которые мы не собираемся обсуждать в настоящее время, но в нужное время и в нужном месте мы это сделаем.

— Хорошо. Теперь надо браться за дело. Ваша жена узнала место, где яхта наскочила на мель? — спросил Мейсон.

— Да. Это рядом с причалом, где мы зачастую заправляемся топливом. Ночью там никого не было, и Джилли, видимо, собирался поставить яхту там.

— Какова была глубина воды в том месте, где ваша жена прыгнула за борт?

— Выше головы. По крайней мере так ей сперва показалось. Но, проплыв немного, она смогла встать на ноги и пошла к берегу.

— На яхте не нашли пистолета, — заметил Мейсон. — Не нашли там и сумочки вашей жены.

— Она уверена, что пистолет упал, так как слышала всплеск воды.

— Мы должны найти пистолет.

— Вы что, с ума сошли! — воскликнул Бэнкрофт. — Это вещественное доказательство, которое ни в коем случае не должно попасть в руки полиции! Пистолет зарегистрирован на мое имя, и если баллистическая экспертиза покажет, что из него совершен выстрел...

— Успокойтесь. Я же не сказал, что мы должны достать пистолет, а только найти его.

— Вы хотите сказать, разыскать и...

— Да, и оставить на месте.

— Как вы собираетесь это сделать?

— Надо взять морскую карту, — пояснил Мейсон, — и устано-

вить точное местонахождение яхты в ту злополучную ночь. Пол Дрейк выедет на место с водолазом, который исследует дно.

— И если он найдет пистолет и сумочку...

— То не произнесет ни слова. По крайней мере до тех пор, пока я ему не разрешу.

— Разве он не должен поставить в известность полицию?

— Он не будет знать, для чего это делается. Просто исследует дно залива.

— Но нам-то известно, что вещественные доказательства там, — заметил Бэнкрофт. — Поэтому и нечего подтверждать.

Мейсон спокойно взглянул на него.

— Вам сказала ваша жена, а мне нужно быть в этом уверенным.

— Вы сомневаетесь в ее словах?

— Когда я занимаюсь делом об убийстве, я сомневаюсь во всем и во всех — даже в вас.

— Но, — запротестовал миллионер, — почему вам необходимо знать, что пистолет и сумочка именно в том месте?

— Потому, — пояснил адвокат, — что, если вашей жене придется давать показания в суде, мы потребуем от шерифа послать на указанное место водолаза и найти предметы, подтверждающие ее слова.

— Мы так и сделаем.

— Нет. Если я выдвину подобное требование, а водолаз ничего не обнаружит, считайте, что вашу жену уже приговорили к смерти.

— Уверяю вас, что они там. Филлис прыгнула в воду, сумочка соскользнула с ее руки. Она хорошо помнит место, где прыгнула, и...

— Если ее вынудят давать показания, я должен быть уверен, что смогу подтвердить их фактами.

— Но, когда они найдут пистолет... Разве вы не понимаете, Мейсон, что он зарегистрирован на мое имя, и экспертиза докажет, что фатальный выстрел был произведен из него. Это прямо указывает на Филлис.

— Или на вас, — добавил Мейсон.

Бэнкрофт задумался, а затем произнес:

— Сколько времени понадобится Дрейку для поисков?

— Это будет сделано сегодня вечером, под прикрытием темноты, но мне нужна карта с указанием точного расположения яхты в тот момент, когда ваша жена прыгнула за борт.

Бэнкрофт вздохнул свободнее.

— Вам она понадобится вечером?

— Нет, значительно раньше. Дрейк не может вести розыск ночью.

— Хорошо, — сказал Бэнкрофт. — Она у вас будет.

Примерно около полудня в контору адвоката Мейсона заявился Пол Дрейк.

— Полиция закопалась по уши, — произнес он. — Там даже не знают, с чего начать.

— А что им удалось узнать? — спросил Мейсон.

— Во-первых, отпечатки пальцев Уилмера Джилли им, безусловно, кое-что дали. Выяснилось, что это мелкий мошенник и вор. Он никогда не привлекался за вымогательство, но мог легко заняться и им.

Затем они обыскали комнату Джилли. В ней почти ничего не было — только небольшая электроплита, раковина, шкаф и несколько тарелок. Как ты думаешь, что еще там нашли?

— Портативную печатную машинку марки «Монарх», — усмехнулся Мейсон.

— Да, и экспертиза показала, что письмо пантажистов было отпечатано на ней. Так что сейчас они связывают письмо с Бэнкрофтами, а их — с Джилли. Еще полиции удалось выяснить, что в тот день миссис Бэнкрофт была в яхт-клубе вместе с Джилли.

— Стоп! — воскликнул Мейсон. — Не с Джилли, а с другим человеком!

— Сторож клуба опознал фотографию Джилли. Его собираются отвезти в морг для опознания трупа.

Мейсон нахмурился.

— Это разрушает твои планы? — спросил Дрейк.

— Да. Миссис Бэнкрофт, возможно, и была на пристани с молодым человеком, но не с Джилли.. Надо сделать следующее, Пол. Некий Ирвин Фордайс отбыл срок в тюрьме «Сан-Квентин». Раздобудь его фотографии, покажи их сторожу яхт-клуба и спроси его, не был ли случайно этот человек с миссис Бэнкрофт.

— Но сторож уже дал конкретные показания, — заметил Дрейк.

— Что говорят о времени смерти? — хмуро произнес адвокат.

— Она наступила в девять часов вечера.

— Вот как? Они не могут точно установить час, поскольку тело было обнаружено только восемнадцать часов спустя.

— Они произвели исследование желудка Джилли. Вечером, в день убийства, он ел бобы, которые разогрел дома на плите. Он, видимо, сильно торопился, поэтому и не убрал после себя. Часть бобов осталась в консервной банке, часть — на сковородке, которую он не вымыл. По степени переваренности пищи в желудке удалось установить время смерти. При этом также учитывались температура тела, степень трупного окоченения и прочие помертвые изменения.

— Нашли орудие убийства?

— Нет, но они уверены, что это дело рук кого-нибудь из Бэнкрофтов. Харлоу Бэнкрофту было выдано разрешение на револьвер 38-го калибра, который, похоже, исчез.

— Пока они не найдут пистолета и не докажут, что выстрел произведен из него, они не смогут обвинить Бэнкрофтов в убийстве, — заметил Мейсон, — и доказать их связь с Джилли. Человек из яхт-клуба ошибается. Принимайся за дело немедленно, Пол. Достань фотографии Ирвина Фордайса и займись сторожем. Нужно опровергнуть его показания, иначе нам придется плохо.

— Боюсь, не удастся это сделать.

— Посмотрим. Мне также нужен аквалангист-любитель, человек, на которого можно положиться. Я хочу, чтобы он проделал кое-какую работу.

— Когда?

— Сегодня вечером, как только стемнеет.

— У меня есть такой человек,— задумчиво произнес Дрейк.— Он с женой по воскресеньям...

— Задействуй их,— прервал его Мейсон.

— Когда?

— Немедленно.

Дрейк тревожно взглянул на адвоката.

— Ты хочешь, чтобы они нашли какие-то вещественные доказательства?

— Им не придется делать ничего противозаконного, так что пусть это тебя не беспокоит.

— Хорошо. Я привезу их. Когда?

— В течение часа, если возможно.

— Хорошо. Мы сделаем все, что в наших силах.

Как только Дрейк покинул контору, адвокат повернулся к секретарше.

— Поезжайте в банк, Делла, и снимите с моего счета еще три тысячи долларов в пятидесяти- и стадолларовых банкнотах. Пусть банкир запишет их номера.

— Прямо сейчас?

— Да.

— Тогда я поехала.

Через тридцать минут она возвратилась с деньгами, а через час сообщила:

— В конторе мистер и миссис Чемберс — аквалангисты, работающие у Пола.

— Пусть войдут,— сказал Мейсон.

В кабинет вошла молодая чета.

— Добрый день, мистер Мейсон,— произнес молодой человек.— Я Данстон Чемберс, а это Лорен, моя жена. Насколько мне известно, вы хотите, чтоб мы кое-что сделали.

Адвокат окинул их взглядом. Молодые люди прямо-таки излучали здоровье и энергию.

— Похоже, ваше увлечение идет вам на пользу,— заметил Мейсон.

Они усмехнулись.

— Конечно.

— Мне необходимо провести кое-какие подводные работы, но так, чтобы это осталось между нами.

— Когда?

— Как можно быстрее.

— Где?

— В заливе.

— Насколько я знаю, там произошло убийство.

— Вы совершенно правы.

— Поиски имеют какое-нибудь отношение к нему?

— Имеют.

— А нас это не затронет?

- Нет.
- Хорошо, тогда мы готовы,— ответил Чемберс.
- Нам нужно только переодеться,— заметила его жена.— Это нельзя сделать в открытой лодке.
- Вы ныряете по воскресеньям?
- Да.
- Как же вы переодеваетесь?
- У нашего друга есть шхуна и...
- Он одолжит ее?
- Конечно... Я уверен.
- Если вы воспользуетесь его шхуной, сможете ли провести свою работу так, чтобы никто не знал об этом?
- Знать, конечно, будут, но не будут знать, что мы ищем. А если над водой будет туман, как сейчас, вообще никто ничего не узнает.
- Хорошо. Поторопитесь. Постарайтесь ничего не забыть. Где ваше снаряжение?
- В багажнике машины.
- А машина?
- Внизу.
- Ну что ж,— приветливо улыбнулся Мейсон,— следует поторопиться, пока над заливом туман.

17

- Почти ничего не видно, мистер Мейсон,— заметил Чемберс, стоявший за штурвалом небольшой шхуны.
- Тем лучше,— произнес адвокат.
- Где остановиться?
- У топливного причала. Пока я буду ставить шхуну, вы прыгнете за борт. Нужно тщательно исследовать дно. Начнете в 50 футах от него, а затем будете медленно двигаться к берегу. Если найдете что-нибудь интересное, поднимайтесь вверх и сообщите мне. Только ничего не трогайте.
- Хорошо,— сказал Чемберс.— Если возьмете управление шхуной на себя, я спущусь вниз, и мы с Лорен переоденемся. Мейсон встал за руль, а Чемберс нырнул в кабину. Адвокат без труда подвел шхуну к причалу.
- Вам нужен бензин? — спросил служащий причала.
- Да, и, кроме того, я хочу здесь остановиться ненадолго. Я вам заплачу за бензин и еще двадцать долларов сверху, если вы оставите шланг в баке, как будто мы продолжаем заправляться.
- А зачем?
- Мне нужно кое-что выяснить, но так, чтобы никто ничего не знал.
- Хорошо. Не думаю, что в таком тумане к причалу подойдут заправляться другие лодки.
- Прекрасно. Только помните, никому ни слова.
- Молчу,— усмехнулся служащий причала.
- Вскоре на палубе появились Данстон и Лорен Чемберсы. За

спиной у них были акваланги. Они надели маски и прыгнули в воду.

Десять минут спустя показался Данстон. Он поднялся на шхуну и снял маску.

- Там, на дне, дамская сумочка.
- Что-нибудь еще? — спросил адвокат.
- Это единственное, что мы нашли.
- Вы открывали сумочку?
- Нет, побоялись, что из нее что-нибудь выпадет.
- Принесите сумочку сюда. Пусть ваша жена остается в воде.

Я хочу посмотреть на содержимое сумочки и положить ее обратно на место.

Чемберс после некоторого колебания произнес:

- Хорошо. Приказ есть приказ.

Он вновь прыгнул в воду и вскоре вернулся с сумочкой.

- Что ж, посмотрим. — Мейсон открыл сумочку.
- О боже, сколько денег! — воскликнул Чемберс.
- Да, — подтвердил адвокат. — А это что? Так, водительские права. Это...

Мейсон быстро отстранил рукой аквалангиста.

— Не обижайтесь, — сказал он, — но вам следует видеть только то, что я вам покажу. А теперь смотрите внимательно: я вынимаю эти деньги и вместо них кладу другие банкноты.

Адвокат вынул из кармана пачку пятидесяти- и столлларовых банкнот, положил их в сумочку и закрыл ее.

— Теперь, — сказал он, обращаясь к аквалангисту, — положите сумочку на место и посмотрите, нет ли поблизости еще чего-нибудь. Какое дно в этом месте? Глина или песок?

- В основном песок.

— Хорошо. Когда тщательно все обследуете, поднимайтесь наверх.

- А сумочку оставить там?

- Да.

- Со всеми деньгами?

— Да. Только не забудьте выжать из нее весь воздух, чтобы сумку не унесло течением.

— Сумочка достаточно тяжелая. В ней губная помада, ключи, пудреница, возможно, еще что-нибудь, так что она не уплывет.

- Прекрасно.

- А затем что делать?

— Когда вы исследуете все дно и увидите, что там ничего интересного нет, поднимайтесь наверх.

Пятнадцать минут спустя Чемберсы вернулись на шхуну.

- Все в порядке? — спросил Мейсон.

- Да.

- Больше ничего интересного?

- Ничего.

- Прекрасно. Спускайтесь вниз и переодевайтесь.

Мейсон пошел на пристань, вручил служащему деньги за бензин, добавил к ним еще двадцать долларов.

- Огромное спасибо. Вы помните мою просьбу?

- Можете быть спокойны, — ответил служащий. — Я могу

молчать на шестнадцати языках, за исключением скандинавских.

— Вам какое-то время придется это делать только по-английски,— произнес с усмешкой адвокат.

18

В четыре тридцать Бэнкрофт вновь был в конторе Мейсона.
— Вот,— сказал он,— карта, на которой показано точное расположение яхты в момент, когда моя жена прыгнула за борт. Здесь — причал. А здесь — топливный причал. Примерно в 30—40 футах от него якорь за что-то зацепился. Лодку немного толкнуло в сторону, а затем она поплыла. Был прилив. Именно в этот момент Филлис прыгнула в воду...

— В какую сторону? — спросил Мейсон.

— В сторону причала.

— Хорошо. Теперь запомните следующее: она не должна отвечать ни на какие вопросы, за нее будет говорить ее адвокат.

— Но, как пишут газеты, это худший способ получить поддержку общества,— заметил Бэнкрофт.— Это наводит на мысль, что она виновна.

— Знаю. Журналистам платят за то, что они пишут и публикуют. Им нужна сенсация. Ради этого они используют любые аргументы.

— Но они логичны, Мейсон.

— Безусловно. Нельзя спорить с логикой.

— Тогда непонятно, почему сейчас она должна молчать?

— Потому что,— подчеркнул адвокат,— в противном случае ей придется столкнуться с очень неприятной комбинацией фактов. Не забывайте, что сторож яхт-клуба собирается давать показания, согласно которым ваша жена вечером в день убийства приехала на пристань с Уилмером Джилли и поднялась с ним на борт яхты!

— Что?! — воскликнул Бэнкрофт.— Это же был Ирвин Фордайс!

— А где он сейчас?

— Не знаю, и никто не знает.

— Вот именно. А сторож уже опознал Джилли и...

— Он не мог этого сделать,— прервал адвоката Бэнкрофт.— Кого вы имеете в виду? Этого близорукого... как его... Дрю Кёрби?

— Я не знаю его имени. Он сторож яхт-клуба.

— Тогда это Дрю. Старая... Но это непостижимо!

— Может быть, но он дал такие показания. Так что теперь вам с женой придется делать то, что я скажу. Ваша жена должна молчать, пока я не разрешу говорить. Возможно, это произойдет при очень драматических обстоятельствах. Затем мы потребуем послать на место происшествия водолазов и найти там сумочку и пистолет.

— Вы думаете... А если течение отнесло их в сторону?

— Течение небольшое, ветра нет и...

— Вы делаете сложный ход.

— Играть нужно в наших интересах и только в наших,—
мрачно согласился Мейсон.

— Хорошо, Мейсон. Полностью полагаюсь на ваш опыт. Больше ничего сделать не могу...

Судья Коул С. Хобарт призвал зал к порядку.

— Слушается дело Филлис Бэнкрофт,— объявил он.— Обвинение представляют Робли Хастинг, прокурор округа, и Тёрнер Гарфилд, его заместитель, защиту — мистер Перри Мейсон.

— Господа, вы готовы к предварительному слушанию дела?

— Обвинение готово,— произнес Хастинг.

— Защита готова,— сказал Мейсон.

— Прекрасно, тогда начнем. Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот судебный процесс привлек огромное внимание общественности, поэтому попрошу тишины в зале и никаких нарушений.

Предварительное слушание дела вел Тёрнер Гарфилд. Он вызвал в качестве свидетеля топографа, который представил суду карту штата, аэрофотографии залива и яхт-клуба и карту автомобильных дорог, показывающую расстояние между различными пунктами.

— Ведите допрос,— обратился Гарфилд к Мейсону.

— Здесь представлены самые разнообразные карты,— обратился Мейсон к топографу,— но не все. Одной из них нет.

— Какой именно?

— Геодезической карты береговой линии залива.

— Я не думал, что она может понадобиться, так как разнообразные карты, представленные здесь, и так точны, а аэрофото- снимки дают представление о береговой линии и границах порта. На той же карте есть различные цифры, показывающие глубину залива. Я подумал, что это может только помешать.

— Почему?

— Потому что цифры не имеют никакого отношения к делу.

— Геодезическая карта при вас?

— Нет.

— Тогда я предъявляю вам подобную карту,— сказал адвокат.— Скажите, она вам знакома?

— Конечно.

— Это официальная карта, изданная правительством?

— Да.

— Скажите, она используется в навигации?

— Используется.

— Я хочу, чтобы эта карта была приложена к делу как вещественное доказательство защиты номер один,— заявил Мейсон.

— Возражений нет,— произнес Тёрнер Гарфилд,— так как защита имеет право воспользоваться любой статистической информацией.

Следующим в качестве свидетеля был вызван шериф округа Лос-Анджелес.

— Шериф, — обратился к нему Гарфилд, — предъявляю вам фотографию — одно из вещественных доказательств обвинения. На ней тело человека, обнаруженного на яхте «Жинеса». Она вам знакома?

— Да.

— Вы видели человека, изображенного на ней?

— Несколько раз.

— Живым или мертвым?

— И живым, и мертвым.

— Где вы видели его мертвым?

— Я ездил в морг на опознание.

— Предпринимались ли вами какие-нибудь другие попытки установить личность покойного?

— Да.

— Каким образом?

— По отпечаткам пальцев.

— И вы можете сказать, кто изображен на фотографии?

— Да.

— Кто это?

— Уилмер Джилли.

— Задавайте вопросы, — сказал Гарфилд адвокату Мейсону.

— Как вы устанавливаете личность по отпечаткам пальцев? — спросил Мейсон шерифа.

— На основе архивных дел ФБР.

— Следовательно, Джилли был на учете в полиции?

— Протестую против подобного ведения допроса, — вмешался Робли Хастингс, прокурор округа.

— Протест обвинения отклоняется, — заявил судья Хобарт. — Суд правомочен допрашивать свидетеля по всем вопросам, имеющим отношение к отпечаткам пальцев, — как они добыты и какие связаны с ними события. Суд дает защите самые большие возможности для ведения допроса. Отвечайте на вопрос, шериф.

— Это был человек с преступным прошлым.

— Был ли он осужден?

— Да.

— За что?

— За кражу автомобиля и подлог.

— А по другим делам он не привлекался?

— Я вновь протестую!.. — воскликнул прокурор округа.

— Протест отклоняется, — отрезал судья Хобарт. — Шериф признал, что видел покойного при его жизни несколько раз. Суд, безусловно, имеет право допрашивать его по всем вопросам, имеющим к этому отношению.

— Но тогда, — настаивал Хастингс, — свидетеля можно обвинить в том, что он имел связь с преступником, которого не арестовал и не обвинил в преступлении, а затем либо отпустил, либо прекратил расследование.

— Суду необходимо восстановить весь ход событий, но поскольку ответ и так ясен, я принимаю протест обвинения, — промолвил судья Хобарт.

— Что бы не было неясностей, — заявил Мейсон, — поставлю

вопрос следующим образом: шериф, при жизни покойного вы встречались с ним, когда он находился под арестом?

— Да.

— И навещали его как официальный представитель?

— Да.

— Вы когда-нибудь подвергали его аресту?

— Только один раз.

— В чем он тогда обвинялся?

— Протестую против неправильного ведения допроса, — вновь вмешался Хастингс.

— Протест обвинения принимается, — объявил судья Хобарт.

— Других вопросов нет, — сказал Мейсон.

Робби Хастингс, сделав несколько драматический жест рукой, объявил:

— Для дачи свидетельских показаний вызывается Дрю Керби.

Керби оказался медлительным, седеющим человеком примерно пятидесяти лет, с водянистыми голубыми глазами и с очень смуглым цветом лица — результатом постоянного загара.

— Где вы работаете? — спросил его Хастингс.

— В яхт-клубе «Блю Скай».

— Где он находится?

— На южном берегу залива.

— Какой залив вы имеете в виду?

— Конечно, залив Ньюпорт-Балбоа.

— Сколько лет вы там работаете?

— Четыре года.

— Постоянно?

— Да.

— В чем заключаются ваши обязанности?

— Я и подсобный рабочий, и сторож, отвечаю за сохранность оборудования и личных вещей членов клуба.

— Вы работали десятого числа сего месяца?

— Да, сэр.

— А вечером, в тот день?

— Да.

— Я предъявляю вам фотографию Уилмера Джилли. Вы когда-нибудь его видели?

— Да, сэр.

— Живым или мертвым?

— И живым, и мертвым.

— Чтобы вам было легче вспомнить, скажите, когда вы его видели в первый раз?

— Десятого, примерно часов в семь вечера.

— Где?

— В яхт-клубе.

— С кем он был?

— С миссис Бэнкрофт.

— Вы имеете в виду обвиняемую, Филлис Бэнкрофт, сидящую слева от Перри Мейсона?

— Да, сэр.

— А где была она?

- На причале.
- Что она делала?
- Она садилась в шлюпку, которая всегда привязана к «Жинесе», яхте Бэнкрофтов.
- Вы видели, как она разговаривала с Джилли?
- Да.
- Что затем произошло?
- Она отвезла его на яхту.
- Кто был за веслами: он или она?
- Она.
- А потом?
- Минут десять они пробыли на яхте, я точно не знаю, так как не видел их после того, как они поднялись на «Жинесу». Затем миссис Бэнкрофт вернулась в шлюпке обратно.
- Одна?
- Да, сэр. Она привязала шлюпку к причалу и куда-то поехала, а примерно через час вернулась назад.
- Что она сделала?
- Села в шлюпку и поплыла к яхте.
- А затем что произошло?
- Не знаю, сэр. Я был какое-то время занят. Опустился очень густой туман. Ничего не было видно. Я хочу сказать, что мне было совершенно не видно, что происходило на воде.
- Но вы видели яхту «Жинеса»?
- Нет, сэр.
- Что вы делали?
- Был занят делами по службе.
- Когда развеялся туман?
- В тот день этого не произошло. Он установился надолго и развеялся только на следующий день.
- Когда вы вновь увидели яхту Бэнкрофтов?
- Я ее больше не видел. Она исчезла.
- Вы ее больше не видели?
- Нет, почему, но... Это произошло на следующий день в четыре тридцать дня, когда они привезли ее обратно.
- Кого вы имеете в виду?
- Шерифа с помощниками.
- Как ее привезли?
- Она была привязана к другой лодке.
- Какой?
- К катеру береговой охраны.
- Что они сделали с яхтой?
- Они пришвартовали ее к пристани, а затем на ней появилось множество фотографов и полицейских.
- Вы видели Уилмера Джилли после его смерти?
- Да, сэр.
- Где?
- В морге округа.
- Вас отвозили туда на опознание?
- Да, сэр.
- Это было тело того же человека, которого вы видели вечером с миссис Бэнкрофт?

- Да, сэр.
- Вы в этом уверены?
- Да, сэр.
- Есть ли у вас хоть малейшие сомнения?
- Нет, сэр.
- Можете вести допрос, — сказал Хастингс Перри Мейсону. Мейсон подошел к свидетелю, окинул его доброжелательным взглядом и спросил:
- На фотографии вы узнали Уилмера Джилли?
- Да.
- Когда вы видели его фотографию в первый раз?
- Я видел его самого.
- Знаю. Меня интересует, когда в первый раз видели фотографию Джилли?
- Ну, когда они появились... Кажется, это было... Да, это было одиннадцатого в девять часов вечера.
- Кто показал вам фотографию?
- Шериф.
- Он спрашивал вас, видели ли вы этого человека прежде?
- Да, сэр.
- Шериф случайно не интересовался, был ли этот человек с миссис Бэнкрофт вечером в день убийства, и не видели ли вы, как он отвозил ее к яхте?
- Да, по-моему, что-то в этом роде.
- Вы помните точные слова шерифа?
- Нет. Он показал мне фотографию и сказал, что, возможно, я видел этого человека.
- И вы согласились с ним?
- Да, сэр.
- Он просил вас тщательно изучить фотографию?
- Да.
- И вы это сделали?
- Конечно.
- Это было до вашей поездки в морг?
- Да.
- Когда вы туда ездили?
- Вечером двенадцатого.
- Сколько раз вы видели фотографию Джилли?
- Несколько раз.
- А точнее?
- Не знаю, несколько раз.
- У вас был дубликат фотографии?
- Да.
- Кто вам дал ее?
- Шериф.
- И просил вас опознать изображенного на ней человека?
- Не совсем так. Он просто спросил меня, не этот ли человек был на пристани с миссис Бэнкрофт вечером в день убийства, и я ответил, что, возможно, это был именно он.
- Шериф оставил вам фотографию и просил тщательно ее изучить?
- Да, но сделал он это утром следующего дня.

— Утром двенадцатого?

— Да, сэр.

— И фотография была у вас весь день?

— Да.

— А затем вас отвезли в морг?

— Да.

Мейсон в задумчивости посмотрел на Керби.

— Вы были в очках, когда смотрели фотографию?

— Конечно.

— А где сейчас ваши очки?

Свидетель машинально сунул руку в карман и произнес:

— Я оставил их в своей комнате.

— Но, когда одиннадцатого и двенадцатого вы рассматривали фотографию, вы были в них?

— Да, сэр.

— Вы лучше видите в очках?

— Естественно.

— Могли бы вы опознать человека на фотографии без очков?

— Не знаю. Вряд ли.

— Как же в суде вы делали опознание без очков?

— Я знал, кто на фотографии.

— Откуда?

— Это должна была быть фотография убитого.

— Почему «должна была быть»?

— А разве это не она?

— Я спрашиваю вас, — сказал Мейсон. — Вам известен человек, изображенный на фотографии?

— Да. Я же произнес клятву!

— И вы видите без очков?

— Вижу.

Мейсон подошел к столу судьи, взял фотографию, вынул из кармана другую фотографию, сравнил их, а затем, повернувшись к свидетелю, произнес:

— Посмотрите внимательно на эту фотографию. Вы абсолютно уверены, что с обвиняемой вечером десятого был именно этот человек?

— Да, сэр.

— Никаких сомнений?

— Нет.

— Пойдите, — вмешался Хастингс. — У адвоката — две фотографии, одну из них он незаметно вынул из кармана.

— Хорошо, — сказал Мейсон. — Я покажу свидетелю обе фотографии. Свидетель, скажите, пожалуйста, на них изображен один и тот же человек?

— Да.

— Разрешите мне взглянуть на другую фотографию, — потребовал Хастингс.

— Пожалуйста, — произнес адвокат Мейсон и протянул прокурору округа обе фотографии.

— Но, — заявил тот, — ведь это различные фотографии.

— Керби только что признал, что на них изображен один и тот же человек, — заметил Мейсон.

- Я думаю, свидетелю следует посоветовать...
 - Посоветовать? Что? — спросил Мейсон.
 - Что вторая из них не фотография Уилмера Джилли.
- Мейсон вновь обратился к свидетелю.
- Вы видите какую-нибудь разницу в этих фотографиях, мистер Керби?

Свидетель прищурился, вновь взглянул на фотографии и произнес:

- Для меня они одинаковы. Я плохо вижу без очков.
- Вы все время их носите?
- Конечно.
- Почему же у вас их нет сегодня?
- Ну...
- Почему? — настаивал Мейсон.
- Я оставил их в клубе, в своей комнате.
- Кто-нибудь посоветовал вам сделать это?
- Ну... Мне сказали, что, если я приду сюда в очках и буду делать опознание в них, мне придется нелегко.
- Почему?
- Просто сказали, что будет нелегко.
- Кто сказал?
- Прокурор округа.
- И он вам посоветовал оставить очки в яхт-клубе?
- Он заявил, что это неплохая мысль.
- Видимо, потому, — заметил Мейсон, — что вечером десятого вы были без них, не так ли?

252

— Нельзя же все время быть в очках, тем более что садился туман. Лучше их совсем снять. Так и лучше видно, и не нужно постоянно их протирать.

- Итак, вечером десятого вы их не надевали?
- Я же сказал, был туман.
- Вы были без очков, когда увидели Джилли в первый раз?
- Да, сэр.
- И вообще ходили без них?
- Да.
- Даже когда увидели обвиняемую?
- Но я ее сразу узнал.

— Не сомневаюсь, ведь вы ее знали много лет. Но вы рассматривали эти фотографии тоже без очков и уверенно заявили, что на них изображен один и тот же человек.

А сейчас, если суд позволит, я хотел бы предъявить вторую фотографию для опознания, а затем приобщить ее к вещественным доказательствам защиты под номером два.

- Принимается, — объявил судья Хобарт.
- Протестую против такого ведения допроса, — заявил Хастингс. — Обращаю внимание суда на то, что это старые трюки адвоката.

Адвокат Мейсон с улыбкой взглянул на судью Хобарта.

— Ваша честь, не я советовал свидетелю оставить очки в яхт-клубе. Он опознал на фотографии, представленной обвинением, Уилмера Джилли как человека, бывшего с обвиняемой в яхт-клубе вечером десятого. Я показал ему две различные фотогра-

фии и спросил, не изображен ли на них один и тот же человек. Он признал это.

— Протокол говорит сам за себя, — объявил судья Хобарт. — Вторая фотография может быть приобщена к делу как вещественное доказательство защиты номер два.

— Я прекрасно вижу без очков, — возразил Керби. — Я не ношу их постоянно, особенно по вечерам, когда работаю на берегу.

— Понимаю, — сказал Мейсон. — Когда стекла запотевают, это довольно неприятно.

— Конечно.

— И поскольку вечером десятого был туман, вы были без них?

— Сперва тумана не было. Шел дождь, и было довольно влажно. А когда опустился туман, какая разница: есть очки или нет. Все равно ничего не видно.

— Благодарю вас, — сказал Мейсон. — У защиты больше нет вопросов к свидетелю.

— Вызывается следующий свидетель, — объявил судья Хобарт.

— Вызывается мистер Джуит, шериф округа Оранж, — объявил Хастингс.

Шериф Джуит сказал, что от своего помощника получил сообщение о том, что в южной части залива на мель наскочила яхта и что на ней обнаружено тело убитого человека. Он прибыл на место происшествия в четыре часа дня, осмотрел яхту и тело, с помощью катера береговой охраны яхту пришвартовали у пристани яхт-клуба «Блю Скай», где ее и осмотрели, сделали фотографии Уилмера Джилли, лежавшего лицом вниз с пулевым отверстием в груди, а затем тело перевезли в морг округа, где произвели его вскрытие и извлекли пулю, которую отправили на экспертизу. Данная пуля предъявлена суду.

— Вы опознали тело? — спросил Хастингс.

— Да, сэр. Это был Уилмер Джилли.

— Вы узнали, где жил умерший?

— Да, сэр.

— Где?

— В «Аджакс-Делси». Это меблированные комнаты. В каждой из них есть кухонные принадлежности.

— Вы осмотрели комнату покойного?

— Конечно.

— И что нашли?

— Железную кровать с тонким грубым матрацем, четыремя армейскими одеялами и двумя подушками, три стула, туалетный столик, раковину, небольшое зеркало, несколько тарелок и электрическую плиту.

— Одеяла были на кровати?

— Да.

— На подушке была наволочка?

— Нет. На нее было брошено влажное махровое полотенце.

— В комнате был платяной шкаф?

— Нет, сэр. В нише комнаты была приделана небольшая труба, на которой висело с полдюжины вешалок. На них ничего

не было, кроме нескольких веревок, двух халатов и спортивного костюма.

— Что-нибудь еще?

— Да, сэр. В корзине мы обнаружили костюм для подводного плавания с аквалангом. По надписям на баллонах удалось узнать, что их взяли напрокат на целую неделю.

— Что еще вы нашли?

— Шаткий стол, на котором были бутылка соуса, тарелка с бобами, нож, вилка и кофейная чашка. В небольшом холодильнике мы обнаружили полбутылки молока, банку свинины с бобами, небольшую банку овощного соуса, полпачки сахарного песка, два стакана, две кофейные чашки с блюдечками, четыре тарелки, две оловянные тарелки для пирожных, глиняный кувшин с отбитой ручкой.

В ящике стола было по три ножа, вилки и ложки, а также алюминиевая сковородка, на которой явно подогревали бобы. Хотя она была пуста, на ней все-таки остались следы бобов. На столе лежала буханка хлеба.

— Вы обнаружили еще что-нибудь?

— Нет. Мы также сделали несколько снимков комнаты.

— Они делались под вашим наблюдением?

— Да, сэр.

— Мы просим приобщить их к делу и дать им соответствующий номер, — заявил Хастингс.

— Возражений нет, — произнес Мейсон.

— Тогда, — сказал прокурор округа, — обратимся к так называемой «роковой» пуле, представленной суду. Какого она калибра, мистер Джуит?

— Тридцать восьмого.

— По следам, оставленным ею, можете ли вы сказать, из какого оружия был произведен выстрел?

— Из револьвера системы «Смит и Вессон».

— Шериф, вы спрашивали обвиняемую, известен ли ей револьвер этой марки?

— Да.

— И каков был ее ответ?

— Она заявила, что в нужное время и в нужном месте все расскажет, а пока не получит соответствующих указаний, не произнесет ни слова.

— Вы спрашивали о пистолете ее мужа, Харлоу Бэнкрофта?

— Да, сэр.

— И что он сказал?

— Он ответил то же самое.

— Вы проверяли в отделе регистрации огнестрельного оружия, есть ли у него пистолет?

— Проверяли.

— И каков результат?

— Пятнадцатого июня прошлого года Харлоу Бэнкрофт купил револьвер «Смит и Вессон» 38-го калибра. Его регистрационный номер 133347.

— Вы просили его предъявить вам оружие?

— Да.

- Что он сказал?
- Он ответил, что револьвера у него нет.
- Он объяснил, почему?
- Нет, сэр.
- Вы нашли что-нибудь под кроватью убитого?
- Да, сэр.
- Что именно?
- Портативную машинку марки «Монарх».
- Вы осмотрели ее?
- Да, и на отдельном листе бумаги отпечатали все буквы.
- А теперь, шериф, взгляните на это письмо. В нем выдвигается требование вложить три тысячи долларов в красную банку из-под кофе, согласно инструкциям, полученным по телефону. Вам оно знакомо?
- Да, сэр.
- Когда вы его увидели в первый раз?
- Мне вручил его спасатель, работающий на пляже озера Мертисито. Он сказал, что письмо получил от молодой...
- Не имеет никакого значения, что он сказал,— спешно прервал свидетеля Хастингс.— Меня интересует, провели ли вы сравнение букв письма со шрифтом машинки, найденной в комнате убитого?
- Конечно.
- И каков результат?
- Судя по шрифту и наклонам букв, так называемое «письмо шантажистов» было, вне всяких сомнений, отпечатано на машинке, найденной под кроватью Уилмера Джилли.
- Вы сравнивали «роковую» пулю с какими-нибудь другими? — спросил Хастингс.
- Да, сэр.
- Как вы это сделали?
- У Харлоу Бэнкрофта в горах, в тридцати милях от Сан-Бернардино, есть вилла. Мы произвели ее тщательный осмотр и в глубине двора обнаружили мишень. Была произведена экспертиза найденных там пуль, и выяснилось, что при выстрелах использовались пули 22 и 38-го калибров.
- У вас в управлении есть микроскоп?
- Да, сэр.
- Вы воспользовались им для сравнения «роковой» пули с пулями, найденными на вилле?
- Да, конечно.
- И каков результат?
- Оказалось, что все выстрелы были сделаны из одного и того же оружия. Вот эти фотографии подтверждают наши заключения. «Роковая» пуля изображена на них в верхней части, а внизу — пули, найденные на вилле в горах.
- Мы просим суд приложить эти снимки к вещественным доказательствам обвинения,— заявил Хастингс.
- Возражений нет,— произнес Мейсон.
- Хастингс повернулся к адвокату и с улыбкой победителя спросил:
- Будете вести допрос?

— О,— спокойно ответил Мейсон,— у меня несколько вопросов к свидетелю. Вы заявили,— обратился он к шерифу,— что так называемое «письмо шантажистов» было отпечатано на портативной машинке «Монарх», найденной в комнате убитого?

— Да, сэр.

— Письмо полностью было отпечатано на ней?

— Да.

— Когда вы прибыли на яхту «Жинеса»? Лично вы?

— В три часа пятьдесят минут дня.

— Рядом находился катер береговой охраны?

— Да, сэр.

— Но до этого вам позвонили по телефону?

— Да, сэр.

— И вы сразу же поехали на то место, где была обнаружена яхта?

— Да, сэр.

— Яхта была на мели?

Шериф в задумчивости почесал подбородок.

— Откровенно говоря,— признался он,— точно не знаю. Думаю, что, когда ее обнаружили, она была на мели, но, когда прибыл я, яхта была уже на плаву.

— Она стояла на якоре?

— Да.

— Вся якорная цепь была вытравлена?

— Нет, всего несколько футов.

— Точнее, сколько футов? Восемь, десять или двенадцать?

— Думаю, пятнадцать — двадцать.

— Вы знаете точное место, где была обнаружена яхта?

— Нет, только приблизительно. Она была примерно в трехстах пятидесяти ярдах от...

— Вы измеряли расстояние? — прервал его Мейсон.

— Нет.

— Значит, это только ваше предположение?

— Да, сэр.

— Вы сможете указать место, где была найдена яхта?

— Нет, я уже сказал об этом.

— Сколько времени она там находилась?

— Не знаю. Она, вероятно, дрейфовала во время прилива, который начался предшествующей ночью.

— На чем основано ваше предположение, шериф?

— Нам почти точно известно время смерти Джилли. Его видели на автостоянке у клуба, видели, как его везли на яхту. Дома он ел консервированные бобы. Смерть наступила примерно в течение двух часов после последнего принятия пищи. Яхта, очевидно, все это время беспечно качалась на волнах. Ветра фактически не было.

— Давайте уточним приливы и отливы, шериф,— заметил Мейсон.— Вот карта, показывающая колебания уровня воды. Согласно ей, прилив начался одиннадцатого, в час пятнадцать ночи.

— Точно так.

— Следующий же прилив был днем одиннадцатого, в два часа тридцать две минуты.

— Да, все так, сэр.

— А вы обнаружили яхту во время отлива?

— Уровень воды падал, но это еще не был отлив.

— И вы быстро переправили судно к причалу?

— Да.

— На этом все, — произнес Мейсон.

— Если суд позволит, — заявил прокурор округа Хастингс, — я хотел бы вызвать другого свидетеля, Стилсона Л. Келси. Это человек не нашего круга, и я не могу поручиться за него, но мне хотелось бы, чтобы суд услышал его показания, так как они необычайно важны.

— Хорошо, — объявил судья Хобарт. — Для дачи свидетельских показаний вызывается мистер Келси.

Келси сильно отличался по внешности от человека, которого адвокат Мейсон видел в квартире Евы Эймори. Он был подстрижен, в новом костюме, в новых ботинках и говорил с видом уверенного в себе человека.

— Ваше имя? — спросил его прокурор округа.

— Стилсон Л. Келси.

— Ваш род занятий?

— Отказываюсь отвечать на этот вопрос.

— На каком основании?

— На том, что ответ может быть мне инкриминирован.

— Вы знакомы или, точнее, были знакомы с Уилмером Джилли?

— Да.

— Была ли у вас назначена встреча с ним на вечер десятого?

— Да, сэр.

— Что вы делали десятого сего месяца, мистер Келси? Нас интересует только этот день.

— У меня нет определенного занятия.

— На что же вы живете?

Келси глубоко вздохнул:

— Я получаю денежные пожертвования от разных людей.

— Успокойтесь и продолжайте, — сказал Хастингс. — Какова природа ваших занятий? Чем вызваны эти пожертвования?

— Шантажом.

— Вы договаривались с Уилмером Джилли относительно шантажа кого-нибудь из Бэнкрофтов?

— Протестую против такого вопроса, — перебил прокурора Мейсон. — Он не относится к данному делу.

— Напротив, — возразил Хастингс, — это имеет к делу прямое отношение и раскрывает мотив преступления. Келси — главный свидетель. Его показания очень важны. Мы временно отложили дело о вымогательстве, чтобы распутать убийство.

— Отклоняю протест защиты, — объявил судья Хобарт. — Суд желает разобраться во всем до конца. Свидетель, продолжайте.

— Отвечайте на вопрос, — сказал прокурор Стильсону Келси.

— Джилли рассказал мне целую историю.

— Какую?

— Протестую. Это основано на слухах! — воскликнул Мейсон.
— Я хочу показать, что это составная часть *rez gestae*¹, — сказал Хастингс.

Судья Хобарт нахмурился.

— Эта история имеет какое-нибудь отношение к вашим деловым связям с Джилли? — спросил он Келси.

— Да, ваша честь.

— Тогда отвечайте на вопрос, — произнес судья Хобарт.

— Джилли подружился с одним человеком, — продолжал Келси, — который жил вместе с ним в меблированных комнатах «Аджакс-Делси». Он мне сказал, что подружился с неким Ирвином Фордайсом, который все ему рассказал о своем прошлом. Фордайс по-дружески ему доверился, так как был уверен в его молчании.

— Услышав его историю, вы решили извлечь из этого выгоду?

— Да, сэр.

— Ваши действия были результатом совместной договоренности с Джилли?

— Да.

— В чем суть всей истории?

— Протестую, — вмешался Мейсон. — Это основано на слухах, несущественно и не относится к делу.

— Отклоню. Я хочу знать всю подоплеку шантажа, — заявил судья Хобарт.

— Оказалось, — продолжал Келси, — что настоящее имя Фордайса было другим. Если бы стало известно, кто он на самом деле, и о его преступном прошлом, то великосветская свадьба между Розеной Эндрюс, членом семьи Бэнкрофтов, и Джетсоном Блэром, членом известной в обществе семьи Блэров, никогда не состоялась бы.

— Что вы тогда сделали?

— Джилли и я решили воспользоваться этой информацией и обратить ее в деньги. Какое-то время я присматривался к этим семьям, выяснил, что у Бэнкрофтов было достаточно много денег, а Блэры пользовались влиянием в обществе, и пришел к выводу, что лучше шантажировать кого-нибудь из Бэнкрофтов.

— Какие суммы вы собирались у них потребовать?

— Полторы тысячи долларов по одному требованию и тысячу — по другому.

— И на этом вы хотели остановиться?

— Конечно, нет. Мы собирались до конца воспользоваться полученной информацией. Мы считали, что потребованных денег будет достаточно на какое-то время. Затем, по нашему мнению, необходимо было выждать. Если бы Розена согласилась заплатить полторы тысячи долларов, а ее мать — тысячу, тогда мы подождали бы примерно неделю, а затем выдвинули бы Розене новое требование и продолжали бы оказывать на нее давление до тех пор, пока не почувствовали бы, что она на

¹ *rez gestae* (лат.) — дело, подвиги, деяния.

пределе. Такова была по крайней мере моя договоренность с Джилли.

— Хорошо. Что же дальше?

— Мы написали письмо и положили его на переднее сиденье в автомобиле Розены. Мы не хотели посылать его по почте. У Джилли была печатная машинка, да и печатал он неплохо. Я же этого не умел. Так что Джилли отпечатал письмо. Он показал мне его и получил мое одобрение.

— Каковы были ваши условия?

— Розена должна была заплатить полторы тысячи долларов в соответствии с инструкциями, полученными от нас по телефону. Мы пригрозили, что в противном случае информация, позорящая ее семью, станет достоянием общественности. Затем Джилли вошел в контакт с обвиняемой, представил ей известную нам информацию, и она выложила ему тысячу долларов. Мы продолжали наблюдение, пока не убедились, что Розена получила наше письмо. Она села в машину, увидела его на переднем сиденье, прочитала пару раз, затем уехала. Очевидно, Джилли переправил требование на три тысячи долларов.

— Ничего не сказав вам? И зачем он это сделал? — спросил Хастингс.

— Он, видимо, хотел получить лишние полторы тысячи. Видите ли, согласно разработанному нами плану, мы собирались на озере взять лодку — Бэнкрофты летом отдыхают на даче, а Джилли был хорошим пловцом и должен был прихватить с собой снаряжение для подводного плавания. Мы собирались на лодке выйти в озеро. Я должен был ловить рыбу, а Джилли нырнуть, когда Розена Эндрюс в нужное время и в нужном месте бросит в воду кофейную банку. Потом мы собирались ловить рыбу как ни в чем не бывало. Так что, если бы даже полиция была предупреждена заранее, никто не смог бы поймать нас.

— Что же произошло в действительности? — спросил Хастингс.

— Думаю, все это знают, — сказал Келси. — Мы приказали Розене положить деньги в банку — красную банку из-под кофе, но, к несчастью, появились две таких банки. В одной из них были деньги, а другая оказалась пустой, которую, видимо, кто-то просто бросил в воду. И так случилось, что лыжница выловила банку с деньгами и передала ее полиции, а Джилли схватил пустую.

— Вы обсуждали это происшествие с ним?

— Увидев сообщение в газетах, я обвинил его в надувательстве.

— И как он среагировал на ваше обвинение?

— Он божился, что ничего не исправлял в письме, что кто-то его обманул, а затем обвинил в этом меня.

— Что же произошло потом?

— После того, как мы узнали, что выловили не ту банку, Джилли позвонил Розене и сказал ей, что она не последовала данным ей инструкциям; она же обозвала его назойливым журналистом и бросила трубку. Тогда он позвонил ее матери, и она предложила ему приехать на пристань у яхт-клуба «Блю Скай».

сказала, что отвезет его на яхту, заплатит там деньги, а затем незаметно высадит его где-нибудь на берегу.

— Когда он должен был встретиться с ней?

— В семь вечера на пристани у клуба.

— Вы не знаете, они встретились?

— Я просто говорю вам то, что слышал по телефону и что Джилли сам мне рассказал. Но точно знаю, что Джилли отправился в клуб, и именно тогда я видел его в последний раз.

— Ведите допрос, — предложил Хастингс адвокату Мейсону.

— Вы не знаете, на чем он собирался добраться до яхт-клуба? — спросил Мейсон.

— Нет. В последний раз, когда я его видел, он обедал у себя в комнате. Это было в шесть тридцать вечера. Джилли очень любил консервированную свинину с бобами и во время нашей последней встречи ел именно ее. Он сказал, что должен выйти из дома около семи, а около полуночи у нас будут три тысячи долларов.

— А затем?

— Я поехал по своим делам. Потом возвратился в «Аджакс-Делси». Я все ждал и ждал возвращения Джилли. Когда в полночь он не пришел, я подумал, что Джилли получил три тысячи и решил исчезнуть, чтобы со мной не делиться.

— Вы знали, что Джилли был другом Фордайса и под прикрытием дружбы вынудил довериться ему?

— Конечно.

— И в целях вымогательства воспользовались полученной информацией?

— Я не ангел, и Джилли был таким же, как я.

— Вы хотели обмануть его?

— Это Джилли хотел обмануть меня, но я не привык оставаться в дураках. Нельзя сказать, что он был моим напарником. Джилли просто был неопытен в рэжете, поэтому и обратился ко мне. Затем он решил обмануть меня и оставить ни с чем, так что я решил несколько подстраховаться. Вот и все.

— И поэтому вы пришли к прокурору округа, изложили ему всю эту историю, чтобы избавиться от обвинения в шантаже, не так ли?

— А что бы вы сделали на моем месте? — спросил Келси.

— Я задаю вам вопрос. Именно так вы и сделали?

— Да.

— И прокурор округа для того, чтобы вы произвели впечатление в суде, дал вам деньги на стрижку, новый костюм и ботинки?

— Не прокурор.

— Шериф?

— Да.

— А прокурор округа обещал не привлекать вас к суду?

— Если я, как свидетель, расскажу правду.

— Что он имел в виду?

— Ну, что в моих показаниях не будет никаких неясностей.

— Иными словами, — сказал Мейсон, — если они выдержат перекрестный допрос и будут похожими на правду. Так?

— Пожалуй.

— Если же во время допроса я смогу доказать, что вы лжете, тогда вас привлекут к суду. Так?

— Думаю, что да. Конечно, он не выразился подобным образом, но дал понять, что я должен говорить правду. Так, чтобы никто не смог придрататься.

— Короче, — продолжал Мейсон, — если ваши показания позволят признать обвиняемую виновной, вас не привлекут к суду за вымогательство.

— Вы даете свою собственную интерпретацию этому делу, — заявил Келси. — Не это имел в виду прокурор, и я не хочу, чтобы его слова в вашем толковании были отражены в протоколе суда. Подразумевалось, что, если я расскажу все так, как это сделал перед прокурором, и мой рассказ выдержит все испытания в суде, меня не будут привлекать по обвинению в шантаже.

Буду откровенен с вами, мистер Мейсон. У меня были неприятности, поэтому я не пожелал ответить на вопрос о роде моих занятий. Я не собираюсь идти на самоубийство. Мне было дано обещание только по этому делу, а не по другим. Я готов правдиво ответить на все вопросы относительно него, даже если это поставит меня в несколько неудобное положение.

Но вы должны помнить, что я имел дело с человеком, который, по существу, не был моим партнером. Он только предложил мне оказать ему помощь в этом деле, а затем с самого начала стал меня обманывать. Я не мог этого терпеть.

— Где вы находились вечером десятого, в день убийства Джилли? — спросил Мейсон.

— У меня, — усмехнулся Келси, — прекрасное алиби. Примерно в то время, когда произошло убийство, я требовал денег у Евы Эймори, а затем вернулся домой, где и пробыл всю ночь. До полуночи я ждал Джилли, затем пришел к выводу, что он обманул меня. Но особенно я не беспокоился, так как был уверен, что получу деньги от Евы Эймори.

Многие завидовали ей, потому что она слишком быстро добилась рекламы, но меня нельзя обмануть. Я заставил бы ее сделать по-моему, полиция вернула бы ей три тысячи, а затем я получил бы всю эту сумму.

— А что стало с Ирвином Фордайсом? — спросил Мейсон.

— Мне об этом ничего не известно. Я только знаю, что он был в тюрьме и опять в чем-то замешан. Вероятно, Фордайс поспешно бежал, когда узнал, что Джилли продал его и шантажирует его семью. Он чувствовал, что рано или поздно дело о шантаже станет достоянием полиции, и решил как можно быстрее скрыться.

— Вы когда-нибудь разговаривали с ним?

— Нет. Я видел его, потому что он квартировал в том же доме, что и я, но он был другом Джилли, а не моим.

— Вы были в комнате Джилли в ночь убийства?

— Да. Около семи.

— И что делал Джилли?

— Он обедал и сказал мне, что все устроил, что поедет за теми тремя тысячами, которые от нас ускользнули, и вернется около полуночи.

— Затем вы поехали по своим делам. А когда вернулись обратно?

— Точно не знаю. Примерно в девять, девять тридцать вечера.

— И после этого вы все время были в своей комнате?

— Нет. Раз шесть я заглядывал в комнату Джилли. В полночь я постучался и, так как не получил ответа, решил, что он уже пришел и завалился спать. В час ночи я еще раз постучал и только тогда понял, что он вновь обманул меня, забрал три тысячи и исчез. Имея дело с таким типом, как Джилли, следовало самому о себе побеспокоиться.

— И как вы хотели это сделать?

— Как я уже говорил, сперва я собирался заставить Еву Эймори сделать заявление о том, что вся история с деньгами была рекламным трюком. Это давало ей право на деньги. Я был уверен, что Бэнкрофты не промолвят ни слова, иначе им пришлось бы в полиции все рассказать о шантаже, а, как вы сами понимаете, они не могли пойти на это. Мои расчеты были верны. Раз Джилли обманул меня и получил три тысячи, я тоже должен был надуть его и получить другие три тысячи. Затем я стал бы играть так, как нужно. Я намеревался потребовать от Бэнкрофтов десять тысяч, а при первой же встрече с Джилли — половину того, что ему удалось утаить от меня.

— А как с теми деньгами, которые вы собирались утаить от него? — спросил Мейсон.

— Моя игра с Евой Эймори не имела никакого отношения к Джилли.

— А как вы собирались заставить его выплатить вам половину суммы, полученной им от обвиняемой?

— При моем бизнесе, — медленно произнес Келси, — есть разные способы заставить обманувших вас людей заплатить впоследствии.

— Какой бизнес вы имеете в виду?

— Мы вновь, — усмехнулся Келси, — возвращаемся к тому, с чего начали. Я уже заявлял вам, что не собираюсь обсуждать эту проблему. О Келси могут много чего наговорить, но никто не скажет, что он дурак.

— Так вы заинтересованы в том, чтобы доказать виновность обвиняемой?

— Я заинтересован в правде. Не имеет значения, какой она произведет эффект. Если это доказывает вину миссис Бэнкрофт, тем хуже для нее. Я говорю правду.

— Вам известно, что Джилли собирался в яхт-клуб на встречу с миссис Бэнкрофт?

— Он говорил мне об этом.

— После его исчезновения вы ездили в яхт-клуб?

— Нет. Я ждал его возвращения дома.

— Если бы он отдал вам половину полученной суммы, поделились бы вы с ним деньгами Евы Эймори? — спросил Мейсон.

— О, ваша честь, — вмешался прокурор округа, — я думаю, этот вопрос дискуссионный. Я предоставил защитнику самые большие возможности для допроса данного свидетеля, так как

понимаю, что его показания позволяют все распутать. Если же в них есть какие-то изъяны, я, так же как и защита, заинтересован в том, чтобы выяснить все до конца. Но, безусловно, подобный вопрос вряд ли имеет отношение к делу.

— Согласен, — объявил судья Хобарт. — Но мне кажется, при столкновении с людьми подобного сорта защита имеет право на получение ответа. Я отклоняю протест. Свидетель, отвечайте на вопрос.

— Ну, скажем так, — произнес Келси. — Если бы Джилли поступил со мной честно, я наверняка поделился бы с ним. У меня репутация... Да, я так бы и сделал. Но, когда он попытался надуть меня и получить лишние полторы тысячи, я стал относиться к нему с подозрением и пришел к выводу, что с ним следует расквитаться и больше не иметь никаких дел.

В нашем бизнесе, как, впрочем, и в любом другом, есть своя этика, и люди всегда полагались на мою репутацию.

— Хорошо, — усмехнулся Мейсон. — Больше вопросов у меня нет.

— Вызывается следующий свидетель — доктор Морли Бэдджер, судебный врач, патологоанатом, — объявил прокурор округа Хастингс.

Доктор Бэдджер занял место свидетеля.

— Одиннадцатого числа этого месяца вы производили вскрытие? — спросил его Хастингс.

— Да, сэр.

— Кого вы вскрывали?

— Уилмера Джилли. По крайней мере это был труп, чьи отпечатки пальцев принадлежали именно Джилли.

— Что явилось причиной смерти?

— Пуля 38-го калибра вошла в грудь, пробила сердце и застряла в позвоночнике.

— Когда вы производили вскрытие?

— Вечером одиннадцатого, в девять тридцать.

— Сколько времени прошло с момента смерти?

— Приблизительно двадцать четыре часа.

— Я закончил, можете задавать вопросы, — обратился прокурор к Мейсону.

— Вопросы нет, — заявил адвокат.

— Что?! — воскликнул Хастингс в удивлении. — Нет вопросов?

— Нет, — повторил защитник.

— Должен обратить внимание уважаемого суда, — объявил Хастингс, — приближается час дневного перерыва. В предварительном слушании подобного типа мы должны только доказать, что преступление было совершено. Полагаю, этот факт полностью установлен.

— Может быть и так, — заявил судья Хобарт, — если, конечно, защита не пожелает доказать обратное.

— Защита желает отложить слушание дела, — сказал Мейсон, — до завтрашнего утра.

— Как! Вы не собираетесь выступать? — в удивлении спросил судья Хобарт. — Это, безусловно, необычно при предварительном

слушании дела, и я предупреждаю вас, что как только *prima facie*¹ будет установлен, простое противоречие фактов не будет иметь существенного влияния на решение суда.

Вопрос правдивости свидетелей, в случае несовпадения показаний, целиком находится в компетенции присяжных.

— Я знаю, ваша честь. Но защита имеет право на разумное продолжение дела, и я просил бы отложить заседание до завтрашнего утра, чтобы убедиться, сможем ли мы опровергнуть представленные доказательства.

Завтра я желаю сделать в суде публичное заявление.

Так как обвиняемая отказалась делать какие-либо заявления в ходе расследования, я хотел бы объявить, что сразу же после закрытия данного заседания состоится пресс-конференция, на которой обвиняемая расскажет журналистам о том, что в действительности произошло вечером в день убийства.

— Ваша честь! — воскликнул вскочивший на ноги Хастингс. — Это превращает судебное расследование в фарс; обвиняемая, по совету своего адвоката, не произносит ни слова. А когда обвинение молчит, она вдруг заявляет, что все изложит прессе.

— Я не знаю закона, — задумчиво произнес судья Хобарт, — воспреещающего обвиняемому делать заявления прессе в любое время, когда он пожелает. Более того, по закону он не обязан делать их следователям, ведущим расследование.

Итак, суд откладывается до десяти часов завтрашнего утра. Обвиняемая берется под стражу. Если она, однако, пожелает выступить перед представителями прессы, я не вижу причин, почему бы шерифу не организовать это здесь, в здании суда.

Судья Хобарт встал и покинул свое место.

Прокурор округа Хастингс подошел к адвокату Мейсону.

— Послушайте, Мейсон, не стоит делать таких трюков.

— Почему? — спросил адвокат. — Вы же слышали, что сказал судья. Все законно.

— Ну что ж, если вы будете проводить пресс-конференцию, я буду присутствовать на ней и задам несколько вопросов. Вы стремитесь, чтобы обвиняемая не подверглась допросу со стороны обвинения.

— А вы представляете какую-нибудь газету?

— Черт побери, да, через пять минут у меня будет разрешение от газеты.

— Что ж, — холодно произнес Мейсон, — вы будете присутствовать на конференции.

— Я задам такие вопросы, на которые обвиняемая не сможет или не пожелает ответить.

Зал суда кипел от возбуждения. Газетные репортеры, столпившись вокруг стола Мейсона, делали снимки раздраженного прокурора округа и улыбающегося адвоката.

Хастингс повернулся к журналистам.

— В жизни не слышал ничего подобного, — заметил он. — Это настолько самоубийственно, хотя, конечно, повернет симпатию

¹ *prima facie* (лат.) — состав (преступления).

публики в сторону обвиняемой. Если она собирается все рассказать, почему же не сделала этого во время расследования?

— Потому что,— произнес Мейсон,— оно было проведено небрежно.

— Что вы имеете в виду?

— Не было исследовано дно залива в том месте, где находилась яхта. Может быть, там находятся доказательства, полностью реабилитирующие обвиняемую?

Любой здравомыслящий эксперт послал бы водолазов, по крайней мере чтобы найти орудие убийства. Ведь естественно предположить, что убийца, кем бы он ни был, бросил его за борт. А что сделали вы? — продолжал Мейсон.— Вы и шериф расследовали дело, но не удосужились выяснить точное местонахождение яхты в день убийства. Поэтому вы навсегда потеряли доказательства, жизненно важные для обвиняемой.

— Пойдите,— пролепетал Хастингс.— Я сейчас же позвоню и получу разрешение от какой-нибудь газеты. Если вы так уверены, что на дне залива есть какие-то доказательства, почему же не разыскали их?

— Мы не знаем точно, где находилась яхта. Ведь она была отбуксирована по указанию шерифа.

Хастингс хотел что-то сказать, но был так зол, что не смог произнести ни слова. Нервная гримаса исказила его рот. Лицо было смертельно бледным. Руки сжались в кулаки. Он быстро зашагал в направлении телефонных будок.

Мейсон повернулся к шерифу:

— Будьте так добры, шериф, организуйте конференцию в библиотеке суда, скажем, минут через пять, а мы тем временем пригласим всех аккредитованных представителей прессы.

— Пойдите,— заметил шериф Джуит,— вы обвинили меня в некомпетентности.

— Я не обвиняю вас в этом,— быстро отреагировал Мейсон,— я только заявил, что ваши методы расследования были небрежны.

— Но это практически одно и то же.

— Хорошо. Если вам так нравится, я обвиняю вас в некомпетентности.

— Не знаю, стоит ли мне содействовать вам в проведении этой конференции,— задумчиво проговорил шериф.

— Эй, стойте,— вмешался один из журналистов.— Вы что? Пытаетесь сорвать крупнейшую сенсацию года? О чем вы говорите?

— Я занимаюсь своим делом.

— Безусловно, шериф,— заметил другой журналист,— но не забывайте о своих друзьях. Мы работаем на вас и поддерживаем во время выборов, но мы, естественно, не хотим потерять материал подобного масштаба. Разве вы не понимаете, что это означает? Богатая женщина обвиняется в убийстве, а убийство — результат шантажа. Радио просто залпом проглотит подобную информацию. Столичные газеты будут жаждать новостей. Это принесет большой доход каждому репортеру, находящемуся здесь, в зале суда. Вы не сможете замять эту историю.

Кроме того, вы не имеете права запретить обвиняемой говорить, когда она пожелает.

После некоторого размышления шериф произнес:

— Хорошо. Конференция начнется через десять минут в библиотеке суда.

— И проследите, пожалуйста, — заметил Мейсон, — чтобы там присутствовали только аккредитованные представители прессы. Иначе моя клиентка будет молчать.

— Там также буду я со своими заместителями, — сказал шериф.

— Конечно, — улыбнулся Мейсон. — Мы вас ждем.

— Итак, через десять минут в библиотеке суда.

20

— Миссис Бэнкрофт, садитесь за стол и изложите представителям прессы свою историю, — торжественно произнес адвокат Мейсон.

Бэнкрофт схватил Мейсона за рукав.

— Мейсон, — шепнул он, — разумно ли все это?

— Может быть, и так, — ответил адвокат, — но риск оправдан.

Мейсон повернулся к Филлис Бэнкрофт.

— Давайте начнем, миссис Бэнкрофт. Сперва я хочу задать вам несколько предварительных вопросов... Вас шантажировал Джилли?

— Да. Я заплатила ему тысячу долларов.

— Когда?

— Кажется, восьмого.

— Я не спрашиваю вас о мотивах шантажа. Меня только интересует: имело ли это какое-нибудь отношение к чему-нибудь, сделанному вами?

— Нет.

— Касалось ли это информации, которая могла повредить счастью других людей?

— Да, касалось.

— Когда вы увидели Джилли в следующий раз?

— Десятого, на борту моей яхты «Жинеса».

— Появлялись ли вы на яхте ранее, но с кем-нибудь другим?

И с кем именно?

— С Ирвином Виктором Фордайсом.

— Вы отвезли его на яхту?

— Да.

— Именно этого молодого человека видел Дрю Керби с вами в тот вечер?

— Постойте, — вмешался Робли Хастингс. — Я, правда, представляю здесь прессу, но тем не менее не хочу, чтобы вы навели свидетеля на такие заявления. Вы были не в состоянии этого сделать в суде, и не стоит пытаться сейчас.

Теперь мне понятно, почему вы инсценировали пресс-конференцию. Только так вы в состоянии вложить в уста свидетеля нужные вам слова.

— Вы здесь,— заметил Мейсон,— представитель прессы, а не прокурор округа. Сядьте и замолчите.

— Как представитель прессы,— возразил Хастингс,— я не собираюсь молчать.

— Хорошо. Но миссис Бэнкрофт изложит свою историю только на моих условиях. Господа, вы желаете, чтобы она продолжала свое повествование или чтобы интервью не состоялось, ввиду того, что прокурор, прикидывающийся здесь представителем прессы, мешает мне его вести?

— Нет, нет,— раздался голоса.— Продолжайте. Мы хотим все знать. А потом начнем задавать ей вопросы.

— Миссис Бэнкрофт изложит свою историю на условиях, для нее приемлемых. Прокурор округа не запугает ни ее, ни меня.

— Продолжайте,— попросил один из репортеров.

— Протестую! — воскликнул Хастингс.— Я...

— Заткнитесь! — прервал его один из журналистов.— Вы все говорите и говорите.

— Как вы смеете так со мной разговаривать? — возмутился прокурор.

— Смеею, потому что я журналист и представляю здесь одну из газет штата. Она выступала против вас, когда вы выдвигали свою кандидатуру на пост прокурора, и уверяю, мы продолжим борьбу, если вы попытаетесь выдвинуть ее вновь. Ваше судебное крючкотворство не помешает нам все узнать и услышать.

Хастингс хотел что-то сказать, но сдержался.

— Тогда,— обратился Мейсон к Филлис Бэнкрофт,— расскажите нам, что произошло. Почему вы хотели встретиться с Фордайсом в яхт-клубе?

— Я хотела переправить его на яхту, а затем отвезти в Катальдину.

— Зачем?

— Мне не хотелось, чтобы Джилли напал на его след, так как ему нельзя доверять. Я знала, что он попытается найти Фордайса, выудить у него все и воспользоваться полученной информацией против меня и против людей, чья судьба меня волнует.

— И что же произошло? — спросил Мейсон.

— Я хотела достать деньги для Фордайса, поэтому отправилась к своим друзьям, которые одолжили мне три тысячи. Я не могу назвать их имен, потому что они хотят быть в стороне, и это вполне понятно.

— Почему?

— Потому что у них в доме постоянно хранятся крупные суммы денег, и, если об этом станет известно, они станут мишенью для бандитов.

— Понятно. Вы раздобыли деньги и вернулись на яхту. Что произошло, когда вы поднялись на борт?

— Двигатель работал. Я привязала шлюпку, поднялась на яхту, прошла в рубку и на носу судна увидела фигуру, убирающую якорную цепь. Я подумала, что это Фордайс, и включила в рубке свет. Увидев свет, человек зацепил цепь за кнехты, повернулся и двинулся по направлению ко мне. Яхта шла медленным ходом.

И только тогда я поняла, что это Джилли. Я спросила его, где Фордайс, но он не промолвил ни слова.

— Какая стояла погода? — перебил ее Мейсон.

— Был густой туман.

— По какому курсу шла яхта?

— Видимо, по курсу, выбранному Джилли.

— Что же дальше?

— Я испугалась, стала отступать назад, а он медленно продолжал приближаться ко мне, как будто собирался задушить.

— Это только предположение, — вмешался Хастингс. — Вы не можете быть в этом уверены.

— Заткнитесь! — прервали его голоса. — Мы зададим ей всевозможные вопросы, когда она закончит свой рассказ.

— Он явно собирался задушить меня, — промолвила миссис Бэнкрофт. — Все его поведение было угрожающим.

— Что вы сделали? — спросил Мейсон.

— Я была очень напугана. Затем вспомнила, что в сумочке у меня есть пистолет.

— Чей пистолет?

— Моего мужа.

— Где вы его взяли?

— В ящике туалетного столика. Он всегда хранился там.

— Как вы им воспользовались?

— Я наставила пистолет на Джилли и приказала ему остановиться.

— Пистолет был заряжен?

— Да. Я сама его зарядила.

— Где вы научились этому?

— Муж хотел, чтобы я умела им пользоваться в случае необходимости.

— Что было потом?

— Он на какое-то мгновение опешил, а затем двинулся ко мне. Меня просто парализовало от страха.

В этот самый момент якорь за что-то зацепился, и яхта резко остановилась. Когда ее тряхнуло, я непроизвольно нажала на курок, потеряла равновесие и упала.

— И что произошло?

— Я выстрелила, бросилась к борту яхты и прыгнула в воду.

— Почему вы так сделали?

— Потому что была испугана.

— Но, если вы выстрелили в Джилли и были уверены, что он мертв, почему же вы так испугались?

— Я... не знаю. Я только хотела покинуть яхту.

— Что случилось с пистолетом?

— Я попыталась сунуть его в сумочку, но он выскользнул, упал на палубу, а затем я услышала всплеск воды.

— Где была сумочка?

— У меня на руке. Во время падения в воду она соскользнула с руки.

— Что вы сделали потом?

— Я нырнула и поплыла к берегу. Выйдя на берег, я пошла к автостоянке, вынула из-под коврика в машине ключи — види-

те ли, я часто забываю сумочку или теряю ключи, поэтому и храню их под ковриком в машине — и поехала домой. Там я сняла мокрую одежду и рассказала мужу о происшедшем.

— Что он сделал?

— Он заявил, что я в истерике и мне нельзя в таком состоянии обращаться в полицию, что он собирается съездить поискать яхту и убедиться, что я в действительности убила Джилли. Только в таком случае он сообщит о происшедшем в полицию.

Муж заставил меня принять какие-то таблетки. Это было сильное успокоительное, которое Харлоу иногда принимал во время болей в желудке.

— Что потом произошло?

— Какое-то время я нервничала. Затем сказались действие таблеток. Мне стало тепло и покойно. Я заснула и проснулась только днем. Харлоу уже стоял у моей постели.

Адвокат Мейсон повернулся к газетчикам.

— Господа, так обстояло дело. Можете задавать моей клиентке любые вопросы. Она постарается на них ответить.

— Когда это произошло? Я имею в виду выстрел, — спросил один из журналистов.

— Я думаю, — откровенно призналась миссис Бэнкрофт, — что следовательно правильно установил время. Это произошло примерно часов в девять.

— Вы хотите сказать, что до этого не видели Джилли? — вмешался Хастингс.

— Я избегала его и была очень удивлена, увидев Джилли на борту яхты.

— Маловероятно, — промолвил Хастингс.

— Возможно, вы перестанете нас прерывать, — заметил кто-то из репортеров. — Мне нужны факты. Можете ли вы, миссис Бэнкрофт, объяснить причины, по которым хотели оставить Фордайса на яхте?

— Фордайс был... У него были обстоятельства, когда... Боюсь, что не смогу ответить вам на этот вопрос, так как это касается событий, о которых я не хотела бы рассказывать.

— Имел ли шантаж какое-нибудь отношение к Фордайсу?

— Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос.

— Вы заплатили Джилли тысячу долларов?

— Да.

— А ваша дочь Розена — три тысячи?

— Она не говорила мне об этом, но мне все-таки стало известно, что ее тоже шантажируют.

— По тем же мотивам?

— Да.

— Значит, это затрагивало не только ваше благополучие, но и вашей дочери?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Где был ваш муж, после того как вы заснули?

— Не знаю.

— Вы говорили с ним потом об этом?

— Да. Он сказал, что был на пристани, но из-за густого

тумана не смог найти яхты. Но я точно помню, что из-за прилива она была... футах в десяти — пятнадцати от берега.

— В котором часу ваш муж ездил в порт? — спросил Хастингс.

— Не знаю. Я вернулась домой часов в десять, а заснула без четверти одиннадцать.

— Муж был с вами в это время?

— Да.

— Теперь все ясно, — заявил Хастингс газетчикам. — Так как смерть наступила в девять часов, муж обвиняемой, безусловно, не мог произвести рокового выстрела. Именно к такой мысли, как мне кажется, нас пытается подвести Перри Мейсон.

Журналисты переглянулись. Один из них произнес:

— У нас еще есть вопросы, но с этим можно подождать. Нужно быстрее звонить в редакции, пока у нас не перехватили материал.

— Да, — поддержал его другой. — Нужно поторопиться.

Газетчики сломя голову кинулись к выходу. В библиотеке суда остался только Хастингс, прокурор округа.

— У меня еще несколько вопросов, — произнес он.

— А разве вам не нужно звонить в редакцию? — улыбнулся Мейсон.

— Пока еще нет. Я хочу еще кое-что выяснить.

— Мне кажется, мистер Хастингс, что ваша преданность профессии прокурора гораздо сильнее вашей преданности газете, которую вы представляли на пресс-конференции.

Хастингс повернулся к Харлоу Бэнкрофту и спросил:

— А вы? Вы поехали в порт и...

— Хочу, чтобы вы правильно поняли нас, — перебил его Мейсон. — Это была пресс-конференция миссис Бэнкрофт. Ее муж не намерен делать никаких заявлений.

— Старые трюки, — заметил Хастингс. — Вы пытаетесь представить дело так, будто именно Харлоу Бэнкрофт убил Джилли...

Вы стремитесь выпородить миссис Бэнкрофт. Когда же мы возбудим дело против него, вдруг окажется, что именно ею был произведен роковой выстрел. Ей ничто не поможет.

Если же она выстрелила в целях самообороны, почему она не рассказала об этом в полиции?

— Потому что, — пояснил Мейсон, — она не хотела излагать причин шантажа и объяснять, почему отвезла Фордайса на свою яхту.

— Пусть она изложит всю историю в суде, — заявил Хастингс, — где я смогу подвергнуть ее допросу, и я разнесу эти показания в пух и прах. Неужели вы думаете, что суд позволит вам вкладывать в уста обвиняемой нужные вам слова! Она вынуждена будет отвечать на предъявленные доказательства.

Насколько я понимаю, пресс-конференция была только репетицией, попыткой с вашей стороны повлиять на прессу и вызвать симпатии к обвиняемой со стороны обывателей.

Я требую, чтобы завтра в суде она обо всем рассказала.

— Вы делаете свое дело, а я — свое, — прервал его Мейсон. — Пресс-конференция закончилась.

— Не понимаю, почему вы обвинили меня в небрежном расследовании дела? — спросил Мейсона шериф Джуит. — Только ли из-за того, что мы не отметили точного местонахождения яхты в момент ее обнаружения? Ведь и так ясно, что во время прилива яхта дрейфовала и остановилась именно там.

— Но вам неизвестно, — заметил Мейсон, — что было брошено в воду и находится на дне залива.

— Почему вы думаете, что на дне что-то должно быть?

— Полагаю, в воду было брошено нечто существенно важное, и при нормальном ведении расследования следовало установить точное местонахождение яхты и послать туда водолазов исследовать дно залива.

— Не понимаю, чего вы добиваетесь?

— Позднее поймете.

— Хорошо. Отвечу теми же словами, какими вы завершили разговор с прокурором округа. Вы делаете свое дело, а я — свое.

— Благодарю вас. Пресс-конференция закончилась. Миссис Бэнкрофт, мы с вами встретимся завтра утром, а до тех пор — никаких ответов ни на какие вопросы. Полное молчание. — Мейсон вышел из зала.

— Почему вы не сказали шерифу, — спросила его позднее Делла Стрит, — что при написании письма шантажистов были использованы две печатные машинки?

Адвокат улыбнулся.

— Это не смутит ни шерифа, ни шантажистов.

— Почему? Ведь один из вымогателей мертв.

— А вы уверены, что их было только двое? — заметил Мейсон.

— Нет, не думаю.

— Вот именно, — сказал после некоторого молчания Мейсон. — Давайте пойдем куда-нибудь перекусить.

22

В четыре часа дня Мейсону позвонил Пол Дрейк.

— Ты ездил в порт, Пол? — спросил адвокат.

— Да.

— Какова погода?

— Опять туман.

— Проклятие! Когда же он рассеется?

— Похоже, уже начинает.

— Ты сейчас на пристани?

— Да. Мы оделись в спецодежду работников одной из нефтяных компаний и ожидаем прибытия лодок на заправку.

— Прекрасно. Продолжайте наблюдение.

— За кем?

— За водолазами, — пояснил Мейсон. — Думаю, вскоре там появится прокурор вместе с шерифом и водолазами. Я их встревожил. Наверняка они захотят исследовать дно залива в том

месте, где была найдена яхта. Мне кажется, прокурор убежден, что убийство произошло именно там, и попытается опровергнуть показания миссис Бэнкрофт.

— Хорошо. Принимаюсь за работу.

— Я хочу знать, когда появятся водолазы. У тебя там есть телефон?

— Да, прямо на пристани. Я сижу в небольшой будке и веду наблюдение за заливом.

— Продолжай наблюдение.

— И сколько времени я должен быть здесь?

— Откуда я знаю, — ответил ему Мейсон. — Но я хочу, чтобы ты лично занялся этим.

— Чертовски холодно из-за тумана, — заметил Дрейк, — а на мне только костюм. Я надел спецовку, но она совершенно не греет.

— Побегай, попрыгай, одним словом, попытайся как-нибудь согреться и продолжай работать, Пол. Мне нужна твоя помощь. Думаю, ты сможешь продержаться.

23

Вскоре после пяти Дрейк вновь позвонил Мейсону.

— Привет, Перри, — сказал он, — здесь прямо-таки столпотворение.

— Ты на пристани?

— Да.

— Как погода?

— Сейчас ясно.

— Холодно?

— Не так сильно, как при тумане.

— Кто появился на берегу?

— Шериф, прокурор округа с заместителями и водолаз.

— Что они делают?

— Просто стоят, ожидая водолаза... А вот и он. У него что-то в руке.

— Что именно?

— Не знаю. Ведь он идет к берегу, а не ко мне.

— Продолжай наблюдение. Постоянно звони мне и держи в курсе дела.

— Хорошо. Похоже, они о чем-то совещаются... Водолаз вновь погружается в воду.

— Как ты думаешь, что он нашел?

— Не знаю.

— Никак нельзя взглянуть?

— Нет.

— Может быть, это сумочка?

— Возможно. Предмет был найден именно там, где находилась сумочка... именно там... Эй, минутку, Перри. Он вновь возвращается. В руках — два предмета. Все очень довольны. Прокурор округа похлопывает его по плечу.

— Снимай спецодежду и иди обедать, Пол, — довольно произнес Мейсон. — Дело сделано.

Судья Хобарт объявил:

— Суд продолжает свою работу. Вы готовы, господа?

— Постойте,— сказал Хастингс.— Мы заявили, что собираемся сегодня представить обвинительный акт, но, если суд позволит, я хотел бы задать обвиняемой еще несколько вопросов, чтобы уточнить некоторые детали и снять критику в наш адрес, произнесенную на пресс-конференции...

— Суд не интересуется критика,— прервал его судья Хобарт.— Если вы желаете представить какие-то новые доказательства, тогда суд примет решение продолжить рассмотрение дела. Есть ли какие-нибудь возражения со стороны защиты?

— Нет,— ответил Мейсон.

— Вызывается,— торжественно объявил Хастингс,— шериф Джуит. Вы уже принесли присягу, шериф. Не стоит этого делать заново. Обратимся к так называемой пресс-конференции, состоявшейся вчера днем. Вы слышали, какие показания дала обвиняемая прессе?

— Да, сэр.

— Имеет ли это какое-нибудь отношение к ее действиям в день убийства?

— Да, имеет.

— Что она сказала относительно выстрела?

— Обвиняемая заявила, что у нее в сумочке был пистолет, из которого она и застрелила Уилмера Джилли, затем прыгнула в воду и там потеряла сумочку. Она также сказала, что пистолет был в ее руке и исчез во время прыжка в воду. Она слышала, как он сперва ударился о палубу, а затем раздался всплеск воды.

— После этого рассказа,— спросил Хастингс,— вы выезжали на место происшествия?

— Да.

— Кто-нибудь был с вами?

— Опытный водолаз.

— Что он делал?

— По моему указанию он исследовал дно залива.

— Что-нибудь было обнаружено?

— Да, дамская сумочка.

— Я предъявляю вам сумочку,— заявил Хастингс.— В ней — удостоверение личности и водительские права на имя Филлис Бэнкрофт. Они сильно намокли, но записи в них можно разоб-
рать. Вам знакомы документы?

— Да. Это именно та сумочка, которую показал мне водолаз.

— Мы просим приложить данные предметы к делу в качестве вещественных доказательств обвинения,— заявил Хастингс.

Судья Хобарт нахмурился и посмотрел в сторону Мейсона:

— Есть какие-нибудь возражения?

— Нет, ваша честь.

— Водолаз обнаружил что-нибудь еще? — спросил шерифа Хастингс.

— Да, сэр.

— Что именно?

— Пистолет. Револьвер марки «Смит и Вессон», 38-го калибра, номер 133347. Он был полностью заряжен, только одна использованная гильза. Проверка документов показала, что пистолет принадлежит Харлоу Биссинджеру Бэнкрофту, мужу обвиняемой.

— Вы провели баллистическую экспертизу?

— Да.

— И каков результат?

— Она показала, что роковой выстрел был произведен из него.

— Во время пресс-конференции, — продолжал Хастингс, — вас обвинили в том, что днем одиннадцатого не было установлено точное место нахождения яхты и не было исследовано дно залива в том районе. Что вы сделали для установления этого места?

— Я расспросил пилота вертолета, который первым заметил яхту и сделал аэрофотографии, что позволило нам установить точное место.

— Вы посылали водолаза исследовать дно?

— Да, сэр.

— Он что-нибудь обнаружил?

— Абсолютно ничего.

— Ведите допрос, — торжественно объявил Хастингс адвокату Мейсону.

— Шериф, — спросил тот, — насколько я понял, водолаз обнаружил сумочку и пистолет именно там, где миссис Бэнкрофт их уронила?

— Да, сэр.

— Тем самым подтверждается ее рассказ?

Шериф улыбнулся и ответил:

— Это зависит от того, что вы под этим подразумеваете. Ваши слова наводят меня на мысль об охотнике, который говорит вам, что стоял у дуба и выстрелил в оленя, бывшего от него в 1000 ярдах, и, если вы хотите подтверждения, он может вам показать этот дуб.

В зале раздался смех.

— Здесь не место для шуток, шериф, — холодно произнес судья Хобарт.

— Извините. Я просто хотел сказать, что это отнюдь не подтверждает рассказа обвиняемой. Напротив, найденные предметы говорят о преднамеренном убийстве.

— Вы сказали, что у вас есть фотографии, сделанные пилотом вертолета...

— Да, сэр.

— Которые показывают, где находилась яхта. Вы можете предъявить их?

Прокурор округа Хастингс протянул шерифу фотографии.

— Вот они, — произнес шериф. — Вот яхта, а цифры и линии указывают на ее точное местонахождение.

— Хорошо, — заметил Мейсон. — А вы уточнили место на геодезической карте, представленной защитой?

— Нет, но это можно сделать.

— Пожалуйста, будьте так любезны и скажите нам глубину залива в том районе.

— Во время отлива глубина была десять футов,— произнес после сравнения шериф.

— Какова длина якорной цепи?

— Примерно пятнадцать футов.

— Во время обнаружения яхты был отлив, а во время убийства — прилив, так что за это время яхта, вероятно, сделала целый круг?

— Думаю, водолаз учел это.

— Уважаемый суд,— произнес Мейсон,— все показания данного свидетеля относительно того, что сделал водолаз, что он видел и обнаружил, не могут служить доказательством обвинения, так как не основаны на конкретных и точных фактах.

— Если суд позволит,— воскликнул Хастингс,— мы приведем эти факты. Водолаз находится здесь, в зале суда. Я не собирался вызывать его в качестве свидетеля, но, если необходимо, я могу это сделать.

— Тогда вызовите его,— сказал Мейсон.— Если он подтвердит показания шерифа, я возьму свои слова обратно.

— Очень хорошо,— произнес Хастингс.— Вы пока свободны, шериф. Вызывается Фремонт Л. Диббл.

Диббл произнес клятву, заявил, что по профессии он водолаз и что по указанию шерифа и прокурора округа произвел исследование дна залива в указанных ему местах.

— Что вы обнаружили на дне, у топливного причала? — спросил его Хастингс.

— Дамскую сумочку и пистолет.

— Я предъявляю вам для опознания сумочку. Вы нашли именно ее?

— Да, сэр.

— Я показываю вам пистолет. Вы обнаружили именно его?

— Да, сэр.

— Ведите допрос,— обратился Хастингс к Мейсону.

— Сумочка была именно в таком состоянии, когда вы ее нашли? — спросил Мейсон.

Свидетель внимательно ее осмотрел.

— Да, сэр.

— Содержимое то же самое?

— Да, сэр.

— В ней были деньги?

— В кошельке лежало три двадцатидолларовых, две десятидолларовых, одна пятидолларовая, три однодолларовых банкноты и немного мелочи.

— Они были в сумочке, когда вы нашли ее?

— Да, сэр.

— Пистолет в том же состоянии, как вы обнаружили его?

— Да, сэр.

— На каком расстоянии он был от сумочки?

— Примерно... в двадцати — тридцати футах.

— Теперь скажите, вы были именно на том месте, которое помечено мною на этой геодезической карте?

— Да, сэр.

— И именно там обследовали дно?

- Да, сэр.
- И ничего не нашли?
- Нет.
- Абсолютно ничего?

— Там оказалась старая консервная банка, которую, возможно, использовали под наживку, а затем бросили в воду. Она была примерно в сотне футах от того места, где обнаружили яхту.

— Почему вы решили, что банка использовалась под наживку? — спросил Мейсон.

— На такой глубине, — улынувшись, ответил Диббл, — очень хорошо видно, так что я смог прочитать надпись на этикетке банки. Она была из-под бобов, поэтому я и решил, что она использовалась под наживку.

— Почему вы решили, что это старая банка?

— Ну, — улынулся свидетель, — я не видел, чтобы кто-нибудь рыбачил поблизости, поэтому и решил, что она пролежала на дне какое-то время.

— Благодарю вас, — сказал Мейсон. — На этом все. Теперь, если суд позволит, я бы хотел задать еще несколько вопросов свидетелю обвинения Стилсону Л. Келси.

Келси на сей раз развязной походкой подошел и занял место свидетеля.

— Мистер Келси, — спросил его Мейсон, — вы присутствовали на пресс-конференции, когда обвиняемая изложила свою историю?

— Нет, сэр.

— Но вы слышали о ней?

— Да.

— И вы быстро достали акваланг, помчались на пляж, нашли место, указанное обвиняемой на пресс-конференции, нырнули, обнаружили там сумочку, в которой было три тысячи в пятидесяти- и стодолларовых банкнотах, изъяли их и затем, чтобы подкинуть новые доказательства против миссис Бэнкрофт, бросили рядом с сумочкой пистолет, не так ли?

— Что?! — воскликнул Келси. — Я...

— Ваша честь, — вмешался Хастингс, — это недопустимое ведение допроса. Свидетель не под следствием.

— Он будет под следствием, — заявил Мейсон, — так как я собираюсь доказать, что еще до заявления обвиняемой один пловец по моей просьбе исследовал дно залива в указанном месте, нашел там дамскую сумочку, в которой было три тысячи долларов. Я заменил эти деньги другими, полученными мною в банке, — их номера записаны. В то время на дне около сумочки ничего больше не было.

Так вот, кто-то быстро приехал туда, изъял из сумочки указанную сумму и подложил орудие убийства.

Должно быть, именно этот человек — убийца; человек, который был партнером Джилли, который добрался до яхты и во время отсутствия обвиняемой застал там своего напарника; человек, который во время прилива был вместе с Джилли, когда тот поглощал консервированные бобы, найденные в запасах на яхте, а затем выкинул банку в воду. Они поссорились. Этот человек

обвинил Джилли в надувательстве и застрелил его из пистолета, который миссис Бэнкрофт уронила на палубу во время прыжка в воду.

Затем он оставил тело на яхте, начал искать деньги, но ничего не нашел. Убийца погреб к берегу и...

— Постойте,— прервал его Келси,— вы не можете обвинять меня в этом, так как у «Аджакс-Делси» за мной постоянно следили.

— Значит, вам было известно,— заметил адвокат,— что детектив следит за входом в «Аджакс-Делси». Разве это могло помешать вам выйти через черный ход, сесть в машину и отправиться в порт?

— Вы не сможете этого доказать.

— Нет, смогу,— возразил Мейсон,— потому что банкноты, которые я вложил в сумочку миссис Бэнкрофт, были выданы мне банком гораздо позднее убийства. Более того, их номера переписаны. И, если я не ошибаюсь, они сейчас либо у вас в кармане, либо спрятаны где-нибудь в вашей комнате или в вашем автомобиле. Я собираюсь получить разрешение на обыск и...

Келси долго смотрел на Мейсона, оценивая сложившуюся ситуацию, затем резко вскочил и ринулся к выходу. Шериф бросился за ним.

Мейсон повернулся и с усмешкой взглянул на Бэнкрофта.

В коридоре раздался голос:

— Стой! Буду стрелять! — Быстро последовали два выстрела.

Спустя несколько минут в зале вновь появился шериф, сопровождавший Келси, который был уже в наручниках.

— Так вот, если суд позволит,— продолжил Мейсон,— пусть шериф обыщет арестованного. Думаю, он найдет в его кармане пачку банкнот, номера которых совпадают с теми, что я получил в банке. Вот список этих номеров.

Келси полагал, что Джилли присвоил себе три тысячи долларов. Услышав на яхте его рассказ, он решил, что тот утаил деньги, полученные от миссис Бэнкрофт.

Если вы помните, из-за резкого толчка яхты миссис Бэнкрофт потеряла равновесие и нажала на курок. Естественно предположить, что Джилли тоже не устоял и упал, притворившись убитым.

Келси обвинил его в надувательстве, поднял пистолет, хладнокровно убил своего напарника, а затем обыскал труп. Он был крайне разочарован, не найдя денег.

Затем он покинул яхту, добрался на лодке до берега, сел в автомобиль, вернулся к «Аджакс-Делси», вошел в него через черный вход, проник в комнату Джилли и тщательно сфабриковал доказательства, свидетельствовавшие о том, что тот принимал пищу в последний раз у себя дома, т. е. до того, как поехал на пристань. Таким образом ему удалось сбить с толку следователя и заставить его поверить в то, что смерть Джилли наступила несколькими часами ранее, чем это было на самом деле.

Судья Хобарт взглянул на съездившегося от страха Келси и приказал шерифу:

— Общайте этого человека. Посмотрим, есть ли у него банкноты, номера которых совпадают со списком, предъявленным адвокатом Мейсоном.

Спустя десять минут судья Хобарт произнес:

— Номера совпадают, мистер Мейсон. Я полагаю, мистер Хастингс, у нас вполне достаточно оснований для прекращения дела против миссис Бэнкрофт.

— Согласен, — ответил прокурор округа.

— Я хотел бы кое-что пояснить, — робко сказал Келси.

— При сложившихся обстоятельствах все, что вы скажете, — подчеркнул судья Хобарт, — может быть использовано против вас. Вряд ли стоит делать какие-либо заявления.

— Знаю, — упавшим голосом произнес Келси. — Я только хочу сказать, что мистер Мейсон изложил все верно, за исключением одного. Я не намеренно убил Джилли, а в целях самообороны. Я обвинил его в обмане и в получении денег, о которых мне не было известно. Так как он все отрицал, я заявил, что собираюсь обыскать его. Когда я стал подходить к нему, он схватил нож и ринулся ко мне. Тогда мне и пришлось выстрелить.

— Что вы потом сделали? — спросил судья Хобарт.

— Я обыскал его и нашел немного денег, видимо, оставшихся от той тысячи, которую он получил от миссис Бэнкрофт. Он был законченным негодяем и, когда понял, что я собираюсь раскопать все до конца, попытался меня убить.

— Что вы сделали с пистолетом? — спросил судья Хобарт.

— Я его спрятал. Позднее, услышав рассказ миссис Бэнкрофт на пресс-конференции, я вновь зарядил его, выбросил одну пулю, достал акваланг, отправился в порт, разыскал сумочку, изъял из нее деньги и положил рядом с ней пистолет. Я полагал, что имею полное право на эти деньги. Ведь именно благодаря мне Джилли удалось получить их.

Судья Хобарт повернулся в сторону адвоката Мейсона.

— Что же, по вашему мнению, произошло с пулей, которой выстрелила миссис Бэнкрофт?

— Здесь может быть только один ответ, — сказал адвокат. — Она пролетела мимо Джилли, возможно, в сантиметре от его головы, а затем в открытую дверь рубки. Вспомните: Джилли поднимал якорь, двигатель работал, он зацепил цепь за кнехты, повернулся и вошел в рубку. Дверь, должно быть, была открытой. Через нее, вероятно, и пролетела пуля.

Судья Хобарт нахмурился и задумчиво произнес:

— Это было необычайно интересное и важное дело. Подсудимую можно поздравить с таким защитником, стратегия которого позволила в конце концов установить подлинного убийцу.

Теперь, ради интереса, я хотел бы спросить вас, мистер Мейсон, действительно ли свидетель Дрю Керби ошибался, и с миссис Бэнкрофт вечером десятого был другой человек?

— Да, — подтвердил адвокат. — На самом деле с ней был Ирвин Виктор Фордайс.

— А что произошло с ним? — спросил судья.

— Не знаю. Может быть, его убили, а может, он просто сбежал. Поднялся Харлоу Бэнкрофт.

— Если суд позволит, я хотел бы сделать заявление.

— Пожалуйста, — произнес судья Хобарт.

— Я думаю, Ирвин Фордайс исчез, так как знал, что его разыскивает полиция в связи с ограблением станции техобслуживания.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы публично рассказать о том, что каждый из нас называет ошибками. Я тоже сделал немало ошибок. Когда-то в юности украл автомобиль и за это отбыл срок в тюрьме. Затем решил, что с этим нужно кончать.

Я перед всеми заявляю, что, если у Ирвина Фордайса хватит мужества прийти с повинной, я постараюсь, чтобы это был честный суд, и не пожалею денег, чтобы лучшие адвокаты защищали его. Я попрошу мистера Мейсона быть его защитником. Если Фордайс виновен, он должен отбыть срок. Если же нет, он будет освобожден, и я назначу его на руководящее место в одной из своих компаний, чтобы дать ему возможность окончательно исправиться.

Журналисты окружили Бэнкрофта и принялись его фотографировать.

— Я рад, — улыбнувшись, сказал судья Хобарт, — что вы сделали это заявление, мистер Бэнкрофт. Вы говорили как мужчина, и я уверен, что не пожалеете об этом.

Миссис Бэнкрофт освобождается из-под стражи. Мистер Келси — в руках шерифа. Найденные деньги конфисковываются. Заседание суда объявляю закрытым.

26

Мейсон, Делла Стрит, Пол Дрейк, Харлоу Бэнкрофт, Филлис Бэнкрофт и Розена Эндрюс собрались в конторе Мейсона.

— Я даже не могу сказать, — произнесла, вся в слезах, миссис Бэнкрофт, — что вы для меня сделали, мистер Мейсон.

Бэнкрофт вынул из кармана чековую книжку.

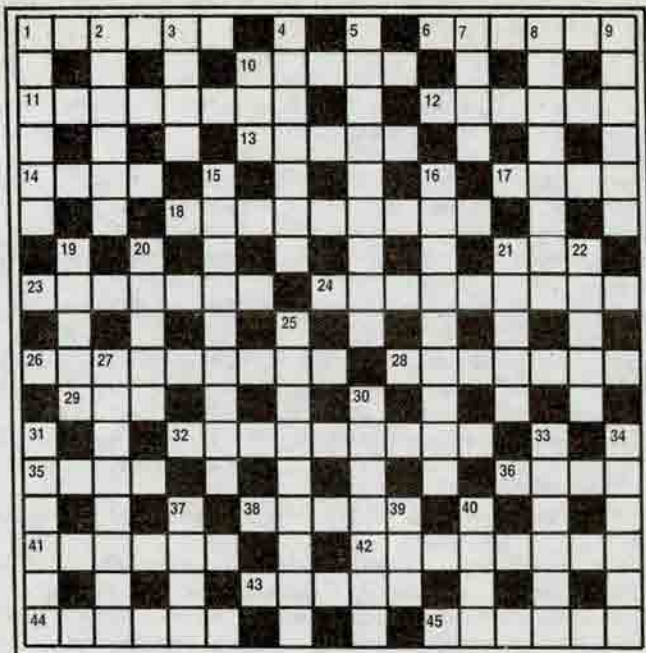
— Я тоже не могу выразить словами, но попытаюсь отразить в чеке.

— Очень рад, Бэнкрофт, — заметил Мейсон, — что у вас хватило сил, решимости и мужества встать и сделать заявление в суде. Вы почувствуете, что жизнь гораздо лучше, чем вы думали раньше. — Он поднялся из-за стола. — Я хочу пожать вам руку, мистер Бэнкрофт. Приятно, когда перед тобой настоящий мужчина.

Розена неожиданно бросилась к адвокату и поцеловала его, то же самое сделала и Филлис Бэнкрофт.

Мейсон, со следами помады на щеках, с улыбкой взглянул на Деллу Стрит.

— Я единоплемянница с ними в чувствах, — нежно произнесла она.



1. Первый историк русского искусства. 6. Французский композитор, из-за нервного паралича уничтоживший большую часть своих произведений. 10. Синяя художественная керамика из поселка Турыгино. 11. Пушкин в письме к Бестужеву писал о «Евгении Онегине»: «Первая песнь просто быстрое... и я им доволен (что редко со мною случается)». 12. Пятая молитва намаза (перед сном). 13. Раскопанное Эвансом поселение на острове Крит, где археолог нашел много глиняных табличек с линейным слоговым письмом. 14. Аркан, веревка с подвижной петлей на конце. 17. Каждый из соплеменников Кришны в индуистской мифологии. 18. Нынешнее название Русского или Студеного моря. 21. Большеглазая змея, опасная стремительными бросками. 23. Древнегреческая свадебная песня. 24. Овощ в Румынии впервые посаженный близ Брашова. 26. Каждый из философов, поддерживающих идею «вечного возвращения». 28. Хорошо поставленная секретная служба в древних государствах на Ближнем Востоке. 29. Предчувствие в сердце фараона (в Египте верили в его магическую природу). 32. «Бастьен и Бастьенна» Моцарта по жанру. 35. Мирное орудие Микулы Селяниновича. 36. Французский писатель, в нобелевской речи говоривший о Пастернаке, пытаясь помочь ему. 38. Чернокнижник из немецкой легенды, которого Лютер и его сподвижник Меланхтон считали орудием нечисти. 41. Деревянные тиски, которыми отжимали или растя-

гивали сыромятные ремни. 42. Музыкальный жанр «Древа Герники», ставшего своего рода национальным гимном басков. 43. Одно из русских названий ломоноса. 44. Народ, совершивший в 895—896 годах Обретенные родины. 45. Первый «паровоз» на первой в России железной дороге (Петербург — Царское Село).

По вертикали.

1. Материал, из которого шито пальто на «важном купце» в повести В. Вересаева «Два конца». 2. Каждый из стригольников по отношению к вере. 3. «Художник», рисующий только одной краской. 4. Английский врач, едва ли не самый скромный из великих благодетелей человечества. 5. «Цветаева балета» (М. Бержар). 7. Соломон — царица Савская, Фархад — Ширин, ... — Зулейка. 8. Религиозная церемония шествия, удушения гарротой и сожжения осужденных. 9. Блестящий итальянский творец блестящих мраморных изваяний. 10. Ямщицкий крик при понукании тройки. 15. Специальность шведа Миттаг-Лейфлера, из-за неприязни к которому А. Нобель навсегда отлучил его коллег от премии своего имени. 16. Самый ненавистный летописцам русский князь. 19. Пигалица. 20. Самая мелкая денежная единица Древней Руси. 21. Первый исследователь рисунков Пушкина. 22. Творец мира и господин Судного дня у мусульман. 25. Основной, по А. Чаадаеву, фактор русской истории. 27. Цветок, семейный оберег древних римлян. 30. Самое примитивное из сумчатых животных. 31. Деятель КПСС, в чьих «Воспоминаниях» речевая манера порой неотличима от голосов героев М. Зощенко. 33. Оружие, которое богатыри в русских сказках бросают вверх, чтобы выяснить, кто самый могучий. 34. Основа и главная тема многих романов. 37. Ядовитая составляющая горчичного газа. 39. Мелодия-модель у немецких средневековых поэтов-певцов для распевания на различные тексты. 40. «... как сон новобрачной, полно стыда и огня, — всё, что вечер было мрачно, ясно в сиянии дня» (А. Фет).

ОТВЕТЫ

НА

«ЗРУДИТ»,
НАПЕЧАТАННЫЙ

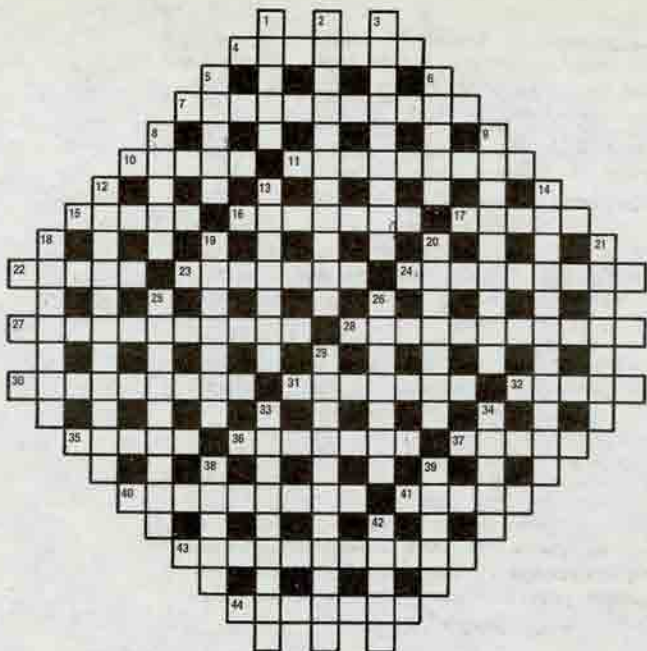
В № 3

По горизонтали.

4. Рюкзак. 8. Чуфа. 10. Роллан. 11. Египет. 12. Смех. 13. Нектар. 14. Преданность. 15. Тэнно. 18. Гуляш. 24. Толокно. 25. Миранда. 26. Лемке. 27. Журавль. 28. Лауреат. 29. Ферзь. 35. Иолай. 36. Хетерингтон. 37. Дьявол. 40. Блуд. 41. Ронсар. 42. Цитрус. 43. Грез. 44. Оляпка.

По вертикали.

1. Уран. 2. Ялик. 3. Сабашникова. 5. Юнгфрау. 6. Западня. 7. Катюнь. 8. Чеснок. 9. Флейта. 16. Эллора. 17. ...этажи... 18. Гольф. 19. Лемур. 20. Шмель. 21. Треугольник. 22. Анкета. 23. Балты. 30. Евгения. 31. Зоопарк. 32. Теллур. 33. Дехлиз. 34. Виардо. 38. Вурм. 39. Лист.



КРОССВОРД
Составил
А. ЖУКОВ,
Москва

По горизонтали.

4. Амплуа актрисы. 7. Музыкальный инструмент, на котором хорошо играл историк Степан Веселовский. 10. Поэт-певец, самый «литературный» из французских шансонье. 11. Подавление бунта на Руси. 15. Имя художника Кипренского. 16. Советский художник, автор серии пейзажей «Волга — русская река». 17. Один из русских «вечевых» городов. 22. Наука, «погубительница» русских кос. 23. Морская птица, способная нырнуть на глубину двести шестьдесят шесть метров. 24. Птица, чью численность свела почти на нет механизация сельского хозяйства. 27. Мера способности атома или группы атомов образовывать связи с другими атомами. 28. Окись свинца, получаемая при извлечении серебра из веркблея — промежуточного продукта в плавке свинцовых руд. 30. Русский ремесленник, гнавший смазочный продукт из бересты. 31. Врач, специалист по суставам. 32. Любовная игра. 35. Советский хоровой дирижер, один из организаторов первых Праздников песни в Азербайджане. 36. Великий князь, герой Ледового побоища. 37. Русское название левой руки. 40. Верховный суд Иудеи при римском господстве. 41. Озорник, повеса. 43. Разорение, финансовый крах. 44. Песня глухаря.

По вертикали.

1. Низший служитель в приказах в Московском государстве XVI—XVII века. 2. Орнамент из врезанных пластинок. 3. Металл, рекордсмен по захвату тепловых нейтронов. 5. Французский художник, в начале пути фактически подражавший Ф. Буше. 6. Рыболовная насадка на хищных рыб. 8. Стиль плавания. 9. Распространитель религии среди населения с иным вероисповеданием. 12. Вид искусства, «застывшая совесть времени» (С. Соловейчик). 13. Суета, хлопоты. 14. Европейский народ, у которого жест отрицания — движение рук от себя. 18. Высокая башня, откуда муэдзин сзывает мусульман на молитву. 19. Слово «яд» по отношению к слову «отрава». 20. Французский писатель, видевший в Локке «единственного разумного метафизика». 21. Часть математики. 25. Военный самолет. 26. Растение, цвет напитка из которого А. Чехов упомянул в рассказе «Кошмар». 29. Название каждого из рыцарей Тевтонского ордена в романе Г. Сенкевича, где он дал картину Грюнвальдской битвы. 33. Тип телескопа. 34. Знаменитый русский коллекционер картин импрессионистов. 38. Автор романа «История Жиль Блаза из Сантьяны». 39. «...Парижа» — роман Э. Золя. 42. Пробный набросок картины, чертежа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 3

По горизонтали.

1. ... танк. 5. Пихта. 8. Эфир. 12. Урарту. 13. Кошара. 14. Чара. 15. Шанец. 16. Антон. 17. Ирасек. 18. ...инфант. 19. Алмаз. 22. ...штаны... 25. Стояк. 28. Иглава. 29. Витус. 30. Лихва. 31. Омшаник. 32. Отгон. 35. Индюк. 38. Баски. 41. Мегера. 43. Журден. 46. Енот. 47. Зархи. 48. ...тело... 49. Жертва. 50. Цеолит. 51. Арба. 52. Рикша. 53. Вира.

По вертикали.

1. «Тучи». 2. Арарат. 3. Нара. 4. Красин. 5. Пушка. 6. Ханум. 7. Акциз. 8. Эшафот. 9. Фата. 10. Ирония. 11. Рант. 20. Лягушка. 21. Аралник. 22. Шевро. 23. Артиг. 24. Ыйсон. 25. Салки. 26. Обход. 27. Кларк. 33. Тренер. 34. Одетта. 36. Нартов. 37. Ювелир. 38. Базар. 39. Сурок. 40. Ижица. 41. Межа. 42. Горб. 44. ...дели... 45. Нота.

Шахматная эпиграмма

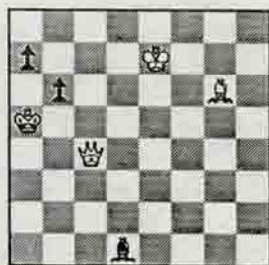


284

Под редакцией
международного гроссмейстера
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

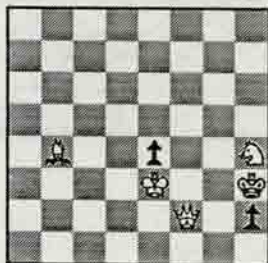
Публикуем очередную подборку оригинальных миниатюр, присланных на III международный конкурс составления шахматных задач «Смена»-94. Далее приводятся ответы на задачи, опубликованные в журналах № № 9—10 за 1993 год. Успешнее других справились с заданиями наши постоянные читатели: **В. Гатилев** (п. Строитель Белгородской обл.), **В. Давиденко** (Казань), **М. Дерябин** (Казахстан), **В. Кожакин** (Магадан), **Н. Некрасов** (Архангельск), **В. Симонов** (Самара), **В. Станкевич** (Челябинск), **А. Тимофеев** (с. Аргаяш Челябинской обл.), **Н. Чистяков** (Омск).

28. **Н. ЗИНОВЬЕВ**
Усть-Каменогорск
Казахстан



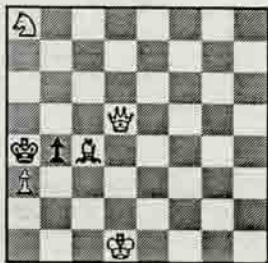
Мат в 2 хода

29. **В. КРИЖАНОВСКИЙ**
с. Червоная Слобода
Украина



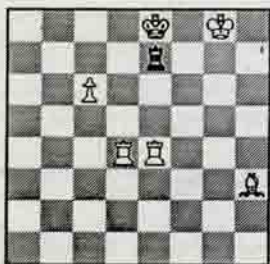
Мат в 2 хода

30. **В. МЕЛЬНИЧЕНКО**
г. Котовск Украина



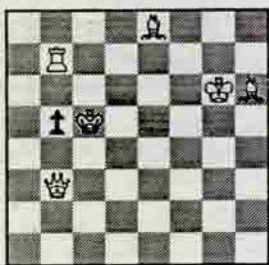
Мат в 2 хода

31. С. ЦЫРУЛИК
дер. Озераны Белоруссия



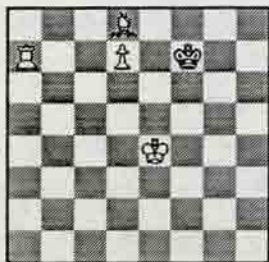
Мат в 2 хода

32. А. ЗЛЕЗЖАЙ
с. Мельня Сумская обл.



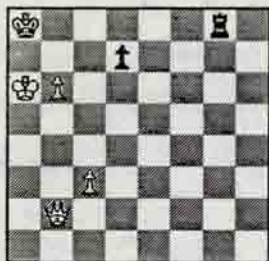
Мат в 2 хода

33. Д. ГУРГЕНИДЗЕ
с. Чайлури Грузия



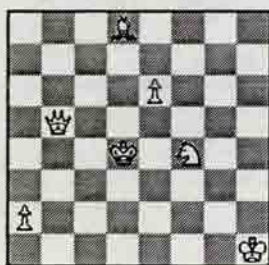
Мат в 3 хода

34. В. ИВАНОВ (Карелия)
Е. МАРКОВ (Саратов)



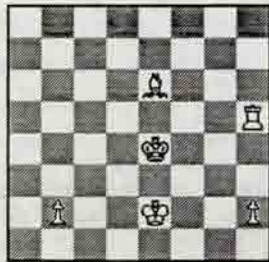
Мат в 3 хода

35. В. КОЖАКИН и О. САКС
Магадан



Мат в 3 хода

36. Ю. КАЛУГИН
Самара



Мат в 5 ходов

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

«СМЕНА» № 9, 1993

58. Л. Грольман. 1.Kd5? Kb4! 1.Kd7? Kb3! 1.Ke4!

59. Н. Пархоменко. а) 1.Kg3! б) 1.Kf2!

60. В. Кожакин. а) 1.Ce3! Kpd3 2.Kc5 б) Kpg1 — b7 1.Kb4! Kpb4 2.Фс2

61. В. Иванов и Н. Шишкин. 1.Фб2! Kpb5 2.Фс3 Кра4, Kpb6 3, Сс6, Фс6х, 1...Kpd3 2.Сf3 Kpc4, Кре3 3. Се2, Фе2х

62. М. Марандюк. 1.Kef5! Kpd5 2. Фб3 Kpc6 3. Фb7х, 1...Kpd7 2.Фа7 Kpd8 3.Фе7х, 1...Kpf6 2.Фе3 Kpg6 3.Фh6х, 1...h2 2.Фс1 Kpd5, Kpd7, Kpf6 3.Фс4, Фс8, Фh6х

63. М. Кормильцев и В. Шильников. 1.d3 Кра4 2.Kc4 Kpb5 3.Kd2 Кра4 4.Kb1 Kpb5 5.Kc3х

«СМЕНА» № 10, 1993

64. Д. Басаев. 1.Kh5

65. Н. Пархоменко. 1.c4

66. Ю. Овчинников. 1.Фг3

67. М. Марандюк. 1.Kf5? Kpd5! 1.Lf5? Kpd6! 1.Kpb8? d6! 1.Lc5!

68. В. Иванов. 1.Ce1? Kph6! 1.Cd2? Kph4! 1.Kpg2!

69. Б. Былевский. 1.Ke8 с2 2.Kf6, 1...Кре6 2.Кре4. *Побочное решение:* 1.Kh5

70. З. Рыбак. 1.Cd7 Kph3 2.Lf2, 1...g2 2.Lh5, 1...Lf5 2.Cf5

71. В. Кожакин. 1.Kd3 Кре2 2.Фt2, 1...cd 2.Фg1

72. А. Лысенко. 1.Kpb6 e5 2.Фd6 Kpd6 3.Kf5х

73. М. Власов. 1.Фh4 b6 2.Kd6!, 1...b5 2.Cd6! *Побочные решения:* 1.Cb2, 1.Фе3

74. С. Демидюк. 1.Kg4 Кре4 2.Kge5 Kpd5, Kpf5, Кре3 3.Фg4, Фс4, Kpb7, 1...Кре6 2.Фh7 Kpd5, Kpd6 3.Kfe5, Kg5, 1...Kpg6 2.Фf6 Kph7 3.Kg5

75. Н. Чистяков. 1.Ch3 d5 2. Се6 d4 3.Ca2 *Побочное решение:* 1.Ла3 d5 2.Lb3 Кра4 3.Kc5

76. М. Марандюк. 1.Ce2 Кра5 2.Cc4 Kpb4 3.Kd3 Кра5 4.Ла6х, 1...a5 2.Lc4 Kpb5 3.Ка4 Кра6 4.Lc7х

77. В. Щербина. 1.Kpb6? Ce3! 2.Kpc7 Kf6! 1.Kpc6! Cf3 2.Kpc7 e4 3.Kpb6 Ce3 4.Kpc6!

78. В. Шильников. 1.Ce5 e6 2.Cf6 e5 3.Kpc4 e4 4.Kpd5 e3 5.Кре6 e2 6.Cg7 Kpg7 7.h8Ф Kph8 8.Kpf7

Дорогие читатели!

1 апреля начинается очередная подписная кампания на II полугодие 1994 года. Вам снова предстоит сделать нелегкий выбор: из огромного количества газет и журналов определить те несколько, что вам больше по уму и сердцу. Очень надеемся, что, несмотря на очередное вынужденное повышение цены на журнал, вы все же останетесь с нами и продлите подписку на «Смену» до конца года. А мы вас не разочаруем — в редакционном портфеле полно произведений, чтение которых доставит вам удовольствие и радость.

Редколлегия

«СМЕНА»-94

Во втором полугодии мы предполагаем опубликовать: новую повесть Николая Леонова, повесть Григория Глазова «Знах лаванды», бестселлер Роберта Кука «Сфинкс», очередной роман Трегори Макдональда из серии «Флетч», криминальный роман Иоханнеса Зиммеля «Двойник», мистический роман Гордона Макгила «Конец черной звезды» и другие произведения.

Ф. СП-I

АБОНЕМЕНТ на 70820
журнал (индекс издания)
«СМЕНА»

Количество комплектов I

на 1994 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

			на журнал	70820
ПВ	место	ли-тер		(индекс издания)

«СМЕНА»

Стоимость	подписки пере-адресовки	руб. руб.	коп. коп.	Количество комплектов	I
-----------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	---

на 1994 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

«СМЕНА»-94

Это 3300 рублей за один номер, 9900 — за три, полугодовая подписка — 19 800 рублей (цены указаны без стоимости доставки). Подписка принимается без ограничений всеми отделениями связи.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонемента должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонемента проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Союзпечати».

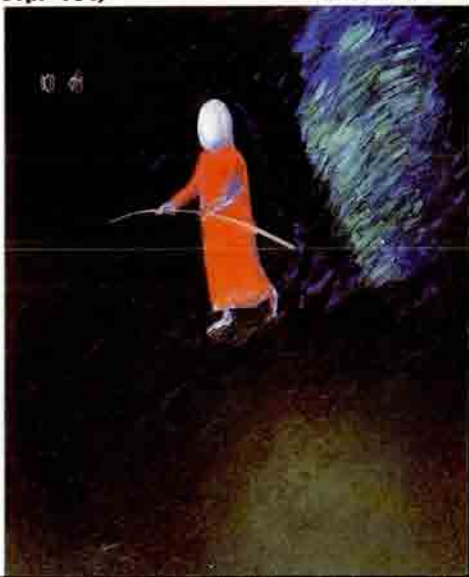
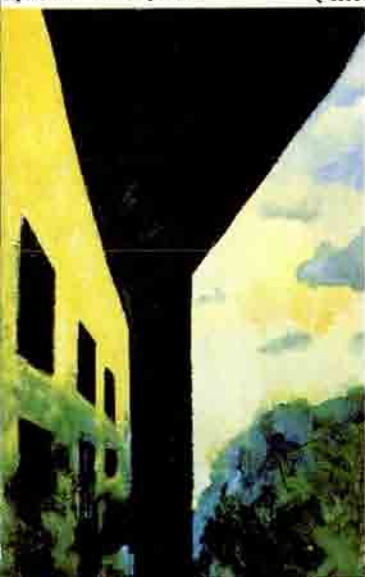


ВИКТОР ЛЫСАКОВ. Карнавал.

Приближение грозы.

(Читайте стр. 184)

Канатоходец.



ИНДЕКС 70820

Ирина ШВЕДОВА



Музыкальная антенна представляет: